**Димитр Димов**

**Табак**

(1946)

**Перевод:** Н. Попов, И. М. Шептунов, Д. Горбов, Т. Рузская, В. И. Злыднев

**Часть первая**

**I**

Сбор винограда подходил к концу.

Из маленьких дач и кирпичных строений, разбросанных среди виноградников, неслись то дружные песни, жизнерадостные и быстрые, как хороводные, то протяжные напевы одиноких певцов, исполненные печали, улетавшей в синее небо. Солнце светило неярко, листья на шелковицах, грушах и айвовых деревьях, посаженных вокруг дач, тихо опадали при каждом вздохе ветерка, а пожелтевшие виноградные лозы, подвязанные лыком, беспомощно никли под тяжестью обильного урожая. Сборщики винограда – в большинстве молодежь – с корзинами в руках сновали между кустами по рыхлой песчаной земле. Они весело пересмеивались и шутили. Время от времени веселье становилось слишком шумным, и тогда старшие останавливали молодежь. Виноград «памид» сборщики небрежно сваливали в кадки и корзины, а янтарно-желтый «болгар» и покрытый синеватым налетом «мускат» заботливо укладывали в неглубокие ящики, чтобы потом засыпать его отрубями и так сохранить до поздней осени. Когда же парни и девушки собирались около кадок или присаживались закусить, они швырялись виноградинами и кричали, но в криках этих был какой-то буйный надрыв, а в дерзких шутках – грусть: все знали, что опьянение солнцем, любовью и сладким виноградом продлится всего лишь несколько дней.

Ирина – дочь Чакыра, известного всему городу старшего полицейского околийского управления,1 – веселилась вместе со всеми. Она даже позволила себе поболтать с одним приятным, но избалованным молодым человеком, который пришел на отцовский виноградник, конечно, не работать, а просто так, поглазеть от скуки на сбор винограда, и все время вертел на пальце поводок – он повсюду водил с собой собаку овчарку. Молодой человек был сыном депутата, и семья его считалась одной из самых видных в городе. Но Ирине он не понравился – слишком уж смело шутил. Ей казалось, что девушку своего круга он развлекал бы по-иному. Немного уязвленная и вдобавок досадуя сама на себя – не надо было смеяться так громко, когда он острил, – она решила идти домой. Взяв корзину с десертным виноградом, Ирина пошла по тропинке, которая выводила на древнюю римскую дорогу, и никто не заметил ее ухода. Глубоко задумавшись, она чуть не разминулась со своим двоюродным братом Динко – деревенским парнем в одежде из домотканого сукна и в царвулях,2 которому Чакыр скрепя сердце предоставлял кров и стол, чтобы тот мог доучиться в гимназии. За это родственное благодеяние Динко все лето обрабатывал виноградники и табачное поле своего дяди.

– Отец велел тебе вернуться засветло, – сказал он Ирине, когда они встретились.

– Иду, иду, – сердито отозвалась девушка.

Чакыр не доверял молодежи. После захода солнца он не оставлял Ирину вдвоем даже со своим родным племянником. Он был непоколебимо убежден, что для устоев нравственности нет ничего опаснее темноты – особенно во время сбора винограда, когда молодежь начинает беситься, – и потому запрещал дочери возвращаться домой после заката.

– Он сказал, чтобы ты набрала и муската, – добавил Динко.

В голосе его прозвучала ирония – как всегда, когда он говорил о дяде. Динко был крупный красивый парень с русыми волосами и зеленоватыми глазами, но Ирина стыдилась своего родства с ним, так как он ходил в гимназию в царвулях и с сумкой из пестрядины.

– Набрала!.. – с досадой буркнула Ирина.

Она шла меж виноградников по древней римской дороге; учитель истории в гимназии говорил, что дорога эта проложена еще во времена императора Траяна. У каменных стен, которыми были укреплены откосы, чтобы не оползала почва, росли шалфей и ежевика, уже тронутые осенней желтизной, и кусты шиповника с оранжевыми плодами. Некоторые виноградники уже опустели – урожай собрали. Только пугала с растрепанными соломенными туловищами, в широкополых шляпах одиноко торчали на кольях и уныло шевелили на ветру своими лохмотьями. От пестрой увядающей растительности, от иммортелей и лютиков, что росли у обочины, веяло покоем, а тишина и неяркое солнце насыщали этот покой сладостной печалью.

Римская дорога вела к шоссе. Выйдя на него, Ирина остановилась и немного отдохнула, потом взяла тяжелую корзину в другую руку и пошла в сторону города. Холмы, покрытые виноградниками, остались позади. Она обернулась и окинула их взглядом. Вот прошел и этот сбор винограда, миновало и это лето, и этот год, а ничего интересного так и не случилось, подумала она, и ей стало грустно. Она не могла вести себя проще, сблизиться с соседскими девушками, шутить, как они, с парнями с улицы. Сверстницы ее были девушки простые, грубоватые, не следили за своей внешностью и не сознавали этого, ибо не стремились к иной жизни. Их отцы – мелкие ремесленники, рассыльные из общины, мастера табачных складов – по-разному пополняли доходы семьи: одни обрабатывали свои загородные клочки земли, выращивая табак или виноград, другие варили ракию.3 Девушки эти выходили на улицу нечесаные, в налымах,4 прогуливались по площади в цветастых платьях и довольствовались обществом тех мужчин, которые за ними ухаживали, о других и не мечтали. С девицами из интеллигентных семей Ирина не дружила тоже, оскорбленная их надменностью. Они даже учителям отвечали высокомерно, и, если одна из них получала за полугодие пятерку вместо шестерки, отец ее тут же отправлялся к директору требовать объяснений.

По обеим сторонам шоссе простиралась волнообразная красноватая равнина, засаженная табаком. Кое-где на табачных плантациях все еще собирали верхние, наиболее ароматичные и ценные листья – «уч» и «ковалаш». Немного погодя по шоссе проехала двуколка того молодого человека, с которым Ирина разговаривала на винограднике. Он улыбнулся ей рассеянно и снисходительно. Молодой человек тоже возвращался в город, но ему и в голову не пришло предложить Ирине подвезти ее. Ведь люди могли увидеть, что с ним в двуколке сидит девушка «из простых», дочь полицейского, а это было несовместимо с достоинством человека, принадлежащего к местной знати.

Ирина опустила голову. И не потому, что устала от долгой ходьбы или была оскорблена поведением молодого человека, просто она поняла, что и он ничтожество, такое же провинциальное ничтожество, как ее поклонник – учитель пения, у которого волосы лоснились от бриллиантина, как те неизвестные писаки, от которых она получала анонимные любовные послания, как вся эта орава мужчин с тупыми лицами, старательно подстриженными усиками и яркими галстуками, которая вечером гуляла по площади и грызла семечки в кино.

Девушка вздохнула. Скорей бы кончить гимназию и уехать в Софию, а там поступить на медицинский факультет… Она знала, как ей надо жить и чего добиваться в жизни. Она представила себе чистые желтые плитки мостовой на бульваре Царя Освободителя, неоновые рекламы, таинственно мигающие в синих сумерках, кондитерские, где за столиками сидят элегантные мужчины и красивые женщины, кинотеатры с большими экранами и удобными мягкими креслами, заполненные изысканной публикой, а не серой толпой, которая плюется шелухой от семечек и пахнет чесноком.

Резкий мужской голос внезапно прервал ее мысли:

– Постой!.. Дай мне одну кисть!..

Она вздрогнула, услышав вдруг в глухом месте этот невежливый окрик, так грубо вернувший ее к действительности. Сердце ее забилось, и, подняв голову, она увидела, что перед ней стоит сын учителя латинского языка, прозванного Сюртуком.

Это был хмурый, неприветливый, замкнутый юноша, который не имел определенных занятий с тех пор, как окончил гимназию. Он был худой, щуплый, да и не мудрено – ведь семья Сюртука жила в нищете и вечно недоедала. Лицо бледное, глаза темные, глубоко сидящие и пронзительные. Местные девушки его избегали, но и он не очень-то интересовался ими. Ирина видела его во дворе гимназии, часто встречала на улице и всегда с удивлением отмечала, что он не обращает на нее ни малейшего внимания. Встретив его, Ирина всякий раз долго думала о нем. Ей казалось, что это холодное, с правильными чертами лицо понравилось бы женщинам, о которых она читала в романах. Но ее оно не особенно привлекало. В часы вечерних сумерек, когда Ирина отдыхала от чтения или дневной работы, она создала себе идеал красивого мужчины. Человек, которого она могла бы полюбить, должен быть высоким, с длинными стройными ногами и тонкими красивыми руками; он должен быть сухощавым, но крепким, с резкими чертами лица, на котором запечатлелись следы глубоких страстей. Сын Сюртука не походил на этот образ, однако в нем было что-то смущавшее ее. Он был совсем не такой, как другие юноши городка.

Сейчас он стоял перед ней – невысокий с непокрытой головой, с холодным лицом, в помятом дешевом костюме и запыленных ботинках. В руке у него была книжка в картонном переплете, а из кармана пиджака торчали галеты. Наверное, он провел вторую половину дня на воздухе, где-нибудь в тени под деревом, и теперь возвращается домой. Как всегда, он не узнал ее. Должно быть, подумал, что это девушка с окраины – то ли горожанка, то ли крестьянка – и виноград она несет в город на продажу.

– Дашь мне винограду? – спросил он.

– Бери! – ответила она резко.

Она была возмущена его невежливостью. Вот и отец его тоже привык обращаться к ученицам с обидным пренебрежением – на «ты».

– Я заплачу, конечно, – проговорил он, вынув две мелкие монеты и внимательно их разглядывая, словно это были его последние деньги.

– Ты ошибся! – сказала Ирина. – Я не торговка.

Он посмотрел на нее равнодушно, но вдруг взгляд его изменился. Наконец-то он ее увидел. Наконец-то заметил, что она красива и вылеплена из особого теста.

– Верно, па торговку ты не похожа, – признал он свою ошибку, ничуть не смутившись.

Он скользнул глазами по старенькой блузке, выгоревшей юбке и парусиновым туфлям, надетым на босу ногу. Девушка была хорошо сложена, а в чертах ее красивого лица было столько жизни! Здоровая кровь окрашивала ее слегка загоревшую кожу румянцем медного оттенка. Густые черные волосы были искусно уложены валиком, орлиный нос придавал ее красивому лицу несколько высокомерную серьезность. Все это показалось ему забавным. Он упорно смотрел на Ирину удивленным взглядом, и это ее обижало. Во взгляде его было что-то неумышленно дерзкое. Но вместо того чтобы рассердиться, она выставила локоть руки, на которой держала корзину, и сказала:

– Возьми.

Рука у него была сильная, смуглая и загорелая, с изящной кистью, с чистыми и ровно подрезанными ногтями.

Он засунул книгу в карман и взял одну гроздь.

– Что это за книга? – жадно спросила Ирина.

– Немецкая книжка о табаке.

– Ой, как неинтересно!.. Как ты можешь читать такие книги?

– А что читать?

– Романы.

– Нет, я романов не читаю, – сказал он.

Она сжала губы в презрительной гримасе. Потом предложила ему взять еще одну гроздь и хотела было идти.

– Я провожу тебя до города, – сказал он, с удовольствием поедая виноград.

Ирина равнодушно усмехнулась. Она ничего не имеет против.

– Я Борис Морев, сын Сюртука, – представился он, словно решив поиздеваться над отцом. – Ты знаешь Сюртука?

– Ох, и еще как! – ответила Ирина с притворным ужасом.

И тут она вспомнила, что упрямый латинист никогда ученицам не ставит шестерки. А это может помешать ей поступить на медицинский факультет.

– Откуда ты его знаешь? – спросил юноша.

– По гимназии.

– Значит, ты гимназистка! – Удивление его все возрастало. – В каком классе?

– В одиннадцатом.

– А как у тебя с латынью?

– Хорошо.

– Не верю. Как может быть хорошо, если человек свихнулся?

– Кто свихнулся? – удивленно спросила Ирина.

– Отец.

– Вовсе он не свихнулся, просто строгий.

– Нет, совсем свихнулся! – твердил Борис.

– Когда я буду сдавать экзамены на аттестат зрелости, меня освободят от латыни, – сказала она.

– Да ну?… Если так, значит, ты наверняка знаешь наизусть речь Цицерона против Каталины и можешь повторять ее, как граммофонная пластинка.

– Нет, этой речи я не знаю. Да твой отец этого и не требует. – Она поправила прическу и с живостью спросила: – А почему ты, представляясь мне, заговорил о своем отце?

– Да потому, что он весьма известная личность и все говорят, что я похож на него.

– Нет, ты на него не похож и, наверное, рад этому.

– Да, рад! – сказал Борис, засмеявшись и злобно и горько. – А твой отец кто? – спросил он, помолчав.

– Он тоже человек известный… Чакыр, полицейский, служит в околийском управлении. Слышал, наверное?

– Да, конечно, слышал.

На этом их беглый и непринужденный разговор вдруг оборвался. Они шли молча.

Немного погодя Ирина спросила зло:

– Ты удивлен?

– Нет, почему же? – ответил он спокойно.

Ирина окинула его быстрым взглядом. Ей показалось, что судьбы их в чем-то сходны. Оба они стыдились своих отцов – словно не моглр1 им простить, что те не стали министрами или депутатами.

– Я не стыжусь своего отца, – сказала она твердо.

– А я – своего, – отозвался Борис. – Но я не могу ему простить того, что он смешон.

– А что в нем смешного?

– Все… Как в любом учителишке.

– Так только школьники думают.

– Теперешние школьники умнее своих учителей и потому издеваются над ними. Зубрить латынь глупо.

Ирина стала с ним спорить, приводя книжные доводы самого Сюртука и утверждая, что тем, кто решил учиться в университете, латинский язык необходим. Борис слушал ее рассеянно, не возражая. Он только удивлялся логичности ее мыслей. Но и это открытие ничуть его не взволновало. Долгие годы безрадостного детства и безнадежной учительской бедности отца породили в его душе холод и неприязнь к миру, и он разучился волноваться.

Незаметно для себя они подошли к городу, и Борис подумал, что тут им лучше расстаться. Подавая руку Ирине, он вдруг спросил:

– Хочешь, увидимся завтра?

Дерзкий и неожиданный вопрос смутил ее. Ни в голосе его, ни в глазах не отражалось и следа волнения. В этих знакомых острых глазах, темных и пронизывающих, не было ни слащавой елейности, как у учителя пения, ни овечьей покорности, как у влюбленных в нее одноклассников. Эти глаза, казалось, проникали в нее, не выдавая своей тайны, и было в них то глубокое, жгучее и неведомое, что встречаешь только в книгах. Ирина попыталась было освободиться от их власти, уклончиво объяснив, что завтра будет занята. Но Борис прервал ее:

– Отвечай сразу! Да или нет?

– Жди меня завтра на этом же месте… После обеда… Под вязом.

Она возвратилась домой запыхавшаяся и смущенная, но приятно взволнованная. Немного погодя, пораздумав, она упрекнула себя в легкомыслии. Да разве годится порядочной девушке соглашаться на свидание за городом с незнакомым мужчиной после первого же разговора? Неприлично и то, что она, растерявшись, предложила ему встретиться под вязом, а не в какой-нибудь маленькой кондитерской в городе, где, не вызывая особых сплетен, молодые люди могут видеться открыто. К сыну Сюртука она испытывала только любопытство, – какое-то особенное, пристальное и неотвязное любопытство, которое вызывали в ней и его уменье вести разговор, и холодное пламя в его глазах, отличавшее его от других мужчин. Вскоре ей показалось, что в его лице есть что-то напоминающее ее «героя», образ которого она создала по книгам и дополнила по кинокартинам. Постепенно она осознала, что ей хотелось бы понравиться Борису, а потом показалось даже, что можно позволить ему некоторые вольности. Но эту дурную мысль она немедленно отогнала.

Чтобы успокоиться, Ирина села в саду под ореховым деревом и раскрыла книгу. Она читала без разбора все, что попадалось под руку, жадно поглощая отравленные страницы, которые раскрывали перед ней чуждые, недоступные миры. Эти миры привлекали и очаровывали ее безуспешными попытками героев спастись от самих себя, упадочной красотой своих драм и своих пороков. Если бы ее целомудренно упругое тело не было так полно жизни и сама она не была так щедро одарена природой женскими чарами – тем естественным и непринужденным кокетством, покоряющим каждого мужчину, – Ирина, несомненно, впала бы в меланхолию, потому что мир, в котором она жила, был мещански ограничен, а тот, о котором она мечтала, – сказочно прекрасен. Но даже в этом мещанском мире она ощущала радость жизни, видя, какое впечатление производит на мужчин. Она сознавала, что красива и умна и что это гораздо лучше, чем быть глупой дурнушкой, даже если отец у дурнушки не полицейский, но богатый адвокат или врач. Одноклассники Ирины ухаживали за нею, молодой учитель пения с лоснящимися от бриллиантина волосами беспрестанно старался привлечь ее внимание. И она часто получала любовные письма, обычно без подписи. Каждый из тех, кто их посылал, с тоскою надеялся, что любимая отгадает, кто он, и не отвергнет назначенного свидания. Эти застенчивые провинциальные донжуаны не смели назвать себя либо потому, что отнюдь не были уверены в успехе, либо боялись, как бы свидетельства их дерзости не попали в руки Чакыра. Ирина не смеялась над этими письмами. Всем своим пламенным существом она инстинктивно понимала, что любовь – трагическое и сильное чувство, которое следует уважать даже у глупцов. Эти письма она просто рвала, никому не показывая.

Чакыр вернулся со службы усталый, но в хорошем настроении. Это был крупный широкоплечий человек лет пятидесяти, с гладко выбритым энергичным и властным лицом. Он походил скорее на жандарма, занимающего высокий пост, нежели на провинциального полицейского. Придя домой, Чакыр повесил фуражку на деревянную вешалку в маленькой передней, расстегнул верхнюю пуговицу мундира – это он позволял себе только дома – и сел за стол, накрытый к ужину. Против него заняли свои места жена и дочь. Обычно за стол с ними садился и Динко. Это было естественно и справедливо, но раздражало Ирину, так как постоянно напоминало ей о деревенской родне, сейчас она была довольна, что Динко нет дома: он остался ночевать в шалаше на винограднике вместе со своими двоюродными братьями, которые пришли из деревни помогать сборщикам винограда.

Чакыр был сельским уроженцем, а его жена вышла из семьи обедневшего македонского ремесленника, бежавшего из Салоник после Балканской войны. По тому, как был накрыт стол и какая чистота царила в этой комнате и во всем доме, видны были ловкие и заботливые женские руки – руки болгарки из народа, хорошей хозяйки, которая возвысилась над первобытной грубостью деревенского уклада жизни и сумела использовать удобства городского быта. Салфетки и скатерть были из сурового домотканого полотна, выглаженные и всегда чистые. Хлеб, нарезанный тонкими ломтиками, лежал в плоской корзинке. Приборы были начищены до блеска. Местные крестьянки, переселившиеся в город, не могли похвастать таким же умением. А жена Чакыра научилась этому у матери еще до замужества.

Она была красивая, ладная, смуглолицая и черноглазая. Чакыр увлекся ею восемнадцать лет назад, несмотря на ее бедность; это было уже после войны, во время большой стачки, когда полиция хлынула на табачные склады усмирять рабочих. Девушка работала на складе фирмы «Никотиана» пасталджийкой – укладчицей.

От комнаты, служившей одновременно спальней и столовой, веяло мещанской простотой и любовью к порядку – казалось, будто все вещи в ней находятся именно на тех местах, где им положено быть. Железные кровати с бронзовыми шариками были покрыты узорчатыми грубошерстными одеялами. От белых наволочек на подушках пахло синькой и утюгом. Пол был розоватый, потому что его каждую неделю натирали толченой черепицей. В ситцевых оконных занавесках, в горшках с геранью, в раскрашенной гипсовой статуэтке Наполеона, купленной на какой-то ярмарке и поставленной на специально предназначенный для нее столик, в потемневших фотографиях хозяев и их близких родственников в полукрестьянской-полугородской одежде было что-то успокоительное и приятное, и это очень привязывало Чакыра к семье. Уходя со службы, он спешил скорее вернуться домой и не любил задерживаться с приятелями в кафе и трактирах. Вообще семья Чакыра жила просто и счастливо.

Как всегда, ужин прошел оживленно и весело. В этой семье очень редко кто-нибудь бывал недоволен или сердит. Питались не роскошно, но обильно. У Чакыра было кое-какое недвижимое имущество в деревне, а близ города – виноградник и табачное поле, которые он выгодно купил у каких-то несостоятельных должников. Для этого он использовал свое служебное положение, знакомство с судебным исполнителем и прижал ростовщиков. Он полагал что от этой сделки выгадали не только он и должники но был нанесен ущерб и ростовщикам.

После ужина Чакыр закурил сигарету и завел разговор о винограднике и табачном поле. За виноград ему посулили хорошую цену, да и за табак он надеялся выручить немалые деньги.

– Я и в нынешнем году продам свой урожай генералу! – важно объявил он.

Чакыр говорил о генерале запаса Маркове, директоре местного отделения фирмы «Никотиана». Вспомнив о генерале, он повернулся к Ирине и неожиданно спросил:

– Ты знаешь сыновей Сюртука?

Ирина смутилась и побледнела.

– Нет, – испуганно ответила она. – Откуда мне их знать?

Чакыр посмотрел на нее с некоторым удивлением.

– По гимназии, – сказал он.

– Подожди-ка… вспомнила!.. Я знаю младшего.

– Стефана, которого исключили!

– Да.

– Ну… что он за человек?

– Ничего… в гимназии учился хорошо. Умный парень.

– Умный, да только на пакости!.. – проговорил Чакыр, медленно выпустив дым сигареты. – И другие два брата – хороши голубчики. Старший – коммунист, сидел в тюрьме, потом куда-то пропал. А средний до сих пор болтается без работы.

– Так ты о нем спрашиваешь?

– Да, генерал хочет взять его на работу.

Волнение Ирины возросло.

– Ну и пусть берет, – проговорила она чуть охрипшим голосом.

– Так я ему и сказал. – Чакыр расстегнул еще одну пуговицу. – Может, человеком станет. Что ты про него слышала? Уж не коммунист ли он, чего доброго?

– Нет… – Ирина покраснела, – Не коммунист.

– А откуда ты знаешь?

– Я не видела его с коммунистами.

– Значит, ты его знаешь? – проворчал Чакыр, раздраженный смущением дочери.

Ирина, не отвечая, стала помогать матери убирать со стола. Раздражение Чакыра постепенно улеглось. Он вышел во двор, взобрался на лестницу и стал снимать низки табака с деревянных планок, прибитых к передней стене дома. Ирина брала у него низки, бережно складывала их и относила в сарай возле маленького огорода. Табак убирали каждый вечер, чтобы он не испортился от ночной росы. Вообще сушка табака – операция сложная, от нее зависят и цвет и запах. Табачные листья нельзя сразу после сбора вывешивать на солнце, потому что они высохнут слишком быстро и станут ломкими; их нужно оставить на два-три дня в закрытом помещении, пока они не обвянут. После этого низки вывешивают попеременно то на солнце, то в тени, пока зеленые листья не станут золотисто-желтыми. Ирина уже хорошо знала, когда табак следует вывешивать на солнце, а когда прятать в тень. Она надломила один лист и с видом знатока показала его отцу. Лист уже принял красивый кофейно-желтый цвет, но из его средней жилки вытекал сок. Табаку нужно было еще немного подсохнуть.

Вернувшись в дом, отец и дочь сели у дешевого радиоприемника послушать музыку, а потом Ирина поднялась в свою комнатку, ослепительно чистую, но обставленную очень скудно. Деньги, скопленные Чакыром, пойдут не на приданое – на них Ирина будет учиться медицине. В комнатке были только железная кровать, стол, на котором стояло простое овальное зеркало, и этажерка с книгами. Низко над столом на длинном шнуре висела лампочка с жестяным абажуром. Ирина взяла с этажерки «Пальмы на тропическом взморье» и читала до поздней ночи. Потом открыла окно, разделась и легла. Воображение унесло ее в чудесные заморские страны. Она и не заметила, как лицо ее «героя» сделалось разительно похожим на лицо второго сына Сюртука.

Городские часы пробили полночь. В окно влетал шум протекавшей поблизости бурливой речки и тонкий аромат сохнущего табака. Где-то надоедливо лаяла собака, в чистом небе мерцали яркие осенние звезды.

На другой день Ирина проснулась поздно. Мать не позволяла ей выполнять грязную домашнюю работу, от которой руки становятся красными и грубыми. В открытое окно лились теплые лучи октябрьского солнца; отсюда открывались вид на черепичные крыши соседних домов, сверкающдую на солнце речку и густые купы пожелтевших деревьев. На востоке вздымались горы, окутанные прозрачным осенним туманом, сквозь который просвечивали багряные пятна дубовых порубок и темная зелень сосновой рощи. До улицам медленно, со скрипом тащились запряженные волами повозки, нагруженные виноградом. Мать Ирины, ловкая и красивая, в пестром платочке, подметала двор, усыпанный опавшими листьями орехового дерева. У курятника, огороженного проволочной сеткой, неторопливо расхаживали индюшки и куры, а у сарая, куда складывали уголь, басовито хрюкала большая свинья.

– Пойдешь на виноградник? – спросила мать, остановившись, и пытливо посмотрела на дочь. – Отец наказывал тебе идти с утра.

– С утра не могу, – насупившись, ответила Ирина. – Сначала мне нужно сделать уроки.

Она солгала – что с нею случалось редко – и покраснела. Домашние работы по алгебре и латинскому языку она написала еще в пятницу вечером – в первый день трехдневных каникул, которые предоставлялись учащимся для сбора винограда. На виноградник она хотела пойти после обеда, так как это было самое удобное для встречи с Борисом время: в эти часы отец дежурил в полиции, мать была занята дома – присматривала за разгрузкой винограда, а Динко помогал работникам на винограднике. Ирина сошла вниз, позавтракала и вернулась в свою комнатку – такую же чистую, какой была ее душа еще вчера. Вместо того чтобы учить уроки – их она отлично запоминала, быстро проглядев заданное на перемене, – она дочитала «Пальмы на тропическом взморье», начала «Гирлянды с Гавайских островов» и погрузилась в сладостную грусть, которую возбуждали в ней эти книжки.

Чакыр вернулся к обеду и рассердился, узнав, что Ирина не ушла на виноградник с утра. Ее вчерашнее смущение встревожило его. Он поворчал, пожурил дочь за непослушание, но вкусный обед и доброе вино исправили его настроение. Виноградник дал хороший урожай, да и цена на табак поднималась. Чакыр подремал недолго, потом начистил сапоги и ушел на службу.

Ирина собралась в путь. Волосы она уложила еще с утра. Ей очень хотелось нарядиться получше – надеть белую юбку из льняного полотна и темно-синюю шелковую блузку с короткими рукавами, но она боялась вызвать подозрения матери и ограничилась тем, что надела новые спортивные туфли и простой серебряный браслет – подарок отца, полученный после продажи прошлогоднего табака.

Когда она вышла из дома и направилась к винограднику, ее охватила тревога. То был не страх – сильная, как пантера, она не боялась мужчин, – а, скорее, смущение, возникшее от неуверенности в себе. Зачем она идет на это свидание? А вдруг это усложнит ее жизнь, помешает занятиям, расстроит ее планы… Не лучше ли вернуться? Но что-то неумолимо и властно влекло ее к безработному юноше в поношенном костюме, с красивым лицом и холодными глазами.

Сбор винограда подходил к концу, и только кое-где на виноградниках еще оставались люди – они пели песни, играли на аккордеонах и гитарах. По шоссе навстречу Ирине двигались повозки, тяжело нагруженные корзинами с виноградом. В кустах стрекотали кузнечики. Откуда-то выскочил заяц и помчался по табачной стерне. Синее небо, ласковое солнце, не порождавшее ни зноя, ни духоты, горы, равнины и холмы, утонувшие в пламени умирающей растительности, дышали спокойствием, напоенным печалью и тихой чувственностью южной осени.

Борис лежал под вязом на пожелтевшей траве и, подперев голову рукой, читал книгу. Читал сосредоточенно, словно ушел из города только затем, чтобы провести день на воздухе, и не интересовался, придет ли Ирина. Заметив ее, он спокойно поднялся и сунул книгу в карман.

– Я не думал, что ты придешь так рано, – сказал он, подавая ей руку.

– Мне надо вернуться домой к семи, – объяснила она.

– У тебя строгие родители?

– Да, как все простые люди. Но я привыкла уважать их предрассудки.

– Это хорошо. – Борис посмотрел на нее испытующе, словно стараясь разгадать что-то в ее характере. – Это говорит об умении избегать лишних конфликтов.

– Просто я люблю своих родителей.

Его холодное красивое лицо с темными, глубоко сидящими глазами почему-то смущало ее.

– Готов спорить, что ты впервые пришла на свидание – сказал он, заметив, как она взволнована.

– Нет, не впервые, – солгала Ирина из гордости. – Ходила и раньше.

– Как?… За город? – спросил он с шутливым возмущением.

– Да, за город. С воспитанными мужчинами, конечно.

– Ты не умеешь лгать.

– А ты плохо поступаешь, заставляя меня лгать.

– Не так уж я плох!.. – возразил он насмешливо и добавил: – Здесь очень пыльно, да и люди ходят – еще подумают, что у нас с тобой любовь. Хочешь, пойдем через сосновую рощу к часовне?

К часовне!.. Но это очень далеко! Она не успеет вернуться домой до возвращения отца. Однако безотчетное желание новизны побудило ее согласиться.

По узкой и крутой тропинке они пересекли сосновую рощу, устланную коричневатой хвоей и напоенную запахом смолы. Холм был высокий. Часовня стояла на его вершине посреди поляны, поросшей боярышником, шиповником и бурьяном. За поляной склон круто обрывался вниз; тут были отвесные скалы и осыпи, к подножию которых подходил лес. Место было тенистое и дикое, и с него открывался красивый вид на город и долину реки. Когда они вышли на поляну, Борис снял пиджак и расстелил его на высохшей траве. Они сели против солнца, лицом к городу. Дома там, внизу, походили на крошечные игральные кости, разбросанные у реки, а между ними, на улицах и площадях, как муравьи, копошились люди. Дневной поезд из Софии полз к вокзалу, как маленькая гусеница. Пока Ирина и Борис шли рощей, они говорили о пустяках, а теперь умолкли.

– Значит, медицина!.. – сказал он слегка насмешливо и закурил сигарету.

– Да.

Она смотрела вдаль. Ее нежные смуглые щеки раскраснелись от ходьбы.

– А замуж не выйдешь?

Он усмехнулся, но Ирина этого не заметила.

– Нет, сначала окончу университет.

Она стала рассказывать ему о своих планах, призналась, что мечтает работать в далеких южных краях. Борис наблюдал за нею с холодным блеском в глазах.

– Планы хорошие, – сказал он наконец. – Так и должна жить девушка твоего типа… Но что касается южных стран, боюсь, все это глупые фантазии.

– Почему? – спросила она.

– Человек чувствует себя хорошо только там, где можно хорошо заработать.

– Ты ничуть не похож на своих братьев, – задумчиво проговорила Ирина.

– Да, ничуть. Они коммунисты.

– Что с твоим старшим братом? Чем он занимается теперь?

– Читает запрещенные книги и подстрекает дураков на борьбу против властей… Кончил отделение романской филологии, но учителем его не берут, у него судимость за участие в сентябрьских событиях5… Занимается переводами… попрошайничает или что-то в этом роде… точно не знаю.

– Как жаль!

– Чего?

– Что он коммунист.

– Еще бы!.. Этими глупыми идеями он заразил и младшего брата… Причинил семье тысячу неприятностей, заставил нас терпеть лишения. Вообще он оказался неумным и неблагодарным человеком.

Ирина нахмурилась.

– Ты несправедлив, – сказала она. – Твоего брата никак нельзя назвать глупым или неспособным. Знаешь, мне кажется, что одна моя одноклассница влюблена в него.

– Знаю!.. Это Лила, дочь истифчии6 Шишко. Она ведь, правда? Когда брат бывает в городе, они постоянно вместе… Два сапога пара… Оба нахватались коммунистических идей, и это помогает им и в любовных делах приходить к согласию. Сочетают идейное с приятным.

– Замолчи!.. Лила порядочная девушка.

– Я этого не отрицаю. Я говорю только о брате. Когда у человека нет денег или он не способен их заработать, он находит успокоение в коммунистических идеях. Мои братья утешаются именно таким способом.

– Ты все время говоришь о деньгах… Твой отец, должно быть, очень беден, – сочувственно заметила Ирина.

– Да, варварски беден, ужасно беден!.. – подчеркнуто громко подтвердил Борис. – Впрочем, это известно всему городу. Мы не вылезаем из долгов разным бакалейщикам, булочникам, мясникам. Вот почему для меня нет ничего ненавистнее бедности.

– Чем ты теперь занимаешься?

– Ничем.

– Как ничем?

– Да так!.. Изучаю табачное дело.

Она хотела было сказать ему о вчерашнем разговоре с отцом, но предпочла промолчать.

– А что тебе может дать табачное дело?

Борис поморщился и не ответил. Разве способна девушка понять, какие возможности таит в себе табачное производство?

– Почему бы тебе не поехать в Софию? Там ты мог бы и работать, и учиться в университете, – продолжала она, глядя на него теплым взглядом.

– Потому что я не такой дурак, как мои братья, – ответил он.

– Но что тебе может дать табак? – Ее огорчила враждебность, с какой был встречен ее совет. – Станешь мастером… директором склада… самое большее экспертом какой-нибудь табачной фирмы… Добьешься этого ценой вредной, убийственной работы, угодничества и подхалимства… Ведь у тебя нет никаких связей с тузами?

– Никаких, – мрачно подтвердил он.

– Значит, надеяться тебе не на что!.. Прости, что я так говорю с тобой.

– Я бы не потерпел этого ни от кого другого.

Она посмотрела на него и сказала:

– Впрочем, ты, может быть, и добьешься своего.

Наступило молчание. Солнце клонилось к закату, и очертания горных склонов четко вырисовывались на фоне неба. Подул легкий ветер. Над рекой повисла длинная синеватая пелена тумана.

– Поживем – увидим! – неожиданно произнес Борис.

Потом обнял ее и привлек к себе с таким видом, словно это было вполне естественно и не могло быть иначе. Она совсем не сопротивлялась. Губы ее трепетно и неумело ответили на его поцелуй.

Солнце зашло.

Когда они спустились в город, вечерний сумрак уже сгущался. Со дворов неслись веселые песни – это сборщики винограда пели под аккомпанемент аккордеонов.

Расставшись с Ириной, Борис направился к центру города, по-прежнему ощущая вкус ее губ, еще не умевших целовать. «Немножко любви», – пробормотал он с насмешкой. Слово «немножко» заставило его холодно улыбнуться. Он все измерял количеством. Приключения такого рода оставляли в его душе лишь досаду и сожаление о потраченном времени, но для юноши с пустым карманом они были единственным удовольствием. Игра в моникс7 в кафе обходилась в пять левов, но и эти гроши у него были не всегда. По натуре своей он не был ни развратником, ни монахом, и поэтому девушки не занимали в его жизни много места, не вызывая ни восторга, ни печали. Ирина была для него одной из этих девушек. К женщинам он всегда относился пренебрежительно, его завораживал лишь мираж табака, поэтому он не понял, что терпкий вкус ее губ взволновал его гораздо глубже, чем ему казалось.

Он уже не думал о ней, когда вышел на главную улицу, его злила толпа, которая мешала ему идти. По тротуарам двигались самодовольные торгаши, удачно провернувшие какое-нибудь дельце, ленивые чиновники, только что вышедшие из канцелярии, разодетые по последней моде провинциальные франты со скучающими физиономиями, девушки с миловидными личиками и толстыми ногами. И все они толкались, скалили в улыбке зубы и здоровались с таким видом, словно появление на главной улице в час традиционной вечерней прогулки было высшей целью их жизни. «Мерзкая толпа», – подумал Борис с отвращением, раздраженный людским потоком, который толкал его и принуждал идти не прямо, а зигзагами. Да он бы душу свою продал, лишь бы подняться над этим сбродом!.. Он уже давно решил продать ее, но все не находил хорошего покупателя, и это его удручало. Слишком низкую цену ему давали. Предлагали стать полицейским агентом, сельским учителем, помощником аптекаря, кассиром в кино и даже любовником пожилой женщины. Все это он отверг спокойно, без возмущения, как мелкие предложения, не заслуживающие внимания. И злоба на мир, накопившаяся в нем от бедности, разгоралась не от перспективы нравственного падения, а потому, что вознаграждение за него было слишком ничтожным. Он знал, что от мелких, хоть и почтенных службишек он отупеет, а в полицейские агенты и платные любовники идут только умственные калеки. Однако ему нужно было с чего-нибудь начать, и, забросив свой гимназический аттестат, он поступил на табачный склад. И тут перед ним впервые засверкал золотом мираж табака. Ему показалось, что он со своим умом и презрением к людям может властвовать над толпой. Эти одуряюще ароматные коричнево-желтые табачные листья, которые он укладывал кипами и стягивал в тюки, могли превратиться и для него в роскошный дом, в американский автомобиль, в богатство и могущество… Нужно только как следует изучить технологию обработки табака, научиться ловчить при браковке товара, усвоить тактику закупок и бухгалтерские приемы утаивания прибылей, овладеть искусством давать взятки и полицейскими методами подавления стачек. Нужно только преодолеть преграду из этих директоров и мастеров, из всяких невежд, жуликов и мелких воров, которые ревниво цеплялись за свои места, закрывая путь в таинственный и недоступный мир крупного капитала, мир акционеров, генеральных директоров и главных экспертов. Иногда ему удавалось увидеть людей из этого недоступного и всемогущего мира. Они приезжали в лимузинах, стоивших полмиллиона, внимательно осматривали партию товара, а потом отправлялись в горы ловить рыбу. Одни казались интеллигентными, были изысканны и молчаливы, другие, напротив, просто поражали его – до того были неотесанны, так суетно и нагло хвастали своим богатством. Среди этих последних встречались люди почти без образования, бывшие корчмари и мясники, грубые и бессовестные, как барышники на ярмарке, но сумевшие нажить пятьдесят, а то и сто миллионов. А что мешает ему достичь того же? Он умеет относиться к людям более гибко, мысль его острее, воля сильнее, чем у этих богачей. Целыми ночами он раздумывал над всем этим, и табак стал для него огненной мечтой, которая воспламеняла его воображение.

Но в первые же дни работы Борис познал всю жестокость своего миража. Он едва выносил дурманящий запах табачных листьев. Ядовитая пыль, которой он дышал весь День, вечером раздирала ему легкие резким мучительным кашлем с желтоватой мокротой. Лицо у него побледнело, голова кружилась; его часто тошнило, и тогда он обливался холодным потом. Все это были признаки острого отравления никотином, поражающего новичков, которые слишком усердствуют и, стремясь завоевать расположение мастера, не уходят со склада после окончания рабочего дня. Борис усердствовал три месяца – все надеялся на повышение. Но мастер был человек предусмотрительный и не позволил ему подняться выше тюковщика. Еще месяца три, думал он, и этот парень, умный и образованный, чего доброго, его вытеснит. Торговля табаком процветала, и главные эксперты всюду старательно искали таких людей. В конце концов эти мысли стали так беспокоить мастера, что он счел за благо уволить Бориса.

Два месяца Борис был без работы, но теперь надеялся поступить в «Никотиану», самую солидную и богатую из табачных фирм. Должность он мог получить лишь маленькую, канцелярскую, но она дала бы ему возможность изучить технику табачного дела, не вдыхая целыми днями ядовитую табачную пыль.

На площади он вошел в большое кафе и оглядел столики, ища глазами генерала Маркова. Генерал, мужчина с багровым лицом и бритой головой, в светлом спортивном пиджаке, играл в кости с директором фирмы «Родопский табак» и до того увлекся игрой, что Борис не посмел обеспокоить его вопросом о своем назначении. Публика в кафе была примерно та же, что и на улице, но более ленивая и равнодушная к любви, кино и прогулкам в сумерки – ко всему, что волновало молодежь. Тут сидели пенсионеры с красными носами пропойц, бездельники и местные богачи, пылкие стратеги и знатоки международных вопросов, которые одновременно были виртуозами игры в белот8 и чемпионами моникса. Но сейчас почти все эти провинциальные тупицы бросили кии, кости и карты, чтобы послушать радиопередачу. Однако собственное мнение было для йтих людей важнее передачи, которую они слушали, и, словно стадо крикливых обезьян, они болтали так громко, что заглушали голос диктора.

Борис устало присел за свободный столик и заказал кофе.

– Что передают? – спросил он, когда официант принес ему кофе.

– Речь Гитлера, – небрежно ответил тот.

– Говорил что-нибудь интересное?

– На евреев обрушился.

Борис бросил рассеянный взгляд на столик генерала – ведь судьба его зависела от благоволения этого человека. Генерал ни за что не хотел признать себя побежденным и ожесточенно расставлял фишки для новой партии. Борис ронял, что говорить с ним сейчас неудобно. Он заплатил за кофе и вышел на улицу.

К вечеру похолодало, и Бориса пробирала дрожь. Ни макинтоша, ни плаща у него не было. Свет электрических фонарей на улице, напоминавших четки из трепещущих огней, этим холодным осенним вечером казался особенно резким. Борис направился в северную часть города. Фонари попадались все реже, и улицы становились все уже и темнее. Дойдя до минеральных бань на площади, многолюдной летом, а теперь пустынной, он прошел мимо мечети, на минарете которой горел фонарь. Современные постройки центральной части города – свидетельство купеческого благосостояния – уступили место ветхим домишкам с деревянными воротами, огородами и просторными дворами. В некоторых дворах горели костры: женщины варили повидло, а мужчины окуривали бочки или готовили котлы для ракии.

В этом квартале в маленьком плохоньком домишке жила семья Сюртука.

**II**

Прошел год с того дня, когда Борис поступил на склад «Никотианы» стажером из интеллигентных безработных. Ирина сдала экзамены на аттестат зрелости с отличием и стала готовиться к поступлению на медицинский факультет. Динко тоже окончил гимназию, но его взяли в школу офицеров запаса.

Городок прозябал, сонный и тихий, занятый мелкими сплетнями, овеянный благоуханием сохнущего табака. Лишь время от времени людей взбудораживало какое-нибудь убийство, совершенное македонцем, или внезапный арест коммунистов, которых затем, заковав в наручники, отправляли в областной центр.

В семействе Чакыра царило спокойствие.

Но в один жаркий день в конце августа Чакыр пришел домой к обеду в плохом настроении; впрочем, он был не в духе с утра и весь день мелочно придирался к подчиненным. Молодых полицейских околийского управления он выругал за небрежное отношение к оружию, постовому перед общиной сделал строгое замечание за то, что тот не брит, а жене грубо крикнул:

– Накрывай на стол!.. Чего ждешь?

Жена с удивлением посмотрела на него, потому что стол давно уже был накрыт.

Чакыр сел на свое место туча тучей и принялся растирать в супе стручок горького перца, от которого его краснощекое лицо вскоре запылало еще сильнее. Затем он бросил свирепый взгляд на женщин: они ели в страхе, ожидая, что вот-вот разразится буря.

– Подавай гювеч,9 – скомандовал он жене, а потом, еще строже, буркнул Ирине: – Давай вина!

Обе женщины почти одновременно встали и принесли гювеч и вино. Гювеч был жирный, приготовленный по вкусу главы семейства: с картофелем, баклажанами и маленькими стручками горького перца. Отпив глоток вина, он опять посмотрел на женщин и заметил, что они почти ничего не едят. «Ишь суки, – сердито подумал он. – Если этих баб не держать в страхе, они мне на голову сядут! Ирина – та уже села».

Пообедав, он закурил и, как это он делал на службе во время допросов арестованных, зловеще помолчал, чтобы еще пуще напугать виновниц и внушить им уважение к власти. Свинцовая тишина нависла над столом, женщины склонили головы. Мать с излишним усердием начала складывать салфетки, а Ирина, слегка побледнев, упорно старалась вывести хлебом пятно от капли вина, упавшей на скатерть.

– Позор!.. – загромыхал наконец голос Чакыра. – Я чуть сквозь землю не провалился, когда мне сказали.

– О чем ты? Что тебе сказали? – ворчливо спросила жена.

– И ты еще притворяешься, что ничего не знаешь?! – гневно вскричал полицейский.

– Правда, ничего не знаю.

– Если не знаешь, спроси людей!.. Твоя дочь – любовница бродяги.

– А ты не очень-то слушай, что люди болтают, – немедленно отозвалась жена.

– Молчи!.. – в ярости взревел Чакыр.

Его красное лицо полиловело, а углы губ опустились, что придало ему еще более свирепый вид. Жена обиженно встала и вышла из комнаты, сердито хлопнув дверью. Довольная своей отповедью мужу, она остановилась в тесной передней и стала слушать. Она знала, что ее уход отрезвит Чакыра и притушит его гнев. А Ирине и правда не худо получить небольшой нагоняй. Пора уже!

После ухода жены Чакыр почувствовал себя совершенно беспомощным. «Вот те на!.. Дашь бабам волю – потом попробуй с ними справься. Эх; отлупить бы их как следует…» Но тут же Чакыр сообразил, что грубостью ничего не добьешься. Жена его не такая, как здешние женщины, ее не поколотишь. А дочь и подавно.

– Что случилось, папа? – вдруг спросила Ирина.

Чакыр перевел дух. Голос у дочери был взволнованный, но в нем слышалась искренность и чистота, и Чакыр спросил уже спокойнее:

– Сегодня утром мне сказали, что ты ходила на свидания с сыном Сюртука. Правда это?

– Да, правда, – ответила Ирина.

Лицо Чакыра снова потемнело, вены на висках запульсировали, а на лбу высыпали мелкие капельки пота. Он не мог по достоинству оценить это чистосердечное признание, но все же сохранил спокойствие, необходимое для дальнейшего допроса.

– С какого времени? – хмуро спросил он.

– С прошлой осени.

– Где же вы встречались?

– У часовни.

– А зимой?

– Вечерами – у деревянного мостика, за складом «Никотианы».

– В других местах встречались?

– Нет.

– А какие у вас планы? – В голосе полицейского зазвучала злая насмешка. – Этот гаденыш хочет, чтобы вы немедленно поженились?

– У нас нет никаких планов.

Чакыр взглянул на дочь и онемел. Он был человек старого закала и строгих правил и внебрачную любовь считал подлостью – пользуются мерзавцы женской простотой!

– Значит, так, негодница!.. – вскричал он вне себя. – Ты согласилась развлекать его, как девица легкого поведения!..

– Ты знаешь, что я не… что я не могу быть девицей легкого поведения, – гордо сказала Ирина.

– Я знаю только то, что ты гуляешь с городскими нищими, а надо мной люди смеются… Был бы хоть порядочный человек, а то ведь хвастун и лентяй! Не успели его из милости принять на склад, как он уже бредит миллионами. Ну и дрянь!

Ирина опустила голову. Чакыр умолк, довольный тем, что слова его подействовали на дочь. Ведь он нанес ей удар по самому чувствительному месту – по ее гордости. Он посмотрел на свои большие старомодные часы с турецким циферблатом и скорчил гримасу: опоздал на службу. Быстро поднявшись, он опоясался ремнем с саблей и вышел, громко хлопнув дверью.

В комнату вошла мать. Ирина тихо плакала, по ее смуглым щекам катились слезы, а волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Она машинально подняла руки, чтобы поправить прическу, но только еще больше испортила ее. Слова Чакыра жестоко оскорбили ее обостренное чувство собственного достоинства. Мать подошла и погладила дочку по щеке. Ирина во внезапном порыве поцеловала ей руку. Ей показалось, что в этой нежной ласке, в этой огрубевшей, но теплой руке таится такое глубокое сочувствие и понимание, о каком она до сих пор и не подозревала. Наклонившись над дочерью, мать взяла ее за подбородок и осторожно повернула ее лицо к себе:

– Скажи мне все!.. Что-нибудь случилось?

Ирина поняла вопрос и твердо ответила:

– Нет, успокойся… Ничего не случилось.

Она ощутила поцелуй на своем лбу и невольно с глубоким чувством, оставшимся с детских лет, прильнула лицом к материнской груди. От ее тепла на Ирину повеяло чем-то таким надежным, таким прекрасным, милым и нежным, что она зарыдала еще громче.

Мать спросила:

– Вы что-нибудь уже решили?

– Мы пока ни о чем определенном не говорили… Я должна окончить университет, а он хочет выдвинуться… заработать много денег.

– Этого каждый хочет. Но сможет ли он?

– Я знаю… уверена, что сможет.

Мать озабоченно вздохнула.

– Какое жалованье он получает теперь?

– Тысячу двести левов.

– Мало. Этого ему одному не хватит.

– А ты не смотри, сколько он получает теперь! Главный эксперт «Восточных Табаков» предлагает ему двенадцать тысяч в месяц и работу в управлении.

Мать снисходительно улыбнулась:

– Это он сам тебе сказал?

– Да. Но у него есть основания не бросать «Никотиану». Ты не знаешь… не понимаешь, что такое табак.

Мать задумчиво посмотрела в окно и опять вздохнула. В ее памяти всплыло прошлое, когда она сама работала на складах «Никотианы» и «Родопского табака». Вспомнилась ей коричневая пыль, оседавшая в легких в течение всего бесконечного рабочего дня. Вспомнился ядовитый запах, который дурманил голову, губил свежесть ее щек и словно высасывал кровь из тела. Вспомнились дни стачек, когда полиция разгоняла собрания и беспощадно набрасывалась на рабочих с палками и плетьми. Господи, каким страшным казалось ей все это теперь!.. Но чутье матери, озабоченной будущим дочери, подсказывало ей также мысль о головокружительном обогащении людей, которые начали заниматься табаком без гроша в кармане и которым Чакыр тогда давал взаймы на обед в закусочной. То были люди хитрые, бессовестные, но способные и энергичные. А этот Сюртучонок, чей неряха отец прославился на весь город, неужели он обладает подобными качествами? Может ли он стать кем-нибудь более значительным, чем истифчибашия,10 чем обыкновенный мастер? И неужели Ирина – пара такому, как он? Нет, нет!.. Мать прижала ее к себе и произнесла решительным тоном:

– Ты должна поскорей забыть его… Пускай сначала выйдет в люди и наживет состояние, а там видно будет.

Во взгляде Ирины мелькнул враждебный огонек, но потом она грустно опустила голову. Что другое могла сказать ограниченная и необразованная женщина?

– Отец ни за что не позволит тебе больше встречаться с ним, – продолжала мать. – Подумай хорошенько!.. Если ты не послушаешься, он, чего доброго, рассердится и не пустит тебя в Софию.

– Оставь меня! – внезапно вспыхнула Ирина. – Если он это сделает, я буду, как Динко, работать на него *и* поле… Иной дочери он и не заслуживает.

Ирина вернулась в свою комнатку и снова горько заплакала, сознавая в глубине души, что упреки отца справедливы. Чего-то недоставало в ее отношениях с Борисом, что-то отделяло влюбленных друг от друга, что-то делало их дружбу ненадежной, непрочной. Ирине хотелось поверить в планы Бориса, в его мечты, но она не могла в них верить и порой даже сомневалась, правду ли он говорит, рассказывая ей о каких-нибудь мелочах. Имеет ли смысл оставаться ему в «Никотиане», если главный эксперт «Восточных Табаков» действительно предлагал ему двенадцать тысяч левов за работу в управлении? Почему все люди кажутся ему простаками, которых он может перехитрить? Разве нажить миллионы легко? Борис переутомлен, похудел, пожелтел, надсадно кашляет от табачной пыли, но непрестанно бредит своими планами, надеется на какие-то невероятные стечения обстоятельств, основывает в своем воображении громадные предприятия с филиалами за границей. И потому он все больше походит на одержимого золотой лихорадкой, на сумасшедшего искателя кладов, на ничтожного и жалкого бедняка, который всю свою жизнь будет стараться нажить деньги, но так ничего и не достигнет. Что значат для него деньги? Может быть, что-то такое, чего он сам не сознает и что не имеет ничего общего с их обычным употреблением, но влечет его неотразимо, так как связано с властью над людьми и местью за бедность. Даже когда он ее целует, его холодные глаза устремлены в это далекое и неведомое будущее, которое отрывает его от жизни, от любви.

И вдруг она почувствовала себя униженной. Да, родители правы. Может быть, не нужно больше с ним видеться. Может быть, в Софии она забудет его, постепенно и незаметно. Но мысль о том, что она никогда больше его не увидит, показалась ей невыносимой. Она вспомнила часы, проведенные с ним… Вершины высоких гор ярко сверкали, все еще покрытые снегом, а вокруг была весна: цвели шиповник и боярышник, желтые лютики усыпали поляны, поросшие буйной травой. В воздухе носилось что-то теплое и золотистое, что-то безумно радостное и счастливое, и это опьяняло влюбленных. Тогда его холодность, так отдалявшая их друг от друга, исчезала, он становился нежным и начинал ее целовать… Да, все же он любил ее, в ней он находил что-то такое, чего ни работа, ни честолюбие, ни мечты не могли ему дать. И она опять заплакала.

Ирина очнулась, услышав бой городских часов. Ей пора было на свидание. Они уговорились встретиться в маленькой кондитерской неподалеку от площади – в середине дня там никого не бывало. Она быстро оделась и с замирающим сердцем вышла из дому.

Приближался конец августа, и, хотя было все еще очень жарко, в поблекшей зелени и усталом сверкании солнца угадывалось первое дуновение осени. На улицах акации печально роняли мелкие пожелтевшие листья, а речка шумела убаюкивающе и глухо. Время от времени где-то сонно кукарекал петух. Фасады домов, побеленные известью или обмазанные глиной, были увешаны низками только что собранного табака, издававшего пьянящий, сладковатый запах, который смешивался с благоуханием цветущих во дворах гвоздик и левкоев.

Ирина медленно шла по безлюдной улице. Каждый угол, каждый забор, каждый дом напоминали ей о минувших днях, когда она, запыхавшаяся и счастливая, бежала по этой самой улице, чтобы выйти на шоссе и потом подняться по тропинке к часовне. Но чем больше ею овладевали воспоминания, тем больше возрастало смятение в ее душе. Суровые слова отца перемежались в ее памяти с кроткими советами матери. Оскорбленная гордость боролась с любовью. Ирина понимала, что ей нужно расстаться с Борисом, и все же это казалось ей невозможным.

Измученная своими мыслями, она пересекла площадь, мощенную гранитной брусчаткой, и вошла в кондитерскую. Там было прохладно и темно, пахло ванилью. В глубине комнаты сидела парочка; он и она виновато отодвинулись друг от друга, а хозяин в белом фартуке все так же дремал за прилавком, заставленным подносами с баклавой11 и разноцветными пирожными местного приготовления. На стенах висели календари патриотических организаций, торговое свидетельство кондитера и групповая фотография футболистов национальной сборной.

Борис сидел за столиком перед блюдечком с мороженым. На нем был все тот же прошлогодний истрепанный костюм. Ирина села рядом с Борисом и судорожно стиснула ему руку. Слезы, которые она до сих пор сдерживала, градом полились из ее глаз.

– Что случилось? – с досадой спросил он.

– Отец все узнал.

Борис усмехнулся, но его охватило неприятное чувство, будто Чакыр опутал его сетью, из которой нелегко выбраться.

– Так!.. – сказал он с напускным спокойствием. – Ну и что же?

– Как что?… – Ирина с упреком устремила на него глаза, полные слез.

– Может, нам под поезд броситься?

Его суровый голос словно пронзил ее, и она овладела собой.

– Не надо шутить, – тихо проговорила она. – Лучше…

Она хотела сказать: «Лучше подумаем, что нам делать», но замолчала. Что-то мешало ей говорить. Она вдруг осознала, как унизительно ее положение. Разве могла она ему сказать: «Мы с тобой встречались, и отец узнал об этом. Мы должны пожениться». На такое она не способна.

– Я не шучу и думаю, что нам больше не надо видеться, – сказал Борис, разгадав ее колебания и пытаясь извлечь из них пользу.

Связь с Ириной давно тяготила его; он опасался, как бы она не повлекла за собой каких-либо осложнений, и потому уже подумывал о разрыве. Сейчас для разрыва наступил удобный момент.

– Совсем не видеться? – удивленно прошептала она.

– Да, совсем… В конце концов, не могут же наши отношения длиться вечно. Я намекал тебе на это с самого начала. Не смотри на меня так.

– Борис… – прошептала Ирина в отчаянии.

Он испугался, как бы не произошла неприятная сцена, и сказал мягче:

– Ты уедешь учиться в Софию, а я должен остаться здесь. – И вдруг добавил грубо: – Не плачь, пожалуйста, на нас смотрят и смеются!.. Не дури.

Он помолчал, потом продолжил:

– За эти два-три года я прочно стану на ноги… А там видно будет… Но теперь я не могу брать на себя никаких обязательств. Тебе ясно почему, правда?

Она не ответила. Мрачно и пристально смотрела она прямо перед собой. Боль и безмолвное, безропотное решение примириться с судьбой осушили ее слезы. Да, ей ясно. Он не хочет терять свободу и ограничивать свои возможности из-за какой-то девчонки, скромной провинциалки, которая не может принести ему в приданое ни состояния, ни связей с недоступным миром. А может, в его сумасбродные планы входят и те красивые, купающиеся в роскоши женщины, которые иногда приезжали сюда в лимузинах, сопровождаемые супругами, отцами или любовниками? Нет, ни внешность его, ни характер не могут понравиться этим избалованным женщинам. Но она все же заметила с горечью:

– Если ты хочешь заняться табачным делом, тебе понадобится много денег.

– Я их найду, – уверенно ответил Борис.

– Где?

– Найду компаньона или гарантийный кредит… можно платить производителям после продажи готовой партии товара… Возможностей сколько угодно.

Он нетерпеливо посмотрел на стенные часы и нервно забарабанил по столу пальцами.

– А мы увидимся еще хоть раз? – глухо спросила Ирина.

Борис пожал плечами и великодушно согласился:

– Можно.

– У часовни?

– Хорошо. У часовни.

– А куда ты сейчас спешишь?

– У меня дела на складе. Завтра приезжают хозяева. Нужно все подготовить.

Ирина грустно улыбнулась. Ему кажется, что всего несколько лет отделяют его от миллионов. И в его безумии есть что-то трагическое. Но именно это заставляло ее любить его еще сильнее.

– Все будешь готовить ты? – спросила она.

– А кто же еще?

– Это дело директора.

– Ха, директора!.. – Борис презрительно усмехнулся. – Всю его работу делаю я и Баташский… Впрочем, он опять уехал куда-то произносить речи и даже не знает о приезде хозяев.

Ирина нахмурилась. Генерал Марков считался покровителем Чакыра и постоянно покупал у него табак для «Никотианы».

– Ты должен ему как-нибудь сообщить, – промолвила она с упреком.

– Кому «ему»?

– Генералу.

Борис небрежно махнул рукой.

– Это не моя обязанность… Но не волнуйся. Спиридонову все равно – тут ли генерал или нет. Марков – только патриотическое украшение для местного филиала фирмы. Спиридонов знает свое дело.

Еще ребенком Ирина слышала о Спиридонове. Когда упоминали его имя, она испытывала необъяснимое чувство страха и негодования. От Спиридонова и его заграничных сделок зависело многое в округе. Он приказывал начинать закупки и открывать склады, он определял цены на табак-сырец, размеры выбраковки, поденную заработную плату, он решал – голоду ли быть в тысячах бедных домов или жалкой сытости. Это его действия вызывали протесты депутатов в Народном собрании, это из-за них вспыхивали стачки и происходили столкновения между рабочими и полицией, в которых жизнь ее отца подвергалась опасности. И теперешний приезд Спиридонова снова пробудил негодование в душе Ирины.

Грустная, она молча доела мороженое.

– Ты думаешь, Спиридонов тебя заметит? – неожиданно спросила она.

– Не знаю, – ответил Борис. – Но если не заметит, тем хуже для «Никотианы». Я сразу же поступлю в управление «Восточных Табаков».

Ирина горестно вздохнула: значит, когда он хвалился, что главный эксперт «Восточных Табаков» приглашал его, это, может быть, и не было выдумкой.

Лила, дочь истифчии Шишко, собиралась идти на свидание с Павлом, а свидания их были редкими. Она работала укладчицей на складе фирмы «Родопы», но сегодня не пошла на работу – и только из-за этой встречи.

В единственной комнатушке их домика было полутемно и жарко. Солнце последних дней лета нагревало низкую кровлю, а двух крошечных окошек, хоть они и были открыты, едва хватало, чтобы проветрить комнатку. От земляного пола, обрызганного водой и только что старательно подметенного, исходил запах влажной глины. Треть комнатки была занята топчанами, застланными одеялами из козьей шерсти, а остальное пространство – сундуком для платья, двумя стульями и грубо сколоченным столом, за которым семья обедала.

Через открытые окна, до половины завешенные ситцевыми занавесками, доносился разговор матери Лилы с соседкой. Мать возбужденно жаловалась, что Шишко в самый разгар сезона опять остался без работы – его уволили со склада фирмы «Эгейское море» за ссору с мастером. Лила улыбнулась. Вчера она добилась, чтобы отца приняли на склад «Родоп». Когда директор местного филиала «Родоп» был в хорошем настроении, он не без сочувствия выслушивал своих работниц, особенно миловидных. Тронутый просьбой Лилы, он обещал принять ее отца на работу. У Лилы были основания побаиваться его доброты, но сейчас она об этом не думала.

Она открыла дверь и, выглянув в маленькую прихожую, выходившую во двор, звонко крикнула:

– Папа, иди сюда!

Шишко чинил во дворе плиты, которые он принес из города на спине. Когда его увольняли со складов, он принимался за ремесло жестянщика, используя старые материалы и инструменты своего шурина, который держал небольшую, но бойко работавшую мастерскую на главной улице. Шишко был человек необразованный, но его знали все коммунисты городка. Известность его вела свое начало еще с «тесняцких» времен,12 когда члены партии устраивали сборы на поляне за городом и удивляли горожан своей дисциплиной и успехами в гимнастике. В гимнастических упражнениях Шишко всегда был первым, так как в молодости обладал большой физической силой. Позднее партия сумела превратить его силу в духовное мужество, и он не раз проявлял его в борьбе с хозяевами. Коммунисты города высоко ценили его опытность в проведении стачек. Во время одной стачки он при столкновении с полицией потерял глаз.

Вспотевший от жары и работы, Шишко вошел в комнату. Темя у него было лысое, лицо красное и круглое. Мускулы на плечах и груди, которыми он когда-то поражал своих товарищей на собраниях «тесняков», чувствовались и теперь под ветхой, старательно заштопанной рубашкой.

– Папа, я ухожу, – сказала Лила.

– Куда? По делу? – озабоченно спросил Шишко.

На его лице мелькнуло выражение тревоги. Слово «дело» означало у них встречу с товарищем-подпольщиком или партийное задание.

– Нет. У меня встреча с Павлом Моревым.

Шишко перевел дух. Павел Морев был членом областного комитета, он жил в Софии – жил легально.

– Передай ему от меня привет и скажи, что ответственный в городском комитете за складские организации взял слишком уж высокий прицел. Надо немного дисциплинировать товарищей из «Эгейского моря». Понимают они тактику или нет? Все уже на подозрении у полиции, а из-за моего увольнения разбушевались и наломали дров. У меня, слава богу, пока руки есть – с голоду не помру…

И Шишко протянул дочери свои громадные грубые руки. Он тяжело дышал, так как страдал астмой, которая с возрастом все усиливалась.

– А что же нам делать, если не бушевать? – спросила Лила. – Покоряться, словно мы не люди, а овцы?

– Нет, так нельзя! – возразил Шишко. – Мы стали на анархистов смахивать. Мастер уволил со склада весь партийный актив и погубил все, что мы сделали до сих пор. А ты тоже напрасно пререкаешься с мастерами, когда надо и не надо.

– Мы знаем, когда надо! – самоуверенно проговорила Лила.

– Знаете, как бы не так! Ничего вы не знаете! – пробурчал Шишко. – Последнее время уж очень вы, молодые, важничаете…

– Учимся на ваших ошибках.

– Ишь какая! Так, значит? – Шишко нахмурился, но хорошее настроение у него не пропало. – Если тебя этому учит Павел Морев, ты ему скажи: и мы, старики, кое-что сделали. Массовую партию основали, стачечную борьбу развернули, восстания поднимали – разные такие мелочи за нами числятся…

– Павел Морев рассуждает так же, как ты, но это неправильно.

– Значит, ты и его стала учить уму-разуму?

Шишко устремил на дочь сердитый и в то же время довольный взгляд. Он был почти неграмотен, но партия научила его ценить образование. И не в пример Чакыру, который долго не уступал мольбам дочери не отдавать ее в школу домоводства, Шишко приложил все усилия к тому, чтобы облегчить обучение Лилы в гимназии. Однако Лила не смогла закончить курса: ее исключили из одиннадцатого класса за участие в марксистско-ленинском кружке.

Лила была высокая тоненькая девушка со свежим лицом, прямыми темно-русыми волосами и светло-голубыми глазами; острый взгляд этих глаз всегда будил в учителях неприязненное отношение к ней. Однажды на уроке латинского языка Сюртук за что-то рассердился на Лилу и назвал ее ведьмой. Однако эта ведьма была весьма недурна – с красивыми плечами, полной высокой грудью и стройными ногами. Местные донжуаны, которые собирались под вечер у кино и, щелкая семечки, разглядывали хорошеньких женщин, считали ее одной из самых интересных девушек в городе. Однако всегда добавляли, что она недоступна и зла, как оса.

Лила познала все темные стороны бедности: и ветхий домишко с глиняным полом, где прошли невеселые годы ее детства; и долгие зимние месяцы безработицы, когда ее отец с трудом добывал деньги на хлеб; и вечную задолженность за право учения в гимназии; и слабость от голода после пятого урока; и отсутствие пальто зимой; и рваные туфли в дождливую осень.

Она познала также всю напряженность партийной работы: и бесчисленные допросы в учительской насчет марксистско-ленинских кружков; и боязнь предательства, когда приходилось разбрасывать ночью листовки; и холодную дрожь на явках с товарищами-подпольщиками, и страх перед пытками, которые грозили ей в случае провала.

Она познала всю подлость того мира, против которого боролась и который ненавидела до глубины души; безуспешные попытки табачных фирм подкупить ее отца, наивный план одного полицейского сделать ее провокатором и своей любовницей, безмерную алчность хозяев и тупость и продажность их слуг.

Она познала еще многое другое. И все это делало ее красоту холодной и суровой.

– Ну, в добрый час! – сказал Шишко. – Мне надо работать.

Он спешил закончить починку двух плит к вечеру, чтобы отнести их в город и получить деньги.

– Подожди, папа! – быстро сказала Лила. – Я хочу сказать тебе кое-что.

– Ну, говори! – Шишко усмехнулся. – Тебе нужны деньги на подметки? Вот принесу нынче вечером.

– Нет, я не о деньгах!.. – Свежее, с редкими бледными веснушками лицо Лилы залилось румянцем, но глаза светились решимостью. – Я хотела сказать тебе о другом… Павел Морев и я… мы любим друг друга.

– Что? – прохрипел Шишко.

Лицо его болезненно сморщилось, брови сдвинулись – словно кто-то неожиданно ударил его.

– Да, мы любим друг друга, – спокойно продолжала Лила. – Я хотела, чтобы ты знал об этом.

Из груди Шишко невольно вырвался какой-то сдавленный звук: волнение усилило одышку. Новость поразила его и расстроила не меньше, чем огорчил бы нежданный провал на партийной работе. Он уже давно знал, что Лила и Павел вместе работают по организации легальных групп на складах, но и не подозревал, что их отношения могут принять такую форму. Партийная работа – не забава. К ней не надо примешивать никаких личных чувств. И вдруг его обуял гнев на Павла Морева. Он покраснел еще больше, губы задрожали. Ему захотелось схватить Лилу за шиворот, поколотить хорошенько, а потом отправиться к кому-нибудь из старших товарищей, членов городского комитета, и рассказать ему о поведении Павла Морева.

Лила стояла прямо, словно крепкое деревцо, которое не согнет и буря.

– Ты что? Уж не хочешь ли побить меня? – укоризненно спросила она. – За то, что я ничего не скрываю от тебя, да?

– Партию опозорила! – глухо выдохнул Шишко.

– Чем же я ее опозорила? Предала кого-нибудь или провал произошел по моей вине?

– Ты опозорила ее своим поведением.

– Будет тебе. Смешно! – вспылила девушка. – Мы не можем сейчас бросить партийную работу и пожениться. Или ты хочешь сказать, что мы нуждаемся в поповском благословении? Если ты так думаешь, пойди в церковь и покайся, что до сих пор не окрестил меня.

– Дело не в этом!

Шишко гневно ударил кулаком по столу.

– А в чем?

– Ты сама сказала, в чем. В наше время так не поступали.

– В наше время вы могли жениться, когда хотели. Тогда не было такой буржуазии, как теперь, не было закона о защите государства.13 А теперь нельзя и шагу ступить без того, чтобы за тобой следом не пошел сыщик.

– Когда так, занимайтесь одной партийной работой, и дело с концом.

Шишко с тяжелым вздохом присел на табурет и облокотился о стол. Он понял, что уже не имеет права вмешиваться в жизнь дочери, что девушка давно стала самостоятельной. В его памяти всплыли зимние утра, когда Лила уходила в гимназию без завтрака, вечера, когда она зачитывалась допоздна, каникулы, которые она проводила на табачных складах, так как нужда заставляла ее работать… Она не знала даже простых радостей других девушек из рабочей среды, любивших наряжаться на свои скромные заработки, ходить в кино или гулять вечерами по главной улице. Она жила как святая, но Шишко до сих пор не замечал этого, считая это нормальным и обязательным, будто Лила была старая дева. И тут он вдруг почувствовал себя виноватым в своей бедности, которая не давала ему возможностей хоть чем-то порадовать дочь. Он ощутил себя подавленным, беспомощным, не способным ни оправдать, ни осудить поведение Лилы. Не зная, как поступить, он поднялся, отер жесткой ладонью лоб и пошел к двери. По его увядшим щекам скатилось несколько слезинок.

– Папа, ты не тревожься! – крикнула Лила ему вслед.

А Шишко тяжело вздохнул, но ответил уже немного спокойнее:

– Я не тревожусь, дочка! Ты уже не только моя дочь, ты принадлежишь партии. И пусть она тебя направляет и судит.

Лила вышла из дому и по пыльным, накаленным солнцем уличкам рабочих кварталов направилась к сосновой роще; эта роща стояла на горе выше городского сада, и там они встречались с Павлом. Девушка была довольно своим разговором с отцом. «Старик» разволновался и обиделся, но проявил к ней полное доверие, а большего ей и не нужно было. Теперь личная жизнь отошла на задний план, и Лила снова вернулась к мыслям, которые занимали ее всегда. Перед нею встали беспокоившие ее нерешенные вопросы о курсе партии, о разногласиях между руководящими товарищами, о подготовке общегородской стачки рабочих табачной промышленности. От решения этих вопросов зависела ее повседневная деятельность среди рабочих. Во время встреч Павел говорил ей обо всем этом, но отрывочно и неполно, потому что сам не знал, как будут развиваться события. Рабочих угнетали все больше и больше, а руководство теряло время на теоретические споры и взаимные обвинения в сектантстве. Павел был членом областного комитета и боролся за отказ от устарелых методов действия. Лила не разделяла его взглядов из боязни перенести разногласия в массы. И, шагая в скудной тени низких домишек и каменных оград – в рабочем районе почти не было зелени, – она с грустью думала о том, как упрямы некоторые товарищи.

Путь Лилы к сосновой роще проходил через центр города. Она пересекла площадь и, уже дойдя до тротуара, увидела Ирину, которая в это время вышла из кондитерской «Спорт» и после невеселой встречи с Борисом возвращалась домой. Девушки когда-то были одноклассницами, но поздоровались холодно. Многое разделяло их. Два года назад Лила безуспешно пыталась заинтересовать Ирину работой марксистско-ленинских кружков. Дочь полицейского не выдала ее учителям, но решительно отказалась вступить в кружок – причиной тому, как думала Лила, было мещанское благополучие семьи и книжная сентиментальность. Сейчас Лила прошла мимо Ирины совершенно равнодушно, не заметив, что глаза у той покраснели от слез.

Встреча с Ириной напомнила Лиле о Борисе, которого Лила ненавидела еще с гимназии. Он был беден, но разделял реакционные взгляды своего отца, а теперь стал самым отвратительным из всех служащих на складе «Никотианы». Даже мастер Баташский и тот лучше обращался с рабочими, чем Борис. А что, если Павел поговорит с Борисом и попытается его вразумить – будет от этого польза? Нет, не имеет смысла. Братья разошлись уже давно, и навсегда. Они ненавидели и бранили друг друга, как враги. До чего несходны были характеры троих сыновей Сюртука! Павел – коммунист, Борис – реакционер! Ремсист14 Стефан в общем держался хорошо, но некоторые его черты не нравились Лиле. Он был вспыльчив и с большим самомнением; в зависимости от настроения впадал то в левый, то в правый уклон, стал нетерпим к чужим взглядам, особенно после того, как его исключили из гимназии и он возомнил себя героем. Но Лилу тоже исключили из гимназии, она даже входила в состав комсомольской ячейки, и, однако, она не претендовала на руководство Ремсом в городе. Заносчивость Стефана легко могла привести к провалу организации.

Неспокойные мысли Лилы вернулись к Ирине, но сразу же перескочили на Динко. С ним тоже не все было в порядке. Динко – идейно выдержанный ремсист, но он любил свою двоюродную сестру какой-то скрытной, упорной и подавленной любовью, которую Лила тщетно пыталась выбить у него из головы. Он кончил гимназию с отличием. Поскольку Динко еще не попал под подозрение полиции, один товарищ из городского комитета подал ему мысль поступить в школу подпоручиков запаса. Партии нужны были люди с военным образованием. Лила была довольна этим решением, но в глубине ее души по-прежнему тлела тревога за Динко. В его сознании был неприступный, темный и закрытый уголок, который никогда не поддавался ее влиянию.

Лила вздохнула, удрученная мыслью о том, что Борис Морев – негодяй и подлец, тогда как его братья – коммунисты. Ее угнетало и то, что Павел все глубже погружается в опасные идейные споры, что у Стефана много серьезных недостатков, что умный Динко так глупо влюблен в добрую, но пустую девчонку Ирину, которая в довершение всего не обращает на него никакого внимания. Как сложны и запутаны отношения между людьми! Но может быть, эти отношения нужно принимать такими, какие они есть, и действовать вопреки им.

В городском саду было еще тихо, почти безлюдно и жарко, хотя не так душно, как в городе. Со стороны сосновой рощи веял едва ощутимый прохладный и освежающий ветерок, и Лила с наслаждением вдыхала его всей грудью. Она целые дни проводила в отравленной атмосфере табачных складов и жаждала солнца и воздуха. Тишина и покой летнего дня, глубокая синева неба, благоухание сосен, яркие краски цветов на клумбах – все это пробуждало в ней радость жизни, но вместе с тем и тоску о чем-то, чего ей недоставало, несмотря на любовь Павла. Ей казалось, что они никогда не смогут насладиться полным отдыхом, беззаботностью юных влюбленных, которые по вечерам смеются, обнимаются и целуются в аллеях этого сада. Таков уж был закон борьбы. Он постоянно грозил Павлу и Лиле опасностью, держал их души в напряжении и тревоге, делал их непримиримыми и настороженными.

Тут и там на скамейках, в густой тени чинар и акаций, сидели, позевывая, бездельники и гимназисты, готовившиеся к осенним переэкзаменовкам. Когда Лила проходила мимо, гимназисты забывали о своих учебниках и потом долго не могли сосредоточиться.

Лила не обращала на них внимания, не возмущалась их попытками завести разговор. Но ее беспокоил сейчас человек в пестром галстуке и новых желтых туфлях – товарищи на складе предупредили ее, что это полицейский агент. Незнакомец был высокого роста, с опухшим лицом и неприятными светлыми глазами. Особенно противны были его руки. Обтянутые какой-то мертвенно-белой кожей, они показались Лиле огромными, костлявыми, хищными. Когда Лила прошла мимо его скамейки, он поднял голову от газеты, которую читал, и вперил в девушку неподвижный взгляд тоскливых и злых глаз. Но тут же опустил голову и снова уткнулся в газету. Лила почувствовала некоторое облегчение. Очевидно, этот агент недавно приехал в город и пока только знакомился с жителями и обстановкой. Она обернулась и быстро взглянула на него, чтобы проверить, не следит ли он за нею. Агент сидел к ней боком и продолжал читать. Лила вздохнула свободно, но совсем успокоилась только тогда, когда ступила на узкую тропинку сосновой рощи и стала думать о Павле.

Она любила его; будучи интеллигентной девушкой, вышедшей из угнетенного мира рабочих, она искала и жаждала любви человека образованного. Однако после долгого безмолвного поцелуя, в котором слились их губы, она первая спохватилась, что в жизни их обоих есть нечто более важное, чем любовь, и быстро сказала:

– Ну, теперь рассказывай.

Павел рассмеялся и заметил, все еще взволнованный:

– Ты сектантка даже в любви.

И снова стал ее целовать, потому что виделся с ней редко, только когда приезжал в город по партийным делам, и потому что в этот миг все в ней – и упругость ее груди, и теплая влага губ, и голубой огонь в глазах – пробуждало только любовь.

Он был выше ее ростом и немного походил на Бориса. Глаза у него были темные, волосы черные и прямые, кожа янтарного оттенка. Но в лице Павла не было той женственной утонченности, той замкнутой и застывшей холодности, которыми брат его очаровывал девушек. Оно было грубее, с более резкими чертами и орлиным носом, мужественное и твердое, как у древнего карфагенского воина. Умение держаться естественно спасло его от сектантской моды, которая заставляла коммунистов-интеллигентов ходить плохо одетыми и небритыми, даже если они имели возможность заботиться о своей внешности. Павел был в хорошем летнем костюме и чистой рубашке.

– Расскажи, что нового, – попросила девушка, когда наконец высвободилась из его объятий.

Они сели на полусгнившую скамейку, стоявшую в отдаленной и глухой аллее рощи. До этого места добирались лишь редкие влюбленные пары или безобидные чудаки. Сейчас здесь никого не было.

– Споры обостряются, – начал он, закуривая сигарету. – Лукан внес предложение исключить меня из областного комитета.

– И предложение приняли? – встревоженно спросила Лила.

– Конечно, нет. Провалилось при голосовании. Две недели назад у нас состоялась областная конференция на Витоше. Лукан был на ней уполномоченным от Центрального Комитета. Я наголову разбил его по всем пунктам и обвинил в полном отрыве от Коминтерна.

– Ты прямо ненавидишь этого человека!..

– Да, ненавижу.

– А мой отец с ним работал… Мне кажется, что он честный человек.

– Честный, но узколобый и упрямый до безумия… Говорю тебе все это потому, что рассчитываю на тебя и здешних товарищей. Если меня исключат из областного комитета, я вернусь к низовой работе и буду выполнять ее так, как учит меня моя совесть. Не могу я больше терпеть все эти глупости… Мы ничего не делаем, только играем в левизну и революционную романтику.

– Ты так и говорил на конференции?

– Да.

Лила задумчиво усмехнулась.

– Почему это тебя интересует? – спросил он.

– Потому что на пленуме Лукан сполна рассчитается с тобой за подобные речи.

– Трудно ему это будет! – В голосе Павла звучали гнев и ожесточение. – Центральный Комитет может повиснуть в воздухе, если некому будет выполнять его решения. Перемена курса начнется снизу, если Заграничному бюро15 и Коминтерну не удастся заставить изменить его сверху.

– Смотрите только не подорвите веры рабочих в партию… Лучше единое руководство с ошибочным курсом, чем бездействующие комитеты спорящих теоретиков.

– Единого руководства с ошибочным курсом не может быть! – горячо возразил Павел. – В этом сила нашей партии! Сектантский курс ведет ее в тупик, к полному отрыву от рабочих масс. А раз это так, руководство перестает быть единым и внутри него начинается борьба.

– Но теперь она грозит большой опасностью. Вы спорите, обвиняете друг друга, вас снимают с руководящих постов, исключают как фракционеров, и в конце концов вы бездействуете. А с положением на местах справляться все труднее. Рабочие могут стихийно начать неподготовленные выступления. Это будет такой удар по партии, хуже которого и представить себе нельзя. Что делать и кого слушать нам, низовым партийным работникам? Что делать мне?

– Борьба мнений в руководстве неизбежна, а дисциплина для партийных работников обязательна. Сейчас важно то, каким образом ваш городской комитет будет выполнять директиву Центрального Комитета о всеобщей стачке табачников в стране. Твоя задача – агитировать рабочих, внушать им, что надо проявлять выдержку, пока городской комитет не определит своей позиции по этому вопросу.

– Тебе хорошо говорить, но, пока вы там выясните положение, терпение у рабочих лопнет. Хозяева и их служащие издеваются над нами. Мастер «Эгейского моря» вчера запретил рабочим выходить из помещения в рабочее время даже в уборную. Мой отец возмутился и стал протестовать – ну, его и уволили. На складе начались беспорядки, и кончились они тем, что мастера поколотили и явилась полиция. Теперь весь партийный актив «Эгейского моря» уволен… Но ты всего этого не знаешь! Ты не знаешь, что десять дней назад полиция замяла скандал в доме терпимости, куда хотели заманить наших работниц.

Лила покраснела, она говорила громко, в глазах ее мелькали гневные голубые искры. Павел смотрел на нее восхищенно и улыбался.

– Почему ты смеешься? – с возмущением спросила она.

– Потому что ты мне нравишься, – ответил он.

– Терпеть не могу, когда ты шутишь, не зная, что ответить.

– Иногда шутка – единственный способ утешиться в безвыходном положении.

– Ты лучше ищи выход, а не шути. Мы уж до крайности дошли.

– А я ищу выход и нахожу его в разумных действиях, которые не уронят престижа партии. Через несколько дней вы получите директивы насчет подготовки к стачке.

– По какому же «курсу»? – с насмешкой спросила Лила. – По твоему или по лукановскому?

– По лукановскому, не иначе! – снова вспыхнул Павел. – Но это совершенно бессмысленный, лишенный гибкости курс. Подготовка без учета наличных сил, без союзников, без широкой платформы, которая объединила бы всех рабочих… Подготовка, которая выльется в удар по воздуху, поведет к провалу и разгрому партийных кадров…

– Ты меня не агитируй! Я это от тебя тысячу раз слышала. Ты хочешь, чтобы мы действовали, как социал-демократы, миролюбиво и осторожно, а это ни к чему не приведет.

– Глупости говоришь! – вскричал Павел, гневно стукнув кулаком по колену.

– Не кричи! – засмеялась Лила. – Мы ведем партийный разговор.

– Для глухих и крика мало.

– Ты лучше скажи конкретно, что ты будешь делать.

– Мне и группе товарищей из областного комитета Заграничное бюро поручило подготовку стачки в нашем городе испытанным большевистским путем… Это будет опыт, который вы потом сопоставите с результатами стачек в других табачных центрах.

– Значит, стачки с двумя различными платформами: лукановской и вашей? Интересное понимание единства тактики! И это ты называешь разумным планом?

– Перестань шутить и злить меня! – с сердцем сказал Павел. – Мы подготовим стачку на основе моей платформы, и городской комитет единодушно примет соответствующее решение… Я же сказал тебе, что рассчитываю на здешних товарищей.

Лила посмотрела на него испытующе.

– Ты рассчитываешь – это одно, но действительно ли за тобой пойдут – это совсем другое дело, – сказала она.

– Я знаю, что люди думают. Рассчитываю и на тебя.

– На меня? – удивленно спросила она.

– Да, на тебя. И может быть, больше, чем на других, потому что ты находишься в непосредственном контакте с рабочими.

– А почему ты рассчитываешь на меня?

– Потому, что ты меня любишь и это поможет тебе меня понять.

– Я могу тебя любить, а думать по-другому, – сказала Лила. – Разве я не имею на это права?

Сказав это, она поняла, что ее слова, хоть и произнесенные шутливым тоном, были резки и попали в самое уязвимое место их отношений с Павлом.

– А что именно ты думаешь? – сухо спросил он.

Лила с горечью почувствовала в его голосе внезапную холодность, заглушившую прежнюю сердечность.

– Я думаю, что твое поведение антипартийно, – тепло, но серьезно и медленно начала она, положив руку ему на плечо. – Антипартийно не по существу, но применительно к сегодняшней обстановке. Оно противоречит генеральной линии партии в тактике – ведь мы до сих пор совершенно иначе подготавливали и проводили стачечную борьбу. Заграничное бюро может думать, что хочет. Оно не знает местных условий. Его директивы путают активистов и заставляют их колебаться, убивают веру рабочих в высшее руководство партии…

– Эта вера подрывается уже давно, но не Заграничным бюро, а Луканом, а ты этого не видишь, – грубо прервал ее Павел. – Ты еще незрелый, несформировавшийся человек, ты ослеплена борьбой в том узком секторе, в котором ты работаешь. Ты не понимаешь тех отношений, которые имеют существенное значение, и теряешь из виду другие секторы. А борьба сложна, связана с тысячами всевозможных проблем. Ее нельзя вести, пользуясь простенькими схемами и мелкими лозунгами, которыми Лукан забивает ваши бедные головы.

– Значит, я, по-твоему, темная? – с усмешкой спросила Лила.

– Нет, то-то и плохо, что ты совсем не темная! – В голосе Павла все больше звучала враждебность. – То-то и плохо, что ты одарена качествами отличного партийного активиста! То-то и плохо, что ты во имя дисциплины и высокого долга партийца сбиваешь с пути десятки, сотни товарищей, которые не смогут вовремя избавиться от сектантских глупостей! А хуже всего то, что ты в глубине души считаешь мою точку зрения правильной, но какое-то странное недоверие мешает тебе согласиться с ней.

– Недоверие? – повторила она, как слабое, глухое эхо. – Какое недоверие?

– Недоверие к любому интеллигенту, которое Лукан непрерывно насаждает среди рабочих. То, которое ты сейчас выразила мне! Мое поведение антипартийно… я оппортунист, фракционер… что еще? Будь спокойна! Я не считаю тебя темной! Я не собираюсь использовать тебя для осуществления своих вредительских планов. Держись от меня подальше!..

– Ты хочешь отнять у меня право думать самостоятельно, – с болью возразила Лила.

– Ах так? С каких пор ты начала самостоятельно решать вопросы, над которыми мы уже десять лет ломаем головы? Я не отнимаю у тебя этого права! Думай, что хочешь. Я не прошу твоей помощи.

Он замолчал и опустил голову. Сонную тишину рощи нарушали только дятлы, стучавшие по сосновой коре. Воздух был насыщен густым ароматом смолы. Где-то вдали монотонно и грустно стрекотали кузнечики. Между ветвями сосен проглядывала яркая синева неба, но она уже не радовала Лилу. Охваченное нежданной печалью, сердце ее застыло; что-то начало рушиться в ее отношениях с Павлом – и так легко, что это поразило ее.

– Подумай хорошенько, нужно ли так держаться со мной, – сказала она. – Именно со мной! Я думала, ты меня за то и любишь, что я ставлю партию выше всего, что трудные вопросы я решаю своим разумом.

– Ну и продолжай в том же духе. Никто тебе не мешает.

В его голосе прозвучала такая холодность, что Лила вздрогнула. Павел сидел сгорбившись, опершись локтями о колени, и, посасывая сигарету, смотрел в землю. В его длинных ногах, широких плечах, в смуглом лице и черных блестящих волосах была какая-то древняя, как жизнь, сила, которая заставила Лилу взять его под руку и тихо сказать:

– Давай хоть пройдемся.

Он ответил холодно и коротко:

– Нет.

Лила отдернула руку, выпрямилась и спокойно сказала, как будто ничего особенного не случилось:

– Тогда я уйду пораньше. Когда мы увидимся?

Он ответил рассеянно:

– Не знаю.

Лила медленно поправила волосы. В светло-голубых глазах ее была горькая усмешка. Прежде чем уйти, она спросила равнодушным деловым тоном:

– На складе «Никотианы» среди рабочих подвизается некий Макс Эшкенази… Ты его знаешь?

– Да.

– Что он за человек?

– Очень умный и честный товарищ.

Лила постояла еще несколько секунд. Брови ее сдвинулись.

– Мне он не очень нравится! – сказала она вдруг.

А Павел хлестнул ее словами:

– Возможно. Он не нравится и Лукану.

Борис закончил в околийском финансовом управлении дело, из-за которого уходил с работы, и, расставшись с Ириной, направился в нижнюю часть города – в район табачных складов. Жара спала. Он миновал торговые ряды с их постоялыми дворами, корчмами, кузницами, шорными и слесарными мастерскими, перед которыми каждую субботу крестьяне и продавцы-евреи торговались до хрипоты. С постоялых дворов несло зловонием слежавшегося навоза, а корчмы обдавали прохожих запахом прокисшего вина и ракии. Перед слесарными мастерскими среди лопат, заступов, ящиков с гвоздями и мешков с купоросом сидели пожилые седобородые евреи в грязных ермолках. Они перебирали зерна четок в каком-то особенном, непонятном для других экстазе самоуглубления, в то время как их сыновья, бледные и рахитичные, прислуживали в лавках. Звонок в кино возле синагоги настойчиво трещал, обещая зрителям волнующую серию подвигов Буффало Биля. Борис содрогнулся. Всего лишь год назад ему предлагали место кассира в этом кино, а теперь его приглашают в управление «Восточных Табаков». Прошел год, и за этот год Борис не остался на месте; напротив, табачный мираж засиял теперь для него еще ярче.

Он прошел торговые ряды и свернул к реке по узким уличкам беднейшей части города. Тут почти не было зелени. Ветхие одноэтажные домишки, побеленные известью, жались один к другому, словно стыдясь своего вида. В тесных дворах, пересеченных зловонными сточными канавами, мелькали удрученные заботами женщины, готовые истерично поругаться с кем угодно по самому пустяковому поводу. Никто не учил этих женщин хорошим манерам, а бесконечные лишения расстроили им нервы. На улице играли дети. Малыши валялись в пыли в одних рубашонках, ребята постарше, но еще не достигшие того возраста, когда здоровье детей уже губят на табачных складах, играли в бабки, ожесточенно ссорясь. Никто во говорил этим детям, что такое человеческое достоинство, и озлобление овладевало их душами с самых юных лет.

Наконец Борис миновал этот неприглядный район и подошел к складам. Это были огромные, многоэтажные строения, которые стоили миллионы. В современном стиле их голых фасадов с маленькими квадратными оконцами было что-то холодное и бездушное, как и тот мир, который их воздвиг. Склад «Никотианы» издали походил на допотопное чудовище: казалось, он хочет подавить соседей своей громадой. На его стене у железных двустворчатых ворот, которые вели во двор, висела вывеска. Золотыми буквами светились слова:

**НИКОТИАНА** **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ЭКСПОРТУ ТАБАКА**

Ниже шли названия банков, компаний и предприятий, которые участвовали в этой могущественной капиталистической банде. Борис небрежно поздоровался со стоящим у входа сторожем-македонцем и вошел в длинный, но не очень широкий двор. Мимо него проходили рабочие, направлявшиеся в цеха, ехали грузовики, увозившие табак, обработанный и прошедший ферментацию. Когда-то сюда приходили караваны верблюдов, принадлежавшие греческим купцам, и увозили товар на юг, к пристаням Эгейского моря. Но эти караваны, от которых веяло романтикой минувших веков, давно уже здесь не показывались: их заменили грузовики «Никотианы». Спиридонов гордился тем, что первым из табачных магнатов завязал непосредственные связи с заграницей и освободил болгарский табак от опеки греческих торговцев. Однако ни производители табака, ни рабочие не стали от этого счастливей.

Длинная высокая стена отделяла двор от сада, в котором росли фруктовые деревья и цвели цветы. За садом простиралась лужайка, огороженная колючей проволокой, и тянулась аллея из молодых тополей, за которыми заботливо ухаживали. Рабочим запрещали входить в сад, в нем гуляли только директор и административный персонал «Никотианы». Между садом и лужайкой стояло двухэтажное здание в стиле рококо – прежнее жилище Спиридоновых, ключ от которого хранился у кассира. В этом доме, меблированном в старомодном и расточительном вкусе, отдыхали хозяева фирмы или главный эксперт со своими гостями, когда они приезжали в город, чтобы осмотреть партию товара, или возвращались после ловли форели в горах.

Борис прошел в глубину двора и, поднявшись по гранитным ступенькам, открыл небольшую дверь в контору, расположенную против входа в сад. В длинном полутемном коридоре, который вел в другие отделения склада, был слышен гул, доносившийся из цехов, и шум вентиляторов; сильно пахло табаком. Кабинет директора был открыт и пуст; отставной генерал, служивший теперь по торговой части, еще не приходил, а кассир и бухгалтер, пользуясь его отсутствием, забрались в комнату машинистки и состязались в остроумии. Машинистка неумело курила и отвечала на шутки резким, неприятным смехом. Появление Бориса прервало болтовню, все замолчали. Его не любили ни машинистка, ни кассир, ни бухгалтер. Девушку раздражало его равнодушие к ее прелестям, а мужчин – его деятельность. Наступило враждебное молчание, которое прервал кассир, выпустив свою обычную стрелу.

– Ну, как вы себя чувствуете, господин эксперт? – язвительно спросил он.

Кассир – неприятный краснощекий субъект с дерзкими, хитрыми глазками – был племянником генерала и считался человеком с большим будущим в табачной торговле. Кое-как усвоив техническую сторону дела, он уже давно подумывал о том, чтобы отстранить мастера от закупок и самому заняться ими или хотя бы стать соучастником его воровства. Он был уверен в себе и во влиянии своего дяди на Спиридонова, однако усердие Бориса его раздражало.

– Мне действительно предлагают стать экспертом, – ответил Борис, – а ты на всю жизнь останешься конторским подхалимом.

Он надел свой рабочий халат из плотной коричневой ткани и спокойно вышел из комнаты.

– Здорово он тебя срезал! – восхищенно сказала машинистка, когда дверь за Борисом закрылась.

Кассир закурил сигарету, но от злости выронил спичку и чуть не прожег свой новый костюм.

– Маньяк!.. – буркнул он, покраснев. – Вылитый отец… Сегодня же вечером скажу директору, чтобы он его уволил.

Борис вышел из комнаты машинистки и усмехнулся, вспомнив о перебранке, потом направился по темному коридору в цех, где обрабатывали табак. Он в тысячный раз почувствовал, что все его ненавидят: и директор, и служащие, и мастера, и рабочие, – ненавидят, но не решаются вставать у него на пути. Люди чувствовали его превосходство – превосходство человека способного и безжалостного. Все его предсказания оправдывались, все его предложения оказывались удачными, все его слова попадали в точку. Директор сначала отвергал его идеи, а потом проводил их в жизнь, приписывая заслугу себе. Мастера ругали его, но втихомолку старались работать лучше. Рабочие ненавидели, но слушались. Казалось, он был рожден, чтобы преуспеть в мире табака. Правда, у него не было ни тепла, ни сердечности обыкновенных людей, но мир табака в этом не нуждался. Суровый закон прибыли искал и возвышал именно таких людей.

Наконец-то он выплыл на поверхность – избавился от тяжкой работы на складе, от дурманящего запаха, от ядовитой и коварной пыли, которая разъедает легкие и ведет к малокровию. Он овладел техникой обработки табака. Уже теперь он мог бы завести собственное дело. Но зачем ему становиться мелким торгашом, продавать маленькие партии товара крупным хищникам, наживая по два-три лева на килограмме, если спустя несколько лет, приложив еще немного труда и терпения, он сможет загребать в десять раз больше? Путь к узкому, но всемогущему кругу олигархов, имеющему международные связи, проходил через «Никотиану».

Он вошел в один из цехов, где производилась обработка табака, и ему сразу же показалось, что кто-то набил ему уши ватой – так глухо и утомительно гудели вентиляторы, никогда не успевающие хорошо очистить воздух. Помещение было, как всегда, полно желтоватой табачной пыли, которая висела над рабочими облаком удушливого газа. Было что-то отвратительное и жестокое в этой раздражающей, ядовитой, мелкой, как капли тумана, пыли, которая лезла в глаза, нос, рот, горло и легкие, в волосы и в каждую складку одежды, так что избавиться от нее было невозможно, даже выйдя из склада. Запах у нее был какой-то особенный, смолистый, похожий на запах опиума; он сначала казался приятным и действовал как благовоние, но вскоре пресыщал и становился приторным и противным. В помещении стоял и другой запах, такой же противный, но не такой вредный, – запах человеческих испарений, исходивший в этот душный летний день от изможденных, худых тел, прикованных к рабочим столам и обливавшихся потом. Тут работали беременные женщины, обрекая свой плод на нездоровую жизнь уже в материнской утробе, хмурые мужчины, которые думали о зимней безработице, печальные девушки с поблекшими лицами, юноши без будущего – озабоченные и невеселые люди всех возрастов, которые нашли выход из нищеты в продаже своего здоровья на складе «Никотианы». И вся эта масса измученных людей, которые, по мнению некоторых, продавали свой труд свободно, сейчас лихорадочно работала, злобно ворчала, надсадно кашляла, глотала туберкулезную мокроту и вытирала пот грязными сырыми платками, пропитанными табачной пылью. Пожелтевшие худые пальцы быстро сортировали ядовитые листья, складывали их в кипы, увязывали в тюки. Одеревеневшие от долгого сидения колени просили движения. Забитые пылью груди томились по чистому воздуху. Уставшие лица и воспаленные глаза ждали звонка, который наконец прекратит бесконечный рабочий день.

В то время по крайней мере вопрос о том, как обрабатывать табак, еще не вызывал споров между рабочими и хозяевами. Табак обрабатывался «широким пасталом»,16 что позволяло начинать обработку с ранней весны и, таким образом, сокращало тяжелый период безработицы. Тюки табачных листьев, привезенные из деревни, развязывались так называемыми «актармаджиями» – сортировщиками, которые раскладывали листья на отдельные кучки в соответствии с их качеством. Эти кучки перекладывали на дощечки и относили на «базар»17 к мастеру или его помощнику. Мастер – потому-то он и назывался мастером – подбирал кучки одинакового качества, образуя из них большие однородные партии, и одновременно проверял работу актармаджий, потом распределял партии по рабочим столам – «тезгяхам». За каждым столом работало по одной «чистачке» – сортировщице и по три «пасталджийки» – укладчицы, причем одну укладчицу называли «левой», другую – «правой», третью – «капакчайкой». Сортировщица сортировала листья, присланные с «базара», и раскладывала их на четыре кучки: «левую», «правую», «правый капак» и «левый капак».18 Укладчицы брали листья, распределенные сортировщицей, и укладывали их стопками, которые носили название: «левая кипа», «правая кипа», «левый капак» и «правый капак». Кипы относили к «денкчие» – тюковщику, который сортировал их еще раз, отбирая и укладывая на надлежащее место неправильно уложенные листья. После этого тюковщик начинал «строить» тюк в особом ящике, стенки которого изнутри были обтянуты полотном, укладывая кипы в ряды – «сары», причем «правые» кипы и «правые» капаки он клал направо, а «левые» – налево. Верх и низ тюка состояли из сплошного ряда капаков. Приготовленный таким образом тюк относили в ферментационный цех.

Эта простая на первый взгляд работа была далеко не такой механической, как казалось. Сортировка листьев, определение их качества по неуловимым для неосведомленного наблюдателя признакам, которыми они отличались друг от друга, требовали большого напряжения, и оно оплачивалось очень щедро – по мнению фирм, которые при помощи небольших прибавок к поденной плате обходили закон, запрещавший сдельную работу, чтобы повысить в конечном счете свои прибыли. В то время как табачная пыль разрушала здоровье рабочих, они стремились выработать побольше, чтобы прибавить лишний лев к поденной плате, и это истощало их нервы. То и дело вспыхивали на «базаре» ссоры между актармаджиями и помощниками мастера, между сортировщицами и мастером, между укладчицами и тюковщиком, так как все ошибки и все успехи рабочих отмечались на карточках, которые Борис завел для каждого человека на складе. В борьбе за хлеб мужчины делались грубыми, а женщины – сварливыми. Они нервно переругивались, их голоса звучали озлобленно и раздраженно. В конце концов все обрушивалось на укладчиц – работниц самой низкой категории, не смевших роптать. Мастер то и дело грозил их уволить, если они будут ломать листья дорогостоящего сорта «каба кулак». Работницы плакали и принимались более внимательно перебирать листья пожелтевшими сухими пальцами, но тогда работа шла медленнее и мир нарушали протесты тюковщиков, старавшихся прибавить к своему дневному заработку премию за лишний тюк.

Однако эта масса переутомленных, издерганных и забитых людей, казалось бы совершенно разобщенных, на самом деле была на редкость единодушной. Единодушие ее проявлялось тогда, когда мастер перебарщивал в грубости или кому-нибудь из рабочих делалось дурно от ядовитых испарений табака. Если мастер неблагоразумно оскорблял непристойной бранью какую-нибудь работницу, летальные вскакивали с мест и бросались к нему, как разъяренные тигрицы. Они терпеливо сносили личные обиды от людей своего класса, но не желали терпеть, когда их оскорбляли хозяева и их прислужники. Если кому-нибудь становилось плохо от духоты, все с гневными и угрожающими криками требовали, чтобы открыли окна, не заботясь о том, что излишняя влага или сухость воздуха могут испортить табак. Еще ярче проявлялась солидарность этих людей в дни стачек или в голодные месяцы зимней безработицы. Тогда сквозь их грубость, ожесточение и сварливость пробивалось теплое сочувствие и они помогали друг другу. Но ни хозяева, ни их прислужники и не подозревали об этом.

Когда Борис вошел в цех, перебранка и разговоры вполголоса стихли. Помощник мастера, который сидел на «базаре» и до тех пор только время от времени поругивал кого-нибудь, принял вдруг необычайно деловитый вид и негодующе раскричался на рабочих. Эти сукины дети ленятся работать. Даром едят хлеб фирмы и доведут хозяев до сумы… Помощник был маленький сорокалетний человек, безусый и безбородый, с густыми волосами и писклявым голосом евнуха. Рабочие не обращали на него внимания. Они понимали, как понимал и Борис, что это была одна из подлых неврастеничных выходок мастера, который подлизывался то к одной, то к другой из враждующих сторон. В присутствии рабочих он порицал хозяев, а перед хозяевами и их служащими ругал рабочих. В душе его вечно жила тревога: он боялся гнева хозяев, стачек рабочих, интриг, увольнения и безработицы. Он хорошо знал дело, но, дрожа за свою шкуру, постоянно подслушивал разговоры и «под секретом» рассказывал директору о своих подозрениях. Холодную самоуверенность Бориса он толковал по-своему: Борис – шпион, поставленный хозяевами, чтобы следить, кто как работает. И сейчас это побудило его удвоить усердие: он вылил на рабочих поток сквернейших ругательств. Но и тогда никто не огрызнулся, все плотнее уселись на дощатые скамьи и соломенные подушки и стали еще усерднее укладывать листья в кипы. Наступила тишина. Слышалось только гудение вентиляторов и шаги актармаджий, которые носили на «базар» дощечки со стопками табачных листьев. Присутствие Бориса сковывало всех. Этот проклятый молокосос видел малейшие упущения, вписывал их в свою записную книжку, докладывал обо всем директору и, наконец, увольнял каждого, кто работал медленно или рассеянно. Его язык жалил, как оса, и никто не смел ему возражать.

Борис обходил цех, внимательно вглядываясь в стопки красноватых табачных листьев. Около тюковщиков он остановился. Среди них был новый рабочий, которого он еще не видел, и это его удивило. Новичок был лет тридцати – сорока, с рыжими волосами и слегка одутловатым лицом, усыпанным веснушками. Работал он молча и ловко.

– Как звать? – спросил Борис.

Рабочий закончил укладку последнего ряда и медленно поднял голову. Серые глаза его с досадой встретили острый взгляд Бориса.

– Меня спрашиваешь? – отозвался он, словно желая выиграть время для ответа.

– Тебя, кого же еще!

– Макс Эшкенази, – ответил рабочий.

– Откуда приехал?

– Из Софии.

– В какой фирме работал там?

– В «Джебеле».

Руки у рабочего были огрубевшие, мозолистые, но взгляд выдавал человека образованного. Вот уже месяц, как разведка табачных фирм доносила, что в среду рабочих втерлись коммунистические агитаторы. Озлобленный, бесплодный и неорганизованный ропот на низкую поденную плату уступил место подозрительному молчанию, а это был верный признак того, что рабочие готовятся к стачке.

– Зачем ты приехал сюда? – спросил Борис.

Лицо тюковщика приняло глупое и добродушное выражение – казалось, этот вопрос польстил ему.

– Обручился я тут, – улыбаясь, объяснил он. – Понравилась одна здешняя девушка.

– А кто тебя рекомендовал на наш склад?

– Господин Костов, главный эксперт.

«Хорошо себя застраховал!» – с насмешкой подумал Борис. Потом достал записную книжку, записал в нее имя «Макс Эшкенази» и поставил против него крестик, что означало «подозрительный». Серые глаза рабочего враждебно и хмуро уставились на записную книжку.

– Продолжай, – сказал Борис.

Он прошел в соседний цех, где за одним столом собрались, словно на конференцию, почти все исключенные из гимназии руководители марксистско-ленинских кружков. Директор склада, воображавший, что слова «царь» и «отечество» могут растрогать даже карманников из уголовного отделения тюрьмы, сделал одну из величайших своих глупостей, согласившись принять на работу этих мальчишек. Когда рассматривалось дело исключенных, они дали сомнительное обещание стать «хорошими гражданами», а у генерала это вызвало такой приступ патриотического великодушия, что он на другой же день принял их в «Никотиану». Так этим оболтусам удалось избежать тюрьмы, а теперь они снова сеяли коммунистическую заразу. Все это должно было дорого обойтись фирме. Но особенно бесило Бориса то, что в среду этих типов затесался и Стефан, его младший брат. Какой козырь в руках директора, служащих, главного мастера – всего этого сборища бездарностей и жуликов, которые мешают успеху Бориса в «Никотиане»! Иметь брата-коммуниста – это семейный позор, мерзкое, несмываемое пятно, которое отнимало всякую надежду на успех.

Братья – старший и младший – мрачно уставились друг на друга. Стефану исполнилось семнадцать лет, и он считался самым красивым из трех сыновей Сюртука. Это был высокий худощавый черноволосый юноша с правильными чертами лица и матовой кожей. Против него сидела скуластая девушка со вздернутым носом. Ее острые зеленоватые глаза смотрели насмешливо. Эта девушка, дочь железнодорожника, тоже была исключена из гимназии. Прочие молодые парни и девушки смотрели не менее дерзко, хоть и были еще моложе Стефана.

Как только Борис поравнялся с их столом, они сразу умолкли и сосредоточились на работе. Но в их усердии таилось что-то вызывающее и двусмысленное. Держались они прямо, лица у них были насмешливые и самоуверенные, движения резкие, и все это, казалось, оскорбляло драгоценный товар, который они сортировали. Когда надо было принести листья с «базара» или передать кипы тюковщику, молодые рабочие проделывали это, подняв голову и с небрежной усмешкой, как будто хотели сказать: «Мы не собираемся делать карьеру на этой работе».

«Мальчишки!» – со злостью подумал Борис. И тут же в голову ему пришел ряд полицейских мер против них, которые он потребует от государства, если станет табачным магнатом. В угрюмом бессилии, в жалкой своей бедности он обдумывал даже это.

– Сортировщик!.. – крикнула вдруг дочка железнодорожника. – Вы кладете направо поломанные листья.

Она подняла изломанный лист и показала его Стефану, который работал сортировщиком. Ее голос и обращение на «вы» прозвучали деланно, с явной целью вызвать смех. Несколько человек засмеялись. Стефан схватил изломанный лист и бросил его в кучу «левых капаков».

– Будьте посознательней!.. – назидательно проговорила девушка, а затем вдруг изменила голос и крикнула пискливо, как помощник мастера: – Вы даром едите хлеб фирмы!

– Сукины дети! – добавил кто-то резким фальцетом.

Молодые люди захохотали, и хохот раскатился по всему цеху. Лицо Бориса исказилось.

– Замолчите! – крикнул он в ярости. – Мальчишки!

– А мастер, он воспитанный господин, по-вашему? – спросила девушка.

– Это вы вынуждаете его грубить! – громко сказал Борис – У вас нет ни капли совести.

Наступило молчание, которое вдруг нарушил голос Стефана.

– Слушай, ты, – обратился он к брату. – Не будь слишком уж совестливым!.. А то можно подумать, что ты главный акционер фирмы.

Борис бросился было к нему – казалось, он хочет ударить брата, – но вдруг остановился. Стефан сидел по другую сторону стола и был неуязвим. Братья смотрели друг на друга злобно, вызывающе, готовые схватиться в любую минуту.

– Хулиган!.. – прошипел Борис – Не забывай, что на тебя заведено дело в полиции.

– Это я всегда помню.

– Ага, опять начинаешь?…

– Ступай доноси!

Задыхаясь от гнева, Борис направился в истифчийское отделение, чтобы избежать скандала.

«Истифом» называли подготовку табака к ферментации, и она имела не меньшее значение, чем сортировка. Тюки табака ставили на ферментацию в различных положениях: горизонтальном, вертикальном или набок, чтобы они приобрели и сохранили свой «таф», то есть нормальное количество влаги. Влажные тюки размещали на верхних этажах, сухие – на нижних или в подвале. Если ферментация совершалась неправильно, табак плесневел или пересыхал. Тогда партия товара считалась «упущенной», снижались и качество ее и вес. Иногда «упущенные» партии обесценивались полностью. Если табак начинал бродить быстро, он сырел и согревался. Тогда устраивали «тарак» – то есть ослабляли пеньковые веревки, которыми перевязан тюк, или же рассыпали весь тюк кипами и клали листья на круглые доски – «текерлыки» – для просушки. Остальные тюки подвергались «алабуре» – перемещению; это значит, что тюки, находившиеся внизу, перемещали наверх и наоборот – опять же в соответствии с количеством содержащейся в них влаги. Всеми этими операциями, своевременность которых могли определить лишь опытные работники, ведали так называемые истифчии – ферментаторы и их глава истифчибашия – мастер-ферментатор. В ферментационных помещениях было меньше пыли, но зато запах табака здесь был еще более острым и дурманящим. Вентиляторы здесь вообще не допускались, так как поступающий из них воздух мог изменить таф. Даже оконца тут – маленькие, квадратные, закрытые ставнями и плотными занавесками – открывались только в определенные часы дня. В этих громадных, скудно освещенных электричеством помещениях брожению подвергались сотни тысяч килограммов табака. От тюков исходила целая гамма запахов, в которой обоняние опытного человека могло отличить диссонансы плесени и затхлости от гармонического благоухания смолистых веществ и эфирных масел. Только никотин не издавал никакого запаха. Его невидимый яд действовал главным образом в сортировочных цехах, и ферментаторы, таким образом, подвергались меньшей опасности. Но была трагедия и в их ремесле. Вначале каждому ферментатору доверяли триста – четыреста тюков. Однако с развитием процесса ферментации заботиться о тюках стали меньше, и их количество постепенно увеличивали, доводя его до двух тысяч, чтобы не повышать излишними расходами «кайме» – среднюю цену обработанного табака. Тогда мастер-ферментатор уменьшал количество своих подчиненных, увольняя рабочих и оставляя только тех, которые с наибольшим усердием жертвовали своим здоровьем для прибылей фирмы.

Борис обошел все этажи, вынул записную книжку и вычеркнул фамилии четырех человек, которых мастер-ферментатор собирался уволить в этот день. Спиридонов не должен видеть на складе лишних рабочих.

**III**

– Сколько сейчас? – спросила Зара.

– Посмотри на спидометр, – басом ответил мужчина, сидевший за рулем. – Девяносто километров… Пустяки.

– Чудесно!.. Дайте сто.

– Папа, не делай глупостей, – неожиданно вмешалась Мария.

Свист ветра унес ее слова, но Спиридонов уловил сердитый тон дочери и уменьшил скорость. Стрелка циферблата запрыгала на пятидесяти километрах – смехотворная скорость для автомобиля на прямом, хорошем шоссе.

– Мария, ты боишься? – разочарованно проговорила Зара.

Голос у нее был бархатный и звучный, красивого тембра. По сравнению с ним голос Марии казался резким и сухим.

Зара оглянулась с улыбкой. Ее смуглое лицо вызывало в памяти образы одалисок. Красивое и порочное, оно было таким же ярким, как иллюстрации в «Lady's Home journal»,19 который был ее единственным чтением. Голубой шарф тюрбаном обвивал ее голову, оттеняя эту яркость и подчеркивая безупречную элегантность костюма. Казалось, что на отвороте ее жакета должен быть значок американского колледжа в Стамбуле, однако дочь бывшего депутата не опускалась до подобной безвкусицы. Хоть она и окончила знаменитый колледж, но об этом должны были свидетельствовать только ее собственные совершенства. В словах Зары звучали и кокетливый упрек Марии за ее холодную наблюдательность, и намек Спиридонову на то, что игра продолжается.

Эту игру она начала давно, после долгих колебаний: все медлила в надежде, что произойдет какое-то событие и домешает ей, но два дня назад она дошла до решающей фазы, согласившись на эту поездку. «Дело идет на лад», – додумала она с горьким удовлетворением, а потом почувствовала, что невозможно, недопустимо, чтобы оно не пошло на лад. С возрастом Спиридонова она могла примириться: хотя ему было уже под шестьдесят, держался он прямо, здоровье у него было крепкое, а его крупное лицо с орлиным носом и хищными глазами было красиво какой-то пиратской красотой. Но он был отцом Марии, и это ее смущало. Проклятое положение!..

Зара тревожно задумалась о денежных делах своей семьи и вдруг до конца поняла, что другого выхода нет. Долги ее отца выросли настолько, что это грозило катастрофой, а его пенсии и денег, вырученных от продажи последних драгоценностей, едва хватило его элегантной дочери на нужды одного летнего сезона. Она потеряла надежду выйти замуж за порядочного молодого человека и уже давно подумывала о других возможностях. Под «порядочным человеком» она подразумевала богатого и веселого мужчину, свободного от пуританской ограниченности мелкой буржуазии. Однако за последнее время подобные мужчины очень поумнели: изысканных, но обедневших светских барышень они предпочитали брать не в жены, а в любовницы.

Мария приняла замечание подруги бесстрастно, с мудрым смирением человека, провидящего неизбежный ход событий. Она только сказала:

– Не флиртуй с отцом, когда он ведет машину.

На этот раз ее слова были отчетливо слышны. Лицо Зары дрогнуло виновато и немного испуганно, а Спиридонов безуспешно попытался угадать по голосу дочери, действительно ли она негодует или только поддразнивает его. Все-таки он понял, что Мария не хочет, чтобы ее считали дурочкой. Зара тоже поняла это и почувствовала себя страшно виноватой. Кого-кого, а Марию обманывать не следовало бы.

– Ты начинаешь ревновать, – сказала Зара, обернувшись снова.

– Просто боюсь, как бы он не опрокинул машину. Это с ним уже случалось.

– Ты правда сердишься?

– Нет. Но не заставляй его делать глупости.

– Давай повеселим его немножко.

Красивый стареющий пират никогда не страдал от скуки, но объяснение было приемлемым. Разговаривали все трое по-английски. И самый строй их мыслей тоже был в английском духе – то была логика людей, из приличия притворяющихся идиотами. Они даже были готовы поверить в свою ложь. Мария кивнула. Да, хорошо бы его развлечь. Пусть отдохнет от работы. В это можно поверить. Ведь ей нужно было только закрыть глаза на грубую действительность, на тот отвратительный факт, что Зара флиртует с ее отцом и уже решила стать его любовницей. Согласиться с этим открыто было бы одинаково унизительно для всех троих. Мария сделала гримасу, и, хотя курить в открытом автомобиле было не очень приятно, вынула свой маленький серебряный портсигар. Шофер, сидевший рядом с нею, поспешил зажечь ей сигарету. Он сделал это почтительно, ловко, загораживая ладонями пламя спички от ветра. Но в его глазах сейчас не было того скрытого хищного огонька, который прельщал горничных и обязательно вспыхнул бы, если бы шофер поднес спичку к сигарете Зары. Мария не привлекала, не волновала, не смущала мужчин ничем, кроме богатства своего отца.

Она была похожа на него. Но если его лицо отражало твердость и властную жизненную силу пирата, то от ее серых глаз и тонких, почти бескровных губ веяло унынием дождливого дня. Впечатление это усиливалось еще и тем, что она совсем не красилась. Мария тоже обмотала голову ярким шарфом, от которого ее бледное лицо и пепельно-русые волосы казались еще более тусклыми. Хороши были у нее только ноги, длинные и стройные, но и они не соблазняли – плоская грудь и мальчишеская холодность отталкивали мужчин от этой девушки.

Она затянулась сигаретой и устремила на равнину неподвижный взгляд печальных, без блеска глаз. Утренняя прохлада сменилась зноем, и над сжатыми нивами нависла духота летнего дня. Там и сям близ селений размеренно пыхтели двигатели молотилок. Загоревшие до черноты мужчины в соломенных шляпах сбрасывали снопы. На выгоревших от засухи деревенских выгонах лениво паслись овцы. Оборванные пастушата стояли, опершись на свои крючковатые посохи и уставившись на скользивший по шоссе автомобиль и сидящих в нем людей. Их псы бросались к машине и бежали за пей, но вскоре отставали и лаяли долго и злобно.

После разговора с Зарой Мария почувствовала облегчение. Так! Формула найдена. На кокетство Зары надо смотреть как на невинную прихоть: Заре хочется развлечь утомленного человека – вот и все! Теперь Марию уже не должна смущать ни подозрительная нежность, с какой ее приятельница опирается на плечо ее отца, ни намеки, которыми они обмениваются, делая вид, что шутят. Она вспомнила другую формулу, помогавшую ей спокойно выносить присутствие любовника ее матери. То был гвардейский ротмистр, кукла, индюк в красном мундире. Мария его терпеть не могла, но должна была держаться с ним любезно, чтобы казалось, будто он приходит ради нее. Третья формула спасала ее от неприятной необходимости быть грубой. Надо было только притворяться, что считаешь себя привлекательной. Свора обожателей клялась ей в любви, и каждому она должна была отвечать, что верит его словам, но еще не решила выходить замуж. Была у нее и четвертая формула: принимая подобострастную лесть профессиональных музыкантов, Мария делала вид, что считает себя первоклассной пианисткой; пятая формула помогала щадить гордость бедных приятельниц, а шестая была направлена на то, чтобы ее не считали нелюдимой. Вся жизнь Марии была опутана сетью формул, которыми она прикрывала и маскировала ничтожество, падения и глупости людей, среди которых жила. Сейчас она вспоминала эти формулы одну за другой и внезапно почувствовала невыносимую усталость от того терпения, с каким она их применяла. Но эта усталость не была ни нравственным протестом, ни бунтом. Марии просто хотелось отдохнуть, вырваться на миг из их пут. Ее охватило желание остаться одной, никого не видеть, пожить в таком месте, где ее никто не знает. Пожить хоть десять дней простой, естественной жизнью, без дансингов и общества, какое собирается на больших курортах, без софийского запаха резиновых шин и бензина. Поиграть на рояле в тиши вечерних сумерек, когда шумят сосны, с гор веет ветер и луна озаряет все вокруг печальным зеленоватым светом. Мария могла бы найти этот покой в Чамкории,20 где у Спиридоновых была вилла, но сейчас там отдыхала ее мать с «индюком» в венгерке, украшенной серебряными шнурами. Марии не хотелось нарушать их идиллию. Мать и дочь молчаливо согласились – опять-таки при помощи найденной для этого формулы – не мешать друг другу.

Мария унаследовала от отца его ум, способность проникать в душу людей, отчасти его эгоизм и даже капельку его грабительского инстинкта. Но она была совершенно лишена его бьющей ключом жизненной силы. Ее ум не давал ей погрязнуть в дурацких пустяках, как погрязла ее мать. Она не была ни злой, ни великодушной. Ее уменье понимать людей и разбираться в условностях с детства притупило в ней нравственное чувство. И теперь она была твердо уверена, что нет ни добра, ни зла и что нет никакой необходимости проводить различие между ними. Зная, что такое свет, утомлявший ее своими падениями, она смотрела на него холодно и равнодушно. Она не была ни счастлива, ни несчастна. И очень часто думала с мягкой насмешкой философа, что сама она всего лишь бесцветная, никому не нужная вещь.

Мотор взревел, и стрелка опять прыгнула на девяносто. Папашу Пьера – так его называли и родные, и все служащие фирмы – снова обуял демон скорости. Зара пробуждала в нем необузданность дикаря, которая в дни юности бросала его в самые рискованные предприятия и помогала ему наживаться. Он забыл о своем артериосклерозе, миокардите, следах паралича правого века – результате последнего удара. Мария наклонилась и бросила взгляд на спидометр. Стрелка показывала сто километров. Корпус машины дрожал от напряжения, воздух свистел, а деревья и кусты отлетали назад, будто сметенные вихрем. Да, папа перебарщивал!.. Мария хотела было сердито прикрикнуть па него, но вспомнила о формуле и не стала ничего говорить. Она не боялась катастрофы. Она только чувствовала себя униженной мальчишеством отца и тем, что Зара снова начинает вертеть им. Зара собиралась ехать с ним дальше на юг, в Салоники, а может быть, и в Афины, по все-таки это было лучше, чем если бы они показывались вместе в Софии или Варне. Если они поедут в Грецию, Мария останется в городке, чтобы отдохнуть в одиночестве в том доме при складе, который она смутно помнила с детства.

Зара придвинулась к папаше Пьеру и слегка касалась его плечом. Но вдруг она отшатнулась, испуганная подозрением, что Мария наблюдает сзади ее игру. Мария поняла и эту уловку, но притворилась, что ничего не замечает, и не только не рассердилась, по посочувствовала подруге. Зара показалась ей бесправной рабыней, выставленной на продажу на базаре и не имеющей права выбора. Всякий, у кого хватит денег, может ее купить. Голубой тюрбан, шоколадный цвет лица, приобретенный в Варне, и большие темные глаза придают ее красоте что-то пламенное, отчаянное и трагичное. Рабыня, ищущая себе покупателя. Не может ли Мария сделать что-нибудь для ее спасения? Поговорить с нею начистоту? Дать ей денег? Мягко посоветовать ей отказаться от тщеславия и расточительности, не брать такси, чтобы проехать от дома до кафе, не шить по пяти бальных платьев в сезон? Нет, советы не помогут. Зара одержима каким-то безумным легкомыслием, порожденным миром, в котором она живет. И это легкомыслие в сочетании с безденежьем обрекает ее на падение, на разврат, на унижения. Пройдет месяц, и она снова начнет заигрывать с каким-нибудь богатым пожилым мужчиной. Не все ли равно – с кем?

Но тем не менее Мария по-прежнему сочувствовала подруге. Зара не приобрела еще опыта на своем новом поприще и могла питать иллюзии относительно ее отца. Никому еще пока что не удавалось как следует ощипать папашу Пьера, и меньше всего могли этим похвастать женщины. Любовницам своим он давал, самое большее, дешевую трехкомнатную квартиру да не очень щедрое содержание, и то лишь пока длилась связь. При его богатстве это были пустяки. Вряд ли он будет более щедрым с Зарой; разве только она будет капризничать и ласкаться так талантливо, что сумеет вытянуть из папаши Пьера немного больше, как она умеет убеждать своего отца подписывать счета за ее платья.

Мария печально усмехнулась. Все это унизительно и, конечно, вызовет сплетни. Опять надо искать формулу, которая объяснила бы доходы Зары и ее новые отношения со Спиридоновым. Пожалуй, она могла бы сойти за его секретаршу. Но кто в это поверит?

Мария снова почувствовала, что все эти уловки ее утомляют, и перестала думать. Папаша Пьер уменьшил скорость. Шоссе теперь тянулось по холмистой равнине с красноватой песчаной почвой. Хлеба уступили место ядовито-зеленым табачным полям.

Машина приближалась к городку.

Прибытие папаши Пьера вызвало некоторую тревогу, после которой быстро наступило успокоение. Хозяин не проявил никакого интереса к работе на складе. Очевидно, он совершал увеселительную поездку. Присутствие двух девушек – его дочери с подругой – подтверждало это предположение, и не прошло нескольких часов, как опасения других фирм, что он начнет закупки табака «на корню», улеглись. Папаша Пьер обменялся несколькими словами только с главным мастером Баташским, на кассира же и бухгалтера не обратил внимания, а отсутствия генерала вообще не заметил. Затем он погулял с девушками по лужайке, рассказывая им забавные случаи из своей молодости. В одиннадцать часов, когда стало жарко, все трое ушли в дом при складе и остались там. Шофер и конторская уборщица принесли им еду из лучшего ресторана в городе.

Между тем в ферментационном цехе склада произошло событие, оставшееся незамеченным. Генерал, опоздавший на службу и рассерженный нелепой случайностью, которая лишила его счастья видеть хозяина, мрачно выслушал тревожный доклад своего племянника о поведении Бориса, и они быстро направились к ферментационному цеху, где Борис осматривал тюки и делал какие-то вычисления. Разговор вышел короткий. Генерал объявил Борису, что увольняет его. Оскорблять сослуживцев и непристойно вести себя в конторе не дозволено никому. «Никотиана» – предприятие, в котором работают лишь скромные и честные служащие, а не карьеристы. Кто этим недоволен, может искать себе место в другой фирме, где легкомысленные эксперты могут выдвигать любых ни на что не годных типов.

– Сами вы ни на что не годны, – спокойно ответил Борис.

Потом презрительно усмехнулся и ушел со склада.

Дом был построен двадцать лет назад, тогда же, когда и склад, и было это после первых коммерческих успехов папаши Пьера и «Никотианы». По вкусу госпожи Спиридоновой – а вкус у нее был как у всех внезапно разбогатевших мещанок – дом был обставлен вычурной и дорогой мебелью, купленной за границей. Позолоченное резное дерево расточительно сочеталось тут с блеском зеркал и темно-красным плюшем. В доме были и бездарные картины местных художников, и пестрые вазы, и нелепые ширмы, и открытки с видами Швейцарии, где белотелая госпожа Спиридонова училась французскому языку в пансионе для певиц. Сразу было видно, что это дом миллионера – но миллионера провинциального. Когда «Никотиана» оплела своими щупальцами все табачные центры и папаша Пьер так разбогател, что даже персонал отеля «Адлон» в Берлине начал замечать его приезды и его щедрость, супруги переселились в Софию. Однако свой дом в родном городке они сохранили в неприкосновенности, и он остался как память об их прежней жизни, протекавшей в довольстве и безвкусице, но гораздо более здоровой, чем теперешняя.

За обедом папаша Пьер выпил вина – несмотря на строгий запрет врачей – и стал еще разговорчивее. Зара делалась все смелее. Мария с удивлением поняла, что эти двое уже сами додумались выдать Зару за секретаршу. Папаша Пьер очень осторожно выдвинул эту идею, а Зара тотчас подхватила ее.

– Бросьте шутить, – сказала она, пережевывая жаркое с аппетитом здорового животного. – Я вам серьезно предлагаю себя в секретарши.

– Если позволит Мария, – ухмыляясь, отозвался папаша Пьер.

– Мария даст мне хорошую рекомендацию.

– Да, ты знаешь много языков. – Мария старалась говорить непринужденно, но голос ее по-прежнему звучал глухо. – Идея неплохая.

– Тогда сделаем опыт, – предложила Зара. – Возьмите меня с собой в Грецию.

Тут даже папаша Пьер смутился, так это было бестактно.

– Прелесть моя! – воскликнул он. – А что скажет твой отец?

– Я его предупрежу по телефону.

– Но у тебя нет заграничного паспорта.

– Мы пошлем за ним в Софию шофера.

Мария покраснела, словно ее охватил стыд, который должна была бы испытывать Зара. Глупая торопливость подруги губила даже самые удобные формулы. Мария знала, что паспорт для Зары уже получен, а в ее чемодане лежат вечернее платье, костюм из чесучи и разные мелочи, необходимые в жарком климате. Деловая поездка отца в Афины, прогулка Зары и Марии якобы только до городка и все сказанное сейчас было жалкой комедией, которой предстояло прикрыть заранее обдуманное ими решение уехать в Грецию вдвоем. Даже Марии, привыкшей ко всяким уловкам, стало противно. Но комедию нужно было доиграть до конца.

– Шофер может за один день получить для вас паспорта, – сказал папаша Пьер, словно обдумывая предложение Зары.

Паспорта? Папаша Пьер говорил о них во множественном числе, и Мария снова рассердилась, увидев, что ее считают дурочкой.

– Подождите!.. – сказала она. – Речь идет только об одном паспорте, не так ли?

– Как об одном! – Лицо папаши Пьера отразило деланное негодование. – Вы обе поедете со мной.

Он вопросительно смотрел на дочь и с тревогой ждал ее ответа. А вдруг Мария внезапно переменит решение и отправится с ними? Но какой-то остаток порядочности, смешной и бесполезный, заставлял его притворяться, будто и он считает уловки необходимыми и уважает хотя бы свою дочь.

– Я с вами не поеду.

После обеда папаша Пьер лег отдохнуть в комнате Марии; окна этой комнаты выходили на лужайку с тополями. От выпитого вина у него начались перебои сердца. Это была гнетущая, неприятная аритмия, которую надо было лечить строгим режимом и которая поэтому внушала папаше Пьеру гнев и презрение к врачам. На черта нужны эти шарлатаны, если они не могут вылечить его миокардит!.. Назло врачам он закурил сигару, решив не обращать внимания на их советы. Как пи странно, сигара, казалось, успокоила его сердце – аритмия исчезла, и это окончательно убедило его в том, что врачи ничего не смыслят. Папаша Пьер забылся и уснул.

Зара и Мария улеглись на широкой двуспальной кровати в комнате, где супруги Спиридоновы спали в годы молодости. Окна здесь были открыты с утра, но в комнате все же пахло плесенью и нежилым. Теперь этот запах смешивался с благоуханием духов «Л'ориган» и лаванды, исходившим от пижам девушек. В желтоватом полумраке комнаты поблескивали зеркала в золоченых рамах и старомодная мебель. В углу на столике стоял киот с иконой, а над супружеским ложем висела картина, изображавшая Амура и Психею.

Мария, повернувшись к стене, рассеянно перебирала в памяти воспоминания детства и старалась заснуть. Зара тоже старалась уснуть, прислушиваясь к гудению жука, который бился об оконное стекло, аккомпанируя ее дремотно расплывающимся мыслям. В Афинах она сможет накупить всяких элегантных вещей. Может быть, они встретят изысканных иностранцев, например английских туристов, и весело проведут время… Усыпляющее жужжание насекомого не прерывалось, и во мгле дремоты, навеянной вином, мечты Зары все более теряли ясность. По вдруг пружины матраца нервно дрогнули, и это заставило ее очнуться.

Мария приподнялась на кровати и, облокотившись на подушку, закурила сигарету. Воспоминания детства разогнали на миг тучи тоски, которая годами давила ее душу. А потом внезапно, без видимой причины, тучи сгустились снова, и ее опять охватила прежняя грусть, ровная и тихая, как бескрайний, скучный простор, который со всех сторон окружал ее жизнь.

Заре еще по колледжу были знакомы эти ее внезапные перемены настроения.

– Ты не хочешь заснуть? – спросила она.

– Нет.

Голос Марии прозвучал враждебно.

«Подозревает», – подумала Зара, и наступившее молчание показалось ей невыносимым. Мария бросила па нее взгляд, полный досады. На миг обеим захотелось поговорить начистоту, но это желание тотчас уперлось в степу формул.

– Это было забавно, правда? – сказала Зара.

– Что?

– Флирт с твоим отцом. («Не притворяйся», – подумала она.)

– Да, ему надо немного встряхнуться. («Какая ты мерзкая!»)

– Я тоже так подумала.

– И все-таки вам обоим необходимо соблюдать приличия.

– Ах!.. Ну конечно, дорогая.

Зара приподнялась и, опираясь на спинку кровати красного дерева, тоже закурила сигарету. Подруги перебрасывались ничего не значащими словами, а мысли их были совсем о другом.

– Я думала, что ты на меня сердишься, – сказала Зара, немного помолчав.

– За что? («Не притворяйся обидчивой!»)

– За то, что я еду с твоим отцом в Грецию.

– Это ваше дело.

– А почему бы тебе не поехать с нами?

– Потому что жарко.

– В машине не будет жарко.

– Хорошо, я подумаю. («Перестань лицемерить. Вот поеду и все вам испорчу».)

– Я очень хочу, чтобы ты поехала, а то мне неудобно путешествовать с папашей Пьером вдвоем.

– Ах!.. Неужели? – Мария рассмеялась. («Значит, тебе нужна ширма!»)

– Да, милая!.. («Будто одна ты имеешь право беречь свою репутацию!..»)

– Очень жаль… Но мне но хочется уезжать далеко. («У меня нет ни малейшего желания обливаться потом в такую жару ради того, чтобы сохранить твою репутацию».)

– Ну, хорошо. – Зара напряженно обдумывала положение. – Если ты останешься здесь, мы потом можем сказать, что ты была с нами.

– Кому же мы будем это говорить?

– Всем.

Наступило молчание. Мария докурила сигарету, встала и начала одеваться.

– Куда ты? – спросила Зара.

– На лужайку. Тут слишком жарко.

– И я с тобой.

– О, прошу тебя!.. Оставь меня одну.

Мария взяла одеяло и вышла из дому. Сразу запахло табаком, каучуком и бензином. Шофер поставил машину в тень у садовой ограды и, сидя на скамейке, читал увлекательный детективный роман, в котором описывались похождения ужаснейшего преступника из высшего общества. Рядом с ним сидел какой-то молодой человек в поношенном костюме. Чтобы попасть на лужайку, Мария должна была пройти мимо них. Когда она приблизилась, шофер вскочил и вежливо поклонился, а молодой человек, не вставая, только чуть кивнул. Мария заметила, что лицо у него бледное, красивое и надменное, а глаза темные, с острым взглядом. Губы у него были тонкие, поджатые, и их особенное выражение холодной горечи поразило Марию. Ей захотелось обернуться, чтобы увидеть его еще раз, и, когда она это сделала, его взгляд, устремленный на нее, приобрел вдруг слегка насмешливое выражение. Это ее раздосадовало. Ей показалось, что он как-то вызывающе ждал, чтобы она обернулась. Она ускорила свои ленивые шаги и, когда подошла к лужайке и ступила на траву, забыла о нем.

Послеобеденная жара начала спадать. С гор долетала прохлада, невдалеке, пенистая и быстрая, шумела река. Трава была свежая, высокая, густая, усыпанная ярко-желтыми лютиками, по которым ползали божьи коровки. Откуда-то донесся крик осла, заглохший в сонной тишине.

Мария обошла лужайку, ища, где бы улечься в тени, и наконец нашла удобное место под маленьким ореховым деревцом, неподалеку от дома. Она расстелила одеяло и вытянулась на нем, подложив ладони под затылок. В сознании ее снова всплыли воспоминания детства. Бездонная синева неба создавала ощущение бесконечности, и на фоне его реяли прозрачные и чистые образы, перемежающиеся с темными тенями огорчения и печали. Вот Мария – пятилетняя девочка, белокурая, пухленькая, с вечно удивленными глазками, возится с грудами игрушек в детской или бегает по лужайке под бдительным надзором няни. Кто бы мог подумать, что этот веселый ребенок превратится в меланхоличную девушку, страдающую нервной болезнью, которая медленно прогрессирует и которую врачи не могут или не хотят назвать. Вот ее мать двадцать лет назад, красивая, нежная, белая, как молоко, – такая, какой она была до того, как поглупела, до того, как начала подносить серебряные кубки победителям на конных состязаниях и искать любовников среди гвардейских офицеров. Вот папаша Пьер в начале своего пути к богатству, энергичный и сильный, каким он был, пока не стал поклонником опереточных актрис и не начал покупать им квартиры. Вот верблюды, навьюченные табаком, – странные существа с юга, переносившие ее, Марию, в царство сказок, и их погонщики-турки в широких кожаных поясах, красных фесках и разноцветных чалмах. Вот знакомые дети, приходившие к ней в гости с матерями. Один из них – мальчик, красивый и грустный, с парализованной ногой. Служанка возила его в коляске. Потом он заболел дифтеритом и умер. Мария нежно любила его. Воспоминание об этой любви и сейчас теплилось в ее душе мягким сиянием. Образы детских лет, все более и более лучистые, плавали теперь в каком-то море света и блаженства. Так, незаметно, она уснула.

Когда она проснулась, солнце светило ей в лицо – тень переместилась. Мария поднялась, перенесла одеяло на другое место и снова легла. В небе летали голуби, река шумела напевно, и воздух был насыщен благоуханием свежей травы. Лучезарные образы прошлого снова всплыли в сознании Марии, но сейчас они были насыщены пронзительной тоской. Потом они незаметно исчезли, осталась только тоска, и Мария снова вернулась к своему обычному, ровному меланхолическому настроению и к тем неприятным ощущениям, которые вызывала ее загадочная нервная болезнь. Ей казалось, что по плечу ее ползают муравьи, кожа на одной ступне словно утратила чувствительность, в левом веке ощущалась какая-то тяжесть – оно то и дело опускалось, и Марии приходилось делать усилие, чтобы держать его открытым. Она вспомнила серьезные, таинственные лица врачей, собиравшихся на консилиум и лечивших ее инъекциями. Но от их лечения никакой пользы не было. И подобно папаше Пьеру, она возненавидела врачей и теперь считала их шарлатанами, которые только зря ее мучают.

Мария вздохнула глубоко и тоскливо, но примиренно. Все же здесь было приятно. Тут по крайней мере спокойно, и после отъезда Зары и отца она сможет сколько угодно играть на рояле для себя – никто не будет слушать ее игру. Нужно только найти настройщика. Рояль совсем расстроен. А есть ли в этом городишке настройщик? Если нет, надо вызвать из Софии.

Она полежала еще немного, глядя на голубей, которые летали, словно маленькие белые ангелы, купаясь в золоте и синеве. Потом поднялась, подобрала одеяло и направилась к дому. Проходя через сад, она увидела, что шофер куда-то уехал в машине, а молодой человек в поношенном костюме все еще сидит на скамейке. Что ему нужно? Сидеть здесь, в саду, – это наглость. Когда приезжают хозяева, никто не имеет права входить в сад. Мария не поняла, что ее раздражение вызвано как раз тем, что молодой человек заинтересовал ее. Его темные проницательные глаза снова были устремлены на нее, но теперь уже без насмешки – казалось, он хочет попросить ее о чем-то. Сомнений не осталось, когда он внезапно встал и двинулся к ней. Мария невольно замедлила шаги. Теперь, за несколько мгновений, пока он приближался, она успела разглядеть его лучше. В его лице было что-то слишком холодное, слишком резкое и твердое, и его никак нельзя было назвать приветливым. Но оно не было ни грубым, ни глупо самоуверенным, ни отталкивающе упрямым. Просто это было лицо человека, обладающего какой-то силой, какой-то неумолимой решительностью и стальной волей, охватывающей других людей и сразу подчиняющей их себе. Как ни странно, Марии почудилось, будто она уже много раз видела это лицо. А потом вдруг поняла, что не видела его нигде, но что это лицо мужчины, которого она желала, ждала, стремилась увидеть!.. Она хотела было отвести от него взгляд, но не смогла.

Борис сказал:

– Я хочу видеть господина Спиридонова.

– Это его вы ждете? – спросила Мария.

– Да. Но не знаю, встал ли он.

– Может быть, встал. Уже пять часов.

– Я хочу поговорить с ним.

– Мой отец знает вас?

– Нет. Но я служащий фирмы. Сегодня утром директор меня уволил. В связи с этим я бы хотел сказать вашему отцу несколько слов.

Мария умела мгновенно проникать в мысли людей и судить о них по мимолетным изменениям в выражении их лиц, по неуловимому трепету во взгляде и голосе. Этому ее научила печальная необходимость мириться с повседневным притворством окружающих. Значит, этого юношу уволили. Но ничто в его облике и речи не говорило о том, что увольнение вызвано его неспособностью, ленью или каким-нибудь совершенным им низким мошенничеством. Он казался только честолюбивым, слишком честолюбивым и уверенным в своих достоинствах, чтобы подчиняться приказаниям или быть мелким служащим фирмы; а ведь он был только мелкий служащий – об этом свидетельствовали его изношенный костюм и терпеливое ожидание. Уверенность в себе была написана на его лице, и выражение это было таким неприкрытым, что вряд ли могло нравиться его начальникам. Но именно оно спасало его от подозрений в том, что он совершил тяжкий проступок по службе, и придавало какую-то пламенность его твердым и холодным чертам. Слово «уволен» вызвало в Марии сочувствие к нему, но какой-то такт, какой-то женский инстинкт, который сейчас вдруг пробудился в ней, заставил ее притвориться, что это холодное лицо не произвело на нее впечатления. Ее охватило жгучее желание помочь юноше и одновременно – стремление поговорить с ним еще. Приступы меланхолии давно убили в ней вкус к подобной игре, и это внезапное, странное желание удивило ее. Неужели ее так заинтересовал этот незнакомый мелкий провинциальный служащий их фирмы? Смешно было воображать, что в нем есть что-то незаурядное.

Она сказала:

– Я не знаю, согласится ли отец разговаривать с вами об этом. Все вопросы, касающиеся персонала, он предоставляет решать своим директорам.

Юноша посмотрел на нее, словно удивленный ее осведомленностью и равнодушием. Мрачные холодные огоньки враждебно вспыхнули в его глазах.

– Вопрос, о котором я намерен говорить, касается в первую очередь интересов фирмы, а потом уже моего увольнения, – холодно объяснил он.

«Ого!.. – подумала Мария. – Ты поспешил меня возненавидеть. Это значит, что ты вспыльчив и горд. Но не думай, что я похожа на отца… Не думай, что это интересы фирмы заставят меня помочь тебе или не помочь. Я не совсем такая, как ты думаешь».

– Тогда обратитесь к директору, – посоветовала она рассеянно.

– Но я же сказал вам, что директор меня уволил.

– Ах, да!.. Очень жаль.

– Нет, не очень. – В голосе его внезапно зазвучал гнев, вызванный ее рассеянностью и безразличием. – Я могу хоть сейчас поступить в другую фирму на более высокую должность.

«Гордый, – подумала она опять. – Не любит подлизываться и не пытается с помощью своих достоинств использовать женщин. Или, может быть, он именно это и делает сейчас, только очень умело».

Она спросила удивленно:

– Почему же вы не поступаете туда?

– Потому что сначала хочу раскрыть кое-что в интересах вашей фирмы и попытаться остаться в ней.

– Что вы хотите раскрыть?

– Вам это не интересно.

«Значит, на меня ты не рассчитываешь? – подумала она. – Хорошо, посмотрим!»

– Не думаю, что мой отец согласится вас выслушать. За работу филиалов отвечают только директора, и он не вмешивается в их распоряжения.

– Это особый случай.

– Отец никогда не отступает от своих принципов.

– И все-таки я попытаюсь его увидеть.

– Не предсказываю вам успеха.

Он усмехнулся, как будто желая сказать: «Ты упряма, избалованна и самонадеянна – настоящая дочь миллионера!.. Но не воображай, что ты интересна или красива». Но вдруг лицо его помрачнело. Может быть, его план не удастся. Ничего у него не получится, если он не объяснит Спиридонову все подробно и ясно. Речь должна идти, не об увольнении Бориса, не о воровстве Баташского, не о лени директора и служащих, а о введении «тонги»21 на всех складах «Никотианы» одновременно. Это будет коренным переворотом. Это обещает огромные прибыли и устранение всех конкурентов на германском рынке. Карманы Бориса были набиты таблицами, вычислениями и листками, на которых он кратко, по пунктам, перечислил главные моменты закупок, обработки и заключения контрактов с учетом тех перемен, которых требовал переворот. Он предусмотрел и все виды возможного противодействия со стороны рабочих, конкурентов, политических деятелей и экономических институтов и наметил пути к их преодолению. Можно было подумать, что в разработке этого плана приняли участие все специалисты фирмы. Борису он стоил многих бессонных ночей, изнурительной и напряженной работы мысли, кропотливой возни с таблицами и статистикой после утомительного рабочего дня с отравленном воздухе склада. Однако у великого человека, господина генерального директора «Никотианы», едва ли найдется время на то, чтобы выслушать хоть два слова, когда к нему обратится со своим фантастическим предложением его ничтожный, мелкий, уволенный служащий, которого он даже никогда не видел. Может быть, дочь его и права. Может быть, отдых для пего так же дорог, как и дело. Тогда Борису останется только изложить свой план на бумаге, переписать его на машинке и послать или в дирекцию фирмы, или генеральному директору на дом, подобно тем маньякам, которые посылают влиятельным людям проекты вечного двигателя или спасения мира от экономических кризисов. Но это сразу вызовет подозрение, что и Борис такой маньяк. Остается еще одна очень слабая надежда: заговорить со Спиридоновым, когда тот выйдет из дому и будет садиться в машину. Но именно в такие минуты большие люди бывают особенно рассеянными; именно когда они куда-то спешат, нищие, дураки и маньяки кажутся им невыносимо надоедливыми. Нет, и это не поможет. Только теперь Борис понял, как труден путь, по которому он решил пойти, и все-таки не потерял надежды. Ведь остались другие возможности, другие фирмы – там тоже можно попытаться.

Мария заметила, как на его лице отразились гнев и презрение, словно он хотел сказать: «Ты и твой отец – надутые индюки, но я не обращаю на это внимания. Главное – сделать свое дело». Она не знала, да и не могла ничего знать о его планах. Для нее он был просто мелким служащим, который хочет, чтобы его вновь приняли на работу. Может быть, при теперешней безработице увольнение означало для него долгие месяцы лишений и обивания чужих порогов, но он не хотел, даже не пытался попросить ее о помощи хоть одной вежливой фразой, которая никак не унизила бы его, хоть намеком во взгляде. В этих темных, проницательных и холодных глазах была какая-то застывшая гордость, какая-то неуязвимая надменность, способная вылиться скорей в опрометчивые поступки, чем в просьбы. И тогда ей опять показалось, что он коренным образом отличается от всех мужчин, которых она встречала до сих пор, от всех ее поклонников, так безуспешно и угодливо уверявших ее, что она красива, интересна, талантлива и привлекательна. И тогда ее снова охватило жгучее и странное чувство, что именно таким – полным жизненной силы и твердости – должен быть человек, которого она хочет встретить и о котором мечтает в одинокие часы меланхолии. Но она все еще не была уверена в своем открытии. Слишком часто приходилось ей разочаровываться в людях, пытавшихся обмануть ее своим позерством и хитростью. Ей захотелось проверить его характер до конца. Может быть, достаточно только подать знак, что он ей нравится, и сразу же развернется пружина его раболепия и дерзкого желания попытать счастья. Так поступали многие мужчины. Правда, гордость ее при этом подвергалась некоторому риску, но потом все легко будет восстановить одним ударом. Надо попробовать.

Она подняла голову и встретилась с ним глазами. В течение нескольких секунд взгляды их не отрывались друг от друга, словно пытаясь проникнуть в тайну мыслей. Потом она улыбнулась – эта бледная, слабая, но все-таки кокетливая улыбка ее серых глаз и бескровных губ лишь очень редко появлялась у нее и походила на усталый солнечный луч, пробившийся через разорванные тучи в дождливый день. Улыбка говорила: «Все зависит от меня». Мария немного подождала, потом добавила взглядом: «Ты необычный человек и мог бы мне понравиться». Подождала еще, но и этот вызов остался без ответа, утонул в непроницаемом спокойствии его глаз. Теперь они не выражали ни гнева, ни насмешки, ни дерзкой рисовки человека, понявшего, что он нравится женщине; однако они и не смущались, не бегали и не пытались спрятаться. Они были просто неуязвимы, до отчаяния неприступны, полны неизвестности. «Хитрит, – подумала она. – Хочет посмотреть, как далеко я пойду». Тогда она бросила последнюю карту и сказала смело:

– Я поговорю о вас с отцом.

– Попробуйте, – отозвался он. – Может быть, он меня примет.

Но опять ни следа прежней насмешливости, ни намека на то, что он чувствует себя польщенным ее улыбкой, ни признака того, что он глупец, не понявший ее. Ни капли раболепной благодарности не было в его взгляде, ни малейшего желания использовать ее неудачную попытку пойти ему навстречу. Ничего она не дождалась, кроме легкого, вежливого, равнодушного поклона.

Быстро поднявшись на крыльцо, Мария вошла в холл. Она испытывала глубокое волнение; казалось, какое-то откровение раскрыло перед ней всю красоту жизни, которую ей до сих пор мешали видеть ее тоска и неврастения.

Много раз ребенком она входила в этот холл с гипсовыми украшениями на потолке, с большими зеркалами и мраморными столиками по углам, и всегда при этом у нее было радостное чувство открытия чего-то нового – вещей, людей, событий, которые она перед этим увидела на лужайке, во дворе или в саду. Сейчас она испытывала то же ощущение, то же самое желание вбежать в столовую и в порыве детской радости рассказать отцу об открытии, которое она только что сделала. Но она тотчас опомнилась. Двадцать четыре года вырыли бездонную пропасть между той, что когда-то была ребенком, и ее отцом. Может быть, он и сделает все, что она пожелает, но не поймет ее. В холле она услышала доносившийся из столовой бас отца, который с ужасным произношением пытался говорить по-английски. Доносилось и сопрано Зары – она поправляла своего поклонника, певуче и красиво растягивая слова. Они отлично проводили время и уже начали пить чай, не дожидаясь Марии. Это показалось ей грубым и невежливым.

Все же она вошла в столовую, весело поздоровалась и переставила на железную подставку горячий электрический чайник, который Зара забыла на скатерти. Зара неловко извинилась, соврав, что чайник она поставила только на минутку. Она была в ярко-синем халате, который распахивался при каждом движении и довольно бесстыдно оголял ее колени и грудь. Папаша Пьер старался сгладить дурное впечатление от всего этого, притворяясь, что ничего не замечает. Он был в прекрасном настроении, и постоянная, несколько враждебная неловкость, которую он ощущал в присутствии дочери, теперь превратилась в благодарность за то, что она отказалась ехать в Афины. Он с изумлением заметил румянец на ее щеках. Видеть Марию оживленной – это случалось так редко!

– Ну как?… Похоже, что тебе понравилось на лужайке, – сказал он. – Я бы тоже остался здесь, если бы не этот проклятый француз из торгового представительства, с которым я должен встретиться в Афинах…

Никакого француза ему не нужно было видеть в Афинах. Больше того, ради поездки с Зарой он отложил важвую встречу с голландскими коммерсантами в Гамбурге. Но Мария не обратила внимания на его ложь и быстро сказала:

– В саду ждет один молодой человек, который хочет с тобой поговорить. Пожалуйста, прими его сейчас.

– Что за молодой человек?… – спросил папаша Пьер.

Беспокоить его в такое время показалось ему необычайной дерзостью.

– Один служащий, уволенный со склада.

– Начнет ко мне приставать, – небрежно проговорил Спиридонов. – Некогда мне заниматься всякими пустяками.

– Для него увольнение – не пустяки. Я хочу, чтобы ты его выслушал и немедленно вернул на службу, – почти приказала Мария.

Папаша Пьер и Зара растерялись. Первый раз в жизни Мария повысила голос и чего-то потребовала. Мария, у которой вообще не бывало капризов и причуд! Папаша Пьер мог гордиться такой бережливой, разумной и сдержанной дочерью: она никогда не переступала рамок хорошего тона и установленных правил, не меняла своего всегда вежливого, но холодноватого отношения ко всем. Может быть, и у нее бывали увлечения, но она их неизменно скрывала. Она появлялась в обществе, как серый бесшумный призрак, внушающий лишь уважение и легкую скуку. Никто не видел ее флиртующей. Никто не замечал, чтобы она поддерживала крайние взгляды или отдавала кому-либо предпочтение. И ее внезапное, подчеркнутое и настойчивое желание сейчас казалось чем-то невероятным.

– Где этот молодой человек? – все так же растерянно спросил папаша Пьер.

– Ждет в саду. Ты можешь пригласить его к нам. Судя по всему, он воспитанный юноша.

Некоторые проницательные люди утверждали, что Мария неожиданно выйдет замуж за человека, который за ней не ухаживал и даже не думал ухаживать. Папаша Пьер, отлично разбиравшийся в человеческих слабостях, принадлежал к числу этих людей. Значит, Мария… Что ж, хорошо! Он не против. Он только озадачен тем, что все произошло так молниеносно. Никогда нельзя понять, что именно женщины ищут, предпочитают и любят в мужчине. И все же папаша Пьер представил себе неизвестного счастливца одним из тех надутых, бесполезных и самонадеянных типов, которые приходили на приемы Марии со скрипичными или виолончельными футлярами и принадлежали к так называемому музыкальному миру. А к людям этой категории папаша Пьер не испытывал ни любви, ни ненависти, но просто считал их докучливыми, хоть и безвредными мухами. Его немного огорчало лишь то, что жизнь отдалила его от Марии и они стали совсем чужими друг другу. Чтобы добиться его содействия, которое он готов был оказать ей от всего сердца, она сразу же проявила всю свою настойчивость. Бедная Мария!.. Он знал, что она не одобряет его образа жизни, но никак не предполагал, что ее отношение к нему дойдет до такой враждебной отчужденности. Да разве он тиран? Разумеется, нет. Пусть Мария делает, что хочет. Он на все согласен. Рассуждая так, папаша Пьер не сознавал, что великодушие его объясняется тем, что в истории с Зарой он чувствует себя виноватым. Еще меньше он сознавал, что Мария решила покончить с формулами и ей сейчас безразлично, что подумают окружающие.

– Так позови же его наконец! – нетерпеливо проговорила она, прерывая молчание, во время которого папаша Пьер и Зара смотрели на нее, словно онемев. – Мы не заболеем проказой, если попьем чаю вместе с мелким служащим.

Да, разумеется… Не важно, что юноша, которому Мария хочет помочь, мелкий служащий. Но папаша Пьер немного удивился, почувствовав, что это и в самом деле не важно. Он встал и подошел к открытому окну. Какой-то молодой человек, бедно, но довольно прилично одетый, сидел на скамейке в саду.

Папаша Пьер крикнул ему дружески:

– Эй, паренек!.. Ты меня ждешь? Шагай сюда.

Врожденный дар психолога и многолетний опыт торговца научили папашу Пьера распознавать сразу и безошибочно основные качества людей. Когда Борис, сопровождаемый Зарой, которая сгорала от любопытства и вызвалась его встретить, вошел в столовую, папаша Пьер почувствовал, что перед ним стоит дерзкий и хладнокровный юноша. То было его первое впечатление, и к нему тотчас прибавилась догадка, что юноша соображает быстро. А тот, казалось, сразу же понял, как надо себя держать, и ничуть не был смущен необычайной любезностью, с какой его приняли. Он поблагодарил Марию легкой улыбкой, но, поскольку он хотел видеть только господина генерального директора «Никотианы», остался совершенно равнодушным к присутствию девушек. Папаша Пьер быстро решил, что это предусмотрительный и холодный хитрец. Таких людей можно прощупать в разговоре со всех сторон, но так и не понять, о чем они думают. И еще одно: острые глаза юноши обладали способностью бросать мимолетный взгляд на что-нибудь и тут же застывать, словно ничего не заметив. Это были идеальные глаза для игры в покер, для надувательства, для коммерческих переговоров или для удара из засады, который нужно подготовить незаметно и нанести решительно. А как у него насчет энергии и трудоспособности? Папаша Пьер знал, что лень, как и другие пороки, накладывает свой отпечаток на лицо человека. Черты лица этого прохвоста были напряжены и тверды, глаза упрямы, а губы чуть поджаты. От него исходил острый запах табачных листьев, который смешивался с благоуханием лаванды и духов «Л'ориган», исходящим от платьев девушек. Его волосы и кожа были пропитаны запахом склада, как у человека, который с утра до ночи находится в цехе, где обрабатывают табак. И наконец, вид у этого юноши был приличный, лицо почти красивое – словом, это был человек, которому вполне пристало одеваться элегантно, останавливаться в отеле «Адлон» и иметь дело с иностранцами.

– Хотите чаю? – вкрадчиво спросила Зара.

Ее жадный взгляд не пропускал ни одного движения незнакомца. Странно, как это не она первая его заметила! Он уже принадлежал Марии, но именно поэтому ей нужно было быть с ним любезной.

– Разумеется!.. – поспешил сказать папаша Пьер. – Он закусит с нами.

Мария бросила взгляд на Бориса. Она надеялась хотя бы теперь увидеть на его лице признаки волнения, смущенной признательности за то, что она для него сделала, но не видела ничего, кроме прежней непроницаемой замкнутости. Что он за человек? Застенчивый, бесчувственный или просто дурак? Сдержанный мужчина, умеющий беречь ее женское достоинство, притворяясь, будто не замечает ее авансов, или бесстыдно-расчетливый тип, сознающий, что эта непроницаемость обеспечит ему еще больший успех? Ничего нельзя было понять по его лицу. Он принял приглашение почтительно, но без всякого волнения – с видом человека, прекрасно понимающего, что господин генеральный директор не удостаивает его никаким особенным вниманием, а просто не хочет прерывать еду.

– Боюсь вам помешать, – спокойно сказал Борис.

– Вы не кажетесь застенчивым, – звонко прощебетала Зара.

– Может быть, я кажусь нахалом, – быстро отозвался он. – Но вопрос очень важен как для фирмы, так и для меня.

– Пожалуйста, отложите его. – Зара налила ему чаю и проговорила живо: – Вы никогда не сделаете карьеры в «Никотиане».

– Почему? – спросил он.

– Потому, что вы не умеете пользоваться расположением ее шефа к дамам.

– Может быть, я уже им пользуюсь.

Борис взглянул на папашу Пьера.

– Нет, юноша, нет!.. – ухмыльнулся папаша Пьер. – Фирма еще не докатилась до того, чтобы ею управляли женщины.

– На это я и рассчитываю.

– О, не надо быть столь самоуверенным, – воскликнула Зара. – Если вы будете так говорить, мы вам все испортим.

– Не слушайте их!.. – заявил папаша Пьер, которому Борис нравился все больше. – Какое учебное заведение вы кончили?

– Только гимназию, – ответил Борис.

– Это мне нравится. Обычно люди с высшим образованием чураются табака, потому что работа с ним кажется им мещанской.

– Жалкий предрассудок.

– Да. Какую должность вы занимали в фирме?

– Я был стажером из интеллигентных безработных.

– Как давно?

– Год.

– Вы изучили технику дела?

– Думаю, что да.

– А почему вас уволили?

– Формальный повод – глупый и необоснованный. Из-за одной ссоры.

– А!..

Папаша Пьер был приятно удивлен. Он ожидал услышать невнятные оправдания человека, которого обвинили в каком-нибудь упущении или мошенничестве.

– Значит, вы и ссориться умеете! – с одобрением заметил папаша Пьер. – С кем же вы поссорились? С кем-нибудь из рабочих?

– Нет!.. С кассиром, племянником директора.

Папаша Пьер разглядывал юношу все с большим интересом.

– Ага!.. Ясно, – сказал он. – И директор рассердился. Но за что вы обидели кассира?

– Мы поссорились по личному поводу, – сухо объяснил Борис – Он усвоил привычку называть меня в насмешку «господином главным экспертом».

– Понятно. Ваша старательность была ему не по нутру. Он хочет занять место Баташского, но этого мастера я никогда не уволю. Баташский – обманщик и жулик, но превосходный техник.

– И я того же мнения, – подтвердил Борис.

– Вы сказали, что ссора – только формальная причина вашего увольнения. Но есть, очевидно, и другая?

Борис посмотрел на девушек, словно боясь им наскучить. Потом кивнул и вежливо произнес:

– Извините.

– Пожалуйста, говорите, – сказала Мария.

Он начал с небольшого введения, рассказав о том, как интересовался табачным делом еще до того, как поступил на склад. Признался откровенно, что «Никотиана» привлекла его большими возможностями для выдвижения. Потом кратко охарактеризовал директора, остальных служащих и мастеров, объективно оценивая их личные качества и работу. Они делали ошибки, а он указывал, как их избежать, и это вызвало к нему некоторую неприязнь с их стороны. Потом он перечислил сделанные за последнее время улучшения в организации работы филиала, в проведении закупок и обработки. Эти улучшения введены по его инициативе. Спокойно, сдержанно он обвинил директора и мастеров в том, что они приписали эти заслуги себе. Между тем, когда стали принимать табак от производителей и расплачиваться с ними, начались кое-какие непорядки, которые Борис спокойно назвал воровством. Чтобы не быть голословным, он показал документы (расписки производителей), которые служили тому доказательством. Некоторые служащие пытались воровать и интриговать друг против друга с целью дискредитировать один другого перед начальством. Это, бесспорно, отразилось на качестве обработки. Борис назвал номера испорченных тюков – их можно было увидеть в ферментационных цехах. Не хватало крепкой руки, которая подтянула бы всех. Борис старался сделать, что мог, но встречал только сопротивление и враждебность, и все это завершилось его увольнением.

Мысли свои он излагал спокойно, сдержанно, ясно и убедительно, приводя доказательства, которые были или неоспоримы, или легко поддавались проверке. В свой рассказ он вплетал красочные подробности и остроумные замечания, которые смешили девушек, не давая им скучать. Но папаша Пьер сидел серьезный и неподвижный как мумия. Взгляд его все пристальней следил за глазами, лицом и движениями Бориса. Он сознавал все яснее, что сегодня сделал открытие, о котором мечтал давно, но которое считал несбыточным в нынешние времена, когда молодежь бездельничает и стремится только к удовольствиям. Это открытие было одинаково важно и для него, и для «Никотианы». А Борис продолжал говорить то серьезно, то весело и легко – так, чтобы его слова не казались неприятно самоуверенными. Незаметно он перевел разговор на тонгу, а от нее очень ловко перешел к некоторым соображениям о том, как лучше приспособить обработку к требованиям германского рынка. Эти соображения постепенно связались в хорошо обдуманный, ошеломляющий план, реальность которого Борис доказал цифрами и таблицами.

Папаша Пьер слушал, пораженный. Еще не было случая, чтобы даже самые способные из его сотрудников и директоров высказывались так ясно и убедительно. Никогда он не видел человека – если не считать самого себя, – ум которого охватывал бы столь точно и верно весь этот круговорот производства, переработки табака и торговли им. Сообразить, что путем быстрого введения тонги во всех филиалах фирмы можно использовать условия конъюнктуры и сразу получить преобладание на германском рынке и крупные прибыли, было совсем нетрудно. Но разработать подробный план, установить для всех его стадий определенные сроки, выявить незамеченные соотношения, из которых могли возникнуть и преимущества и трудности, а сопоставив их, использовать преимущества и устранить трудности и, в конце концов, вычислить вероятность успеха – все это мог сделать только сам папаша Пьер или молодой, энергичный человек вроде того, что сидел перед ним. За последнее время папаша Пьер много раз думал о том, какой переворот в табачном деле могло бы произвести введение тонги, но считал его неосуществимым. Его останавливала необходимость возиться со скучными мелочами, а может быть, и равнодушие, которое охватило его с первыми признаками старости. Костов, главный эксперт фирмы, тоже старел и становился тяжелым на подъем. Пришлось бы в полной тайне и с неослабной энергией так много изучить и проделать. Пришлось бы предлагать сделки, заключать договоры с дотошными и придирчивыми до отвращения немецкими фирмами. А папаша Пьер в конце концов устал от желания нажить побольше денег. Когда человек накопил триста миллионов, его не особенно волнует возможность превратить их еще одним ударом в триста двадцать, особенно если это связано с хлопотами. Да, папаша Пьер уже чувствовал себя усталым, все больше жаждал наслаждаться жизнью, увлекался, подобно своему главному эксперту, рыболовным и автомобильным спортом, влюблялся в молодых женщин. Фирма преуспевала, но работала медленно, тяжело, как мощная и надежная машина, идущая по инерции, и к новым достижениям не стремилась. Папаша Пьер теперь походил на ее надсмотрщика, который спокойно скрестил руки на груди и курит сигарету. Лишь время от времени он подвинчивал гайки, разнося и увольняя директоров, нажимая на рычаги неожиданными приказами районным экспертам, или облегчал ход машины, опуская взятки в карманы государственных деятелей. Но сейчас его охватило острое и давно забытое волнение, аппетит волка, который спит в логове и вдруг чувствует теплый, опьяняющий запах добычи. В поблескивании глаз, в голосе и словах этого юноши было что-то колдовское. Он напомнил старику молодость – те годы, когда сам папаша Пьер обладал такой же упругой, как стальной лук, волей, таким же острым умом, такой же холодной расчетливостью и пламенной устремленностью к власти золота.

Борис говорил о табаке, обнаруживая поразительное знание всех его качеств по районам и околиям. Намекал па необходимость чистки персонала – в фирме надо оставить только энергичных и высокооплачиваемых людей. Предлагал найти более преданных фирме, то есть более бессовестных агентов-скупщиков, которые сумеют распускать в среде производителей ложные слухи и, подрывая таким образом их доверие к другим фирмам, сбивать цены. Предлагал в этом году начать закупки внезапно, в самое рождество, и этим подставить ножку конкурирующим фирмам. Долгие размышления посвятил он и введению тонги. Машины нужно доставить так, чтобы этого никто не заметил. Подобрав людей, их следует обучить втайне. Поскольку этот новый, выгодный способ обработки лишит большую часть рабочих пропитания, можно ожидать стачек и беспорядков. Значит, надо повести энергичную борьбу с левыми элементами, привлечь к тонге внимание правительства, полиции, прессы, патриотических организаций, нанять сыщиков, чтобы выявить на складах и сразу арестовать подозрительных рабочих. И еще много о чем говорил он, излагая свои мысли так ясно и увлекательно, что даже девушки заслушались его.

Папаша Пьер все так же неподвижно, пристально смотрел в его лицо и только время от времени протягивал руку за сигаретой. Какой негодяй, какой тип – умный, проницательный, дьявольски хитрый, полный энергии и безграничных возможностей!.. Не план его ошеломил папашу Пьера. Этот план может удаться, а может и провалиться стараниями конкурирующих фирм. Немцы прежде всего занимаются политикой, а потом уже торговлей, чтобы впоследствии заниматься в первую очередь торговлей, а потом политикой. Они могут временно предпочесть старый метод обработки – широкий настал – тонге, если это даст им возможность более успешно дергать за ниточки какую-нибудь свою марионетку в правительстве или придворной камарилье. Борис не знает, не может знать этого. Но папашу Пьера поразил его дар сразу разбираться в соотношениях многих обстоятельств, поразила энергия, светившаяся в его глазах, его жадность и страсть к наживе. Никакие любовницы, никакая светская суета и распущенность не смогут убить в нем этой страсти, покуда он не устанет. В этом пройдет его настоящая, молодая, полная жизнь. А потом?… Потом ничего. Потом и он, как папаша Пьер, превратится в усталого, старого человека и найдет себе такую женщину, как Зара. Папаша Пьер был твердо уверен, что жизнь людей не может складываться иначе.

Так рассуждал он, глядя на Бориса, и в душе его разливалось некое философское спокойствие, которое освобождало его от лихорадочных судорог жизни, от тягостного ощущения, что с наступлением его старости фирма распадется и алчные гиены растерзают ее тело. Наконец он нашел человека, на которого можно было оставить без тревоги и сожаления золотоносную и могущественную «Никотиану».

Когда Борис закончил, Марии почудилось, будто она пробуждается от сна. Зара смотрела с лихорадочным любопытством то на него, то на подругу. Тут что-то начинается!.. Будет о чем порассказать за чаем ошеломленным приятельницам! Зара расскажет им о том, как Мария случайно увидела его, как ввела его к папаше Пьеру и как этот умный и красивый юноша сумел сразу обделать свои дела. Но она почувствовала и ту особенную горечь, которая всякий раз должна была отравлять ей удовольствие от этого рассказа. Никогда она так ясно не видела, какой силой обладает богатство, никогда не сознавала так остро, как это грустно быть молодой, красивой, вращаться в хорошем обществе и не иметь денег.

Папаша Пьер несколько секунд вглядывался в скатерть, словно обдумывая что-то. Потом протянул руку и положил ее на плечо Борису.

– Да, юноша!.. – сказал он. – Все это чудесно… План ваш превосходен, очень хорошо продуман, однако мы едва ли его осуществит. Немцы – скоты. Сам черт не разберет, что заставляет их работать с одними фирмами и отвергать другие. Но не в этом дело. Для меня важнее, что я открыл вас. Отныне вы будете работать в дирекции помощником моего главного эксперта. Понимаете, что это значит? Раз я говорю, это значит много…

Папаша Пьер закурил сигару и продолжал:

– Завтра я уезжаю в Афины и через две недели снова буду здесь… Это время вы отдыхайте, думайте, работайте, делайте что хотите, но с сегодняшнего дня вы – на жалованье в дирекции «Никотианы». Сегодня же вечером я напишу письмо Костову. Сейчас он носится на своей машине где-то по Швейцарии… Через десять дней он вернется в Софию, и тогда вы ему представитесь с письмом. Он давно уже ворчит, требуя, чтобы я нашел ему помощника. Я вас не знаю, но я привык оценивать людей по их глазам, по тому, как они говорят… А вы смотрите и говорите хорошо, даже когда пытаетесь скрыть свои намерения. Не хмурьтесь!.. Это лишнее, дорогой!.. Я вижу, что именно вы скрываете. Вы хотите вскарабкаться наверх, чтобы завязать международные связи и завести самостоятельное дело. Что ж, хорошо; когда я пойму, что вы до этого доросли, я сам вас поддержу. Но до тех пор никакой игры, никаких подковырок, никаких фокусов за моей спиной… Иначе я вас погублю, лишу вас возможности служить даже обыкновенным мастером в какой бы то ни было табачной фирме!.. Вы меня понимаете? Да, вы умный человек, я вижу, что вы меня понимаете…

И папаша Пьер продолжал говорить о порядочности, энергии и трудолюбии, о наслаждении, которое дарит успех, об умеренной жизни, о том, как это бессмысленно – сорить деньгами… И еще о многом упоминал он, будучи умным человеком и хорошим психологом, хотя необходимость большей части добродетелей, о которых он говорил, он не мог бы подкрепить примерами из собственной жизни.

От волнения на лице Бориса выступили розовые пятна. Мария с грустью поняла, что не она, не помощь, оказанная ею, а только папаша Пьер и «Никотиана» вызвали это волнение. Она знала, что она бесцветна, тускла, как дождливое утро, и ни в ком не может пробудить бурной страсти. Но все же она испытывала какую-то тихую, сдержанную радость, которая делала ее почти счастливой.

– Ваш чай совсем остыл, – сказала она Борису. – Дайте чашку, я налью вам горячего.

Выйдя из дома, Борис почувствовал себя усталым – так велики были и его волнение, и те усилия, с какими он скрывал его от Спиридонова и девушек. Ему показалось, что все вокруг стало мелким и незначительным. Что они такое – и этот двор, и этот склад, и этот стоящий перед входом в ферментационный цех грузовик, с которого сгружают тюки табака? Все это только маленькая, совсем маленькая часть громадного богатства «Никотианы», обладающей миллионами килограммов табака. Здешний директор, мастера, конторские служащие похожи на жалких пигмеев, послушных и раболепных исполнителей тех приказов, которые Борис будет им посылать из дирекции в Софии. Словно какая-то сила подняла его над всем и вся и дала ему неограниченную власть над людьми. Ему почудилось, будто рабочие, толпами выходящие из склада, смотрят на него, подталкивая друг друга и боязливо твердя: «Глянь-ка, вон помощник главного эксперта «Никотианы»! Смотри, как бы он не взял тебя на заметку!» И все это казалось ему невероятным, чудесным. Но в ушах его еще гудел бас Спиридонова, обоняние его еще ощущало запах лаванды, исходящий от платья Марии. Никогда в жизни у него и в мыслях не было, что с ним может случиться нечто подобное. Он готовился долго, упорно и молчаливо карабкаться вверх, а вместо этого сделал вдруг невероятный прыжок и достиг почти самого верха «Никотианы». Впрочем, таким же образом начал и еврей Коэн, который случайно разговорился в вагоне поезда с Кнорром, директором Германского папиросного концерна. После прихода Гитлера Коэн порвал с Германским папиросным концерном, основал собственную фирму и теперь получал миллионы от торговых представительств. Почти так же, в несколько решающих мгновений, сделали свою карьеру армянин Торосян, хозяин «Джебела», и Барутчиев, глава «Восточных Табаков». Все дело в том, чтобы не упустить момента, воспользоваться случаем. И Борис воспользовался им самым блестящим образом.

Рабочие нагоняли его и уходили группами – торопливые, нервные, крикливые. Их говор и стук их деревянных подошв сливались в гнетущий шум. Внезапно Борис услышал позади себя знакомый враждебный голос:

– А вы что?… Все еще околачиваетесь здесь?

Это был директор – толстый, краснолицый, с бритой головой, в светлом спортивном костюме. Борис посмотрел на него с досадой и не ответил.

– Кому говорю?… Если завтра я опять вас увижу, я прикажу сторожу вышвырнуть вас, как тряпку!..

Борис презрительно усмехнулся.

– Вы поняли?… – устрашающе просипел генерал.

И отошел, посинев от гнева, – ведь жизнь приучила его к тому, что люди и дома, и в казарме, и в обществе всегда боялись его; потом махнул рукой и поспешил в пивную «Булаир», где его поджидала знакомая компания.

Немного погодя Бориса нагнал главный мастер Баташский, который по-свойски опустил на его плечо свою большую и потную руку.

– Ты что это?… С хозяином что-то, я гляжу… шуры-муры, а?

– Ничего подобного, Баташский, – сухо ответил Борис.

– Ну да! Ты мне зубы не заговаривай… Пройдоха, каких мало!.. Что ты делал два часа у хозяина? Я все видел с третьего этажа.

– А если видел, так лучше всего тебе помалкивать.

Ухмыляющееся и лукавое лицо Баташского стало вдруг серьезным.

– Ну конечно, никому ни слова, – пообещал он. – Но это, видно, что-то важное, а?… Слушай!.. Мы вдвоем можем неплохо обделывать дела… Одна-две партии товара, комиссионные, то, другое… Понимаешь?

– Хватит язык чесать, – остановил его Борис – Я тебе не пара.

– Э, зелен ты еще… – снисходительно упрекнул его Баташский. – Научишься и этому, но попозже. Хочешь выпьем по стаканчику ракии?

– Не хочу. Иди себе своей дорогой.

– Ладно, ладно!.. Но я тебе всегда помогу… так и знай.

И Баташский неловко обогнал Бориса, приземистый, грузный, в кепке и засаленном, лоснящемся от пота пиджаке.

Сюртук и его семья жили на окраине города, недалеко от гимназии, в маленьком ветхом домике, квартирную плату за который вносили нерегулярно, что служило источником постоянных раздоров между учителем и домовладельцем. Дом был одноэтажный, уродливый, с облупившейся штукатуркой и кровлей, нависшей, как крылья летучей мыши.

Когда Борис вошел в поросший травой и выложенный камнем двор, ему в нос ударил запах помоев, которые вытекали из кухонной раковины и собирались в широкой, застоявшейся луже прямо перед входом. Привыкнув к бедности, обитатели его равнодушно перескакивали через эту лужу, и никто не пытался ее уничтожить. Из всех неудобств этого дома лужа была все-таки не самым неприятным. Прежде чем войти к себе, Борис взглянул на понятую трубу раковины и подумал о том, как тосклива и неприглядна его домашняя обстановка. Мать хлопотала на кухне, а Сюртук, в носках и жилете, растянулся на кровати в комнате Стефана и читал газету. Борис видел его в открытую дверь в обычной позе, знакомой ему с детства: Сюртук, страдавший близорукостью, держал газету у самых глаз, а его длинные ноги лежали на кровати, как перекладины. Высокий, тощий, угрюмый, с плешивым теменем и холодным лицом, он – вкупе с трудными латинскими текстами – на всю жизнь внушал гимназистам отвращение к древности.

Увидев Бориса, он отложил газету и спросил ехидно:

– Ну как?… Принял тебя Спиридонов?

– Принял, – сухо ответил Борис, раздраженный вечной насмешкой в его голосе.

В городе Сюртук славился своим неизменным сварливым высокомерием по отношению к согражданам, другим учителям, гимназистам и даже к собственной семье. Словно все в жизни было пронизано духом мошенничества и мелкого расчета, словно все только о том и думали, как бы его обмануть или пустить ему пыль в глаза, хоть и без всякого толка. Крайний пессимизм Сюртука объяснялся отчасти его бедностью, отчасти презрением к современному миру. Он был убежден, что сильные характеры и гражданские добродетели встречались только в древности. В памяти его хранилось множество величественных событий из истории Рима, которыми он подавлял слушателей в начале учебного года или когда выдавали аттестаты зрелости. Гордость его была уязвлена нищенской жизнью учителя, а величие латинских авторов превращало его в невыносимого педанта. Это был человек неглупый, но искалеченный той системой, которая за жалкую плату заставляла его воспитывать молодежь на добродетелях прошлого. Один примечательный случай доказал всем его классическое понимание гражданского долга: с горестной, по твердой решимостью, которая произвела впечатление даже в министерстве, он сам потребовал, чтобы его родного сына исключили из гимназии за левые взгляды.

Борис вошел в свою комнату и закрыл дверь. Но Сюртука все еще интересовал его разговор со Спиридоновым. Приняв великодушно-примирительный вид, он вошел в комнату Бориса. Хотя Борисом и овладела навязчивая идея стать миллионером, Сюртук все-таки считал его самым разумным из своих сыновей, так как не в пример другим он не увлекался левыми идеями.

– Значит, принял тебя!.. – сказал Сюртук и бросил на Бориса полусочувственный-полуснисходительный взгляд. Остаться без работы плохо, но строить планы обогащения, не имея ни лева в кармане, было глупо и смешно.

– Мы проговорили два часа, – ответил Борис, закурив сигарету.

– Ха!.. – Сюртук снова заговорил насмешливо: – Долго же вы беседовали!..

– Да, долго, – сказал Борис.

Он посмотрел на отца с ненавистью в увидел знакомые старческие желчно-язвительные глаза, в которых бедность и мелочность погасили последний луч надежды на иную жизнь, хоть чем-то отличающуюся от прозябания в жалком и безропотном муравьином труде. Сюртук угадал, о чем думает сын, и лицо его отразило бесстрастие мудреца, неуязвимого для человеческой глупости.

– Я остаюсь в «Никотиане», – сухо произнес Борис.

Сюртук ничего другого не ждал, но все же спросил издевательским тоном:

– Только-то?

– Ты же считал, что и это много, – резко ответил Борис.

– Для тебя – да, – сказал Сюртук.

– Почему? Что я, ни на что не гожусь?

– Ты просто фантазер, – презрительно изрек Сюртук.

– А ты кто? – внезапно ощетинился Борис.

– Я тот, до кого вы никогда не дорастете.

Болезненное самолюбие заставило Сюртука почувствовать печальное и сладостное удовлетворение от своих слов. Он мысленно сравнил себя с добродетельным, но несчастным civis romanus,22 которого боги наказали неблагодарными и дерзкими сыновьями.

– Ты учите лишка!.. – гневно выкрикнул Борис. – Жалкий, ничтожный, свихнувшийся учителишка… Ты нас не выносишь, не можешь даже спокойно разговаривать с нами, потому что ты выжил из ума от бедности, от насмешек, от унижений… потому что все, что тебе осталось, – это надуваться как индюку, кичась своим нищенским жалованьем и медалью, которую министерство повесило на тебя в прошлом году… Вот кто ты!.. И поэтому мы, твои дети, тоже тебя терпеть не можем. Поэтому каждый из нас пошел по своему пути.

– Чтобы стать коммунистами, простолюдинами, рабочими на складах…

– Лучше так, чем быть дураком вроде тебя.

– Замолчи! – взревел Сюртук.

– Молчал я долго… Хватит!

– Я тебя из дома вышвырну!

– А я и без этого ухожу.

– Убирайся сейчас же!

Сюртук вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Комната была почти пустая, с неровными потрескавшимися стенами и низким потолком, который словно давил Борису на душу и убивал в нем радость в течение всего его детства. В ней стояли только простая деревянная кровать, стол, покрытый газетами, и вешалка для одежды. Из маленького открытого окна с железными прутьями и облупившимися рамами тянуло запахом грязной лужи во дворе. Та же бедность, та же доводящая до отчаяния пустота были и в других комнатах. Весь скарб семьи можно было увезти на одной телеге. Расходы на еду, одежду и лечение поглощали учительское жалованье Сюртука. А на покупку самой необходимой мебели денег никогда не хватало.

Оставшись один, Борис опустился на кровать, не переставая думать о «Никотиане». Стычка с отцом не произвела на него никакого впечатления. Подобные ссоры, почти без повода, часто вспыхивали в семье Сюртука. Бедность рождала недовольство и злобу: дети злились на отца, а отец – на детей. Только мать жила в этом доме, словно беспристрастная и немая тень, и ее никто не смел ни в чем упрекнуть.

Из кухни доносился стук тарелок и вилок. Мать накрывала на стол к ужину. Вернулся домой и Стефан. Вскоре все четверо сели за стол в тесной кухне, скованные гнетущим и враждебным молчанием озлобленных друг против друга людей. В этом доме всегда бывали какие-нибудь неприятности, материальные или иные, и они портили настроение всем. Только в тот день, когда Сюртук получил медаль за гражданские заслуги, за столом царило некоторое оживление, и по этому случаю купили вина. Но оживленным был только Сюртук. Его сыновья презрительно смотрели на жалкий кусочек блестящего металла, прикрепленный представителем министерства к потертому лацкану отцовского пиджака.

Мать у них была высокая и худощавая, преждевременно состарившаяся женщина со слегка поседевшими волосами и мелкими морщинками у глаз. Долгие годы героической борьбы с нищетой и несносным характером Сюртука придали ее лицу выражение какого-то покоряющего спокойствия. Только к ней одной латинист не смел придираться беспричинно. Все в доме по-своему, молчаливо и холодно, уважали ее, так как знали, что деньги, которые ей давали на хозяйство, нельзя было тратить разумнее и экономнее, чем это делала она. Так же молчалива и холодна была их любовь к ней. Характер Сюртука действовал угнетающе на всех членов семьи.

Мать разрезала тонкими ломтиками кусок холодной тушеной говядины и разделила их поровну между мужчинами. Себе она оставила только постное – несколько картофелин и макароны.

– А себе? – хмуро спросил Борис.

– Я на диете из-за сердца.

Никакой диеты она не соблюдала, а просто хотела, чтобы мужчины наелись досыта. Борис взял половину мяса, которое дала ему мать, и насильно переложил на ее тарелку. Но он знал, что она все-таки не съест этого мяса, а оставит его на утро – на завтрак Стефану, который исхудал и нуждался в усиленном питании.

Снова наступило молчание. Сюртук ел медленно, важно и как-то торжественно. После столкновения с Борисом он застыл в одиноком величии своей непримиримости. Время от времени он хмурился и поджимал губы – так, без надобности, просто чтобы крепче сковать всех молчанием, ибо ему оно доставляло удовольствие. Стефан опустил свою красивую голову и быстро уплетал мясо, чтобы скорее встать из-за стола и тайком дочитать книгу Ленина, которую он прятал в погребе.

Борис поужинал и закурил сигарету. После недавней ссоры курить в присутствии отца было наглостью.

Мать начала собирать тарелки. Она делала это спокойно, плавно, молчаливо. Она тоже презирала невыносимый характер Сюртука, но мелочные проявления этого характера встречала равнодушным и холодным молчанием. Ее уже ничто не волновало – ни глупая сварливость мужа, ни его расшатанное здоровье, ни самоотречение, с каким он работал столько лот, чтобы содержать семью. Она беспокоилась лишь о том, хватит ли денег до конца месяца, будет ли Стефан и дальше худеть, продвинется ли Борис в «Никотиане» и не увязнет ли Павел в политической борьбе еще глубже.

Стефан вышел из комнаты, бросив приветливый взгляд и кивнув головой только матери. Сюртук вынул из жилетного кармана спичку, старательно заострил ее и принялся ковырять в зубах. Это продолжалось минуты две. Потом он поговорил с женой о каком-то страховом полисе и пошел ложиться спать. Как древние мудрецы, он и ложился и вставал рано.

Оставшись вдвоем с матерью, Борис сказал:

– Сегодня я многого добился.

А она отозвалась:

– За тебя я не боюсь.

– Да!.. – В голосе его прозвучало волнение. – Ты единственная, кто в меня верил. Знаешь, что мне сегодня сказал Спиридонов?

– Нет, – ответила она. А потом добавила, опасаясь, как бы не оказаться чересчур смелой: – Может быть, тебя возьмут на штатную должность в контору?

– Я буду помощником главного эксперта. Понимаешь, что это значит?

Мать не ответила. В глазах ее блеснули слезы.

Следующие дни Борис провел дома, поглощенный с утра до вечера разработкой плана введения тонги, реорганизации закупок и более продуктивного использования рабочих на обработке. Все это он написал в форме доклада, на основе которого Спиридонов потом мог отдать общие распоряжения всем директорам филиалов фирмы. Отдельные нововведения сливались в единый согласованный и Целостный план, направленный к централизации управления фирмой и облегчению надзора за работой местных и филиальных директоров. Таким образом устранялись злоупотребления при закупках табака у крестьян и тайное взимание комиссионных, имевших место, когда директора перепоручали мелким фирмам закупку небольших партий товара. Это позволяло достичь и максимальной производительности труда, и большого сокращения расходов на обработку. Если до сих пор фирма работала по старинке и до некоторой степени даже в «восточном стиле», то теперь Борис предлагал методы западноевропейских предприятий, которые он подробно изучил по немецким руководствам и которые заменяли доверие ответственностью под страхом наказания и автоматическим контролем. После этого Борис взял на складе пишущую машинку и занялся перепиской доклада набело.

– Хочешь, я тебе помогу? – сказал однажды вечером Стефан.

Он уже знал от матери об успехе Бориса.

– Нет, – сухо ответил Борис.

– Я бы мог тебе диктовать.

– Я тебе не доверяю.

– Ты все такой же маньяк, как и раньше.

– А ты нечестный человек.

– Кого же ты называешь «честными людьми»?

– Кого угодно, только не коммунистов.

– А кто эти «честные»?… Торговцы табаком, что ли?

Воспользовавшись раздражением брата, он подошел к его столу и прочел несколько строк из рукописи. Борис заметил это и вскочил как ужаленный.

– Вон из комнаты, подлец!.. – в ярости заорал он.

– Я уже увидел все, что хотел знать, – хмурясь, проговорил Стефан. – Вы вводите тонгу.

Борис вцепился в воротник старой рубашки, в которой Стефан ходил всюду. Ветхая ткань с треском разорвалась.

– Полегче, – сказал Стефан, – у меня другой рубашки нет.

– Ты и этой не заслуживаешь, – злобно прошипел Борис. – А если вынесешь отсюда хоть словечко, я тебя засажу в тюрьму.

Несколько секунд братья смотрели друг на друга, как волки, готовые разорвать один другого. Но вдруг взгляд Стефана уныло погас.

– Пусти меня!.. – с тоской сказал он.

Борис грубо толкнул его к двери.

**IV**

Лучи летнего солнца проникли в комнату Макса Эшкенази, упали ему на лицо и разбудили его. Он попытался заснуть снова, но не смог и по привычке закурил сигарету в постели. Это была последняя привычка, оставшаяся от его прежней жизни.

Он происходил из бедной семьи, принадлежащей к многочисленному и рассеянному по всей Болгарии еврейскому роду. Одни его родственники были жестянщиками, другие банкирами. На промежуточных ступенях – между жестянщиками и банкирами – стояли адвокаты, врачи, раввины и мелкие торговцы, и все они носили фамилию Эшкенази. Место Макса было где-то у подножия этой социальной пирамиды, основание которой образовывали жестянщики, а вершину – банкиры. Он был беден, как жестянщик, и умен, как раввин, а от врачей, адвокатов и торговцев отличался непрактичностью. Вместо того чтобы использовать свои знания для наживы (один богатый и недальновидный Эшкенази дал ему деньги на получение высшего коммерческого образования в Германии), он углубился в изучение Спинозы и Маркса, и страсть к философии снова низвела его до уровня жестянщиков. После того как его выгнали из нескольких предприятий, богатые родственники с сокрушением провозгласили его пропащим интеллигентом. Макс не воспылал к ним ненавистью, ибо считал их нищими духом. Но он возненавидел их грязный, мелочный, торгашеский мир и еще больше полюбил партию, которая послала его на работу сюда.

Теперь Макс был рабочим на табачном складе и ходил по улицам в кепке, дешевой туристской куртке и старых брюках.

Выкурив сигарету, он встал, побрился и сошел вниз, чтобы умыться в хозяйской кухне. Он еще спускался по расшатанной и скрипучей деревянной лестнице, а его уже обдало запахом растительного масла, запахом нечистоплотного и закосневшего в обычаях гетто еврейского дома. Домохозяин Яко был шорником – мастерил седла для крестьян. Старший сын помогал ему в мастерской, намереваясь унаследовать ремесло отца; средний сын работал в мануфактурном магазине какого-то зажиточного родственника в Софии, а младший – еще ребенок – самостоятельно изучал азы торговли, продавая вразнос английские булавки. В семье была и дочь, которую звали Рашелью и считали обузой. Гордость Яко не позволяла ему отдать ее в работницы на табачный склад, как это делали со своими дочерьми самые бедные евреи; но, с другой стороны, он старался тратить на нее как можно меньше. Это была тонкая, бледная семнадцатилетняя девушка с лицом, усеянным веснушками. Она постоянно ходила в одном и том же ситцевом платьишке с цветочками. Яко часто с досадой думал, что за ней придется дать приданое.

Как только Макс вошел в кухню, Рашель в испуге убежала сломя голову, а ее мать, толстая и властная Ребекка, поставила кувшин с водой у лохани, в которой лежали не мытые с вечера тарелки. В доме Яко не было водопровода, так как проведение его потребовало бы лишних расходов. Женщины прекрасно могли носить воду из колонки при синагоге.

– Слушай, мать!.. – сказал Макс на ее родном языке – средневековом испанском языке, испорченном итальянскими и турецкими словами. – Когда же вы наконец проведете в дом воду?

– А нам водопровод не нужен, – равнодушно отозвалась Ребекка.

Когда дело шло об экономии, она всегда соглашалась с Яко.

– Но мне надоело умываться грязной водой, – раздраженно продолжал Макс, заметив, что в кувшине плавает мусор. – В конце концов, и для вас же лучше быть чистыми. Ты знаешь, что очень многие евреи умирают от тифа?

– Знаю, – ответила Ребекка. – Это говорит и доктор Пинкас. Но от тифа еще не умерли ни я, ни мой муж, ни мои дети. А дочь доктора Пинкаса, хоть он и богат, и в доме у него ванна, и много кранов, в прошлом году умерла от тифа.

Макс приготовился прочесть ей краткую популярную лекцию по гигиене.

– Это случайно, Ребекка… – начал он.

– Вовсе не случайно, – быстро прервала его еврейка. – Я знаю от старых людей, что тиф переносится через воду. Если не хочешь заболеть тифом, бери воду из колонки при синагоге – и пей, и мойся. Потому-то у нас и нет водопровода.

Ребекка была не очень уверена в своих словах, но обладала завидным умением вести спор. Макс увидел в ее темных, как у испанки, глазах враждебный огонек, говоривший о готовности к словесному поединку, и нашел, что лекцию по гигиене лучше отложить до другого раза.

– Иди полей мне! – кротко попросил он.

– Не буду я тебе поливать, – возразила Ребекка.

Макс был в тонкой бумажной майке с короткими рукавами. Его руки и грудь, покрытые рыжеватыми волосами, были обнажены, и это-то казалось Ребекке крайне неприличным.

– Глупости! – вскипел он. – Почему ты не хочешь мне полить?

– Потому что я тебе не прислуга.

– Но я никогда и не считал тебя прислугой… Я просто прошу мне услужить.

– Если тебе хочется удобств, оставался бы на работе у банкиров Эшкенази. Тогда ты, наверное, мог бы платить за комнату с краном и фарфоровой раковиной, как у доктора Пинкаса.

Макс вздрогнул.

– Что ты знаешь о банкирах Эшкенази? – спросил он, смутившись.

– Много чего знаю, – враждебно ответила Ребекка. – Ты служил у банкиров Эшкенази, но тебя выгнали, потому что ты стал коммунистом.

– Чепуху городишь… Кто тебе это сказал?

– Раввин.

– Скажи раввину, что он глупый сплетник. Наверное, он меня путает с кем-то другим.

– Нет, он тебя не путает ни с кем другим. Ты коммунист, потому что никогда не ходишь в синагогу… Ты проклятый, изгнанный общиной сын.

– Неправда, Ребекка… Я просто бедный еврей, как и вы. Да разве я бы пошел в рабочие, если бы служил у банкиров Эшкенази? Для этого надо быть сумасшедшим!

– А ты и есть сумасшедший, – мрачно подтвердила Ребекка.

Она подозрительно оглядела его и вышла из кухни, сердито хлопнув дверью.

Макс умылся, отплевываясь от мусора, который лез ему в рот. Умываясь, он задумался об исключенных из гимназии юношах, работающих на складе «Никотианы». Надо хорошенько прощупать Стефана. Этот мальчишка провел несколько смелых операций, которые никак не вязались со слухами об успехах его брата в фирме.

Он вытерся полотенцем и, продолжая думать о Стефане, поднялся в свою комнатку. Пока он умывался внизу, Рашель принесла ему завтрак и поставила его на стол между стопками русских, немецких и французских книг. Завтрак входил в квартирную плату и состоял из чашки молока и куска хлеба. Молоко было разбавлено молочницами и вторично – бережливой Ребеккой.

Съев свой завтрак, Макс отправился в городской сад. Летнее утро было прохладно, в воздухе звучал праздничный колокольный звон. На башне городских часов ворковали голуби. Общинная поливальная машина торжественно поливала главную улицу. По тротуарам шли расфранченные молодые люди, спешившие в городской сад или сосновую рощу на склоне холма над городом. Из газетного агентства внезапно выскочили оборванные ребятишки и, как воробьи, выпущенные из клетки, бросились в разные стороны, громко выкрикивая названия утренних газет.

Макс свернул на обсаженную акациями главную улицу, которая вела к городскому саду. Празднично одетая толпа не пробудила в нем ни малейшего сожаления о прошлом. Только на миг в его сознании всплыла освещенная мастерская, запах масляных красок и древнееврейская красота одной женщины, защищавшей философские основы своего холодного, застывшего в догмах искусства. Видение сразу же исчезло.

Проходя мимо закрытой стекольной лавки, он увидел себя, освещенного солнцем, в зеркале, вделанном в витрину. Былой Макс Эшкенази стал теперь уродливым рыжеволосым человеком в грязной кепке, клетчатой рубашке и обтрепанных брюках. Работа на табачном складе и ночи, проведенные над книгами, состарили его. Лицо похудело, под глазами и около губ появились глубокие морщины. Два месяца назад шайка антисемитов, которая регулярно устраивала засады на евреев, выбила ему передние зубы. Когда он открывал рот, па их месте уродливо зияла дыра. Но вдруг, увидев себя в зеркале, он почувствовал, насколько он выше того мелочного, эгоистичного и самодовольного мира, от которого отреклись его ум и сердце. Даже прекрасное видение женщины, явившееся было снова, застыло как холодный кумир, подобный тысячам других бездушных, никому не нужных кумиров, которых уже перестал почитать его отчаявшийся в бедствиях народ.

Стефан, нервничая, ждал Макса в саду перед фонтаном. Наконец он разглядел в толпе провинциальных щеголей высокую фигуру рыжеволосого тюковщика. Длинные руки Макса казались как-то искусственно прикрепленными к его узким плечам и раскачивались, как маятники.

– Здесь много народу, – сказал Макс – Может, пойдем в рощу?

Стефан взглянул на него с удивлением. Ему показалось, что Макс стряхнул с себя обычную сдержанность и готовится раскрыть свои карты. Они пошли по аллее к сосновой роще. Несколько минут шли не разговаривая. Наконец, измученный молчанием, Стефан проговорил решительно:

– Кажется, ты прав. Фирмы в самом деле готовятся ввести тонгу.

– От кого ты это знаешь? – спокойно спросил Макс.

– От своего брата.

– Он сам тебе сказал?

– Нет. Я прочел об этом в докладе, который он написал. Он очень рассердился, когда заметил, что я его читаю.

– Как же тебе это удалось? – несколько подозрительно спросил тюковщик.

– А так… Нагнулся и прочел несколько строк с риском, что он меня изобьет. Но он только порвал на мне рубашку. Смотри!..

Макс внимательно оглядел ветхую рубашку, которую мать Стефана уже залатала.

– Все понятно, – сказал он. – Они хотят скрыть свои планы.

– Что ты обо всем этом думаешь? – храбро спросил Стефан.

– Думаю, что фирмы заинтересованы во введении тонги.

– Разумеется, – сказал Стефан. – Тонга сокращает расходы на обработку. Но тогда в мертвый сезон рабочие будут голодать вдвое дольше.

Лицо Макса было по-прежнему безучастно.

– Это только на первый взгляд так кажется, – сказал он неожиданно. – Государство готовит закон о страховании безработных. Экспорт наших Табаков в Германию возрастет. Тонга – это более гигиеничная, механизированная обработка. Фирмы будут закупать, обрабатывать и экспортировать больше табаку. Рабочий сезон может удлиниться… Тонга может оказаться полезной и для рабочих. В конце концов, не могут же рабочие восставать против рационализации труда.

– Да, – подтвердил Стефан.

Разговор не привел ни к чему. Макс, довольный, взглянул на покрасневшее от гнева лицо юноши и спокойно закурил сигарету. «Провокатор, – тревожно подумал Стефан. – Этот человек провокатор, агент фирм или полицейский». Но в противовес этому подозрению он сразу же допустил, что Макс, быть может, осторожный и очень опытный товарищ. Его уверенный взгляд и усмешка в глазах подтверждали это предположение. Однако Стефан чувствовал, что он все равно находится в мучительной неизвестности. Все-таки можно было задать Максу еще несколько вопросов. Стефан принялся подготавливать для этого почву.

– Но ты же знаешь, что деньги для страхового фонда государство будет выкачивать опять-таки из карманов рабочих, – сказал он, – тогда как заработная плата не поднимется ни на лев. А пособие – это просто жалкие крохи, которые сейчас отнимают у нас, чтобы подкинуть их нам в голодный сезон. Государством управляют капиталисты, а уж они шагу не ступят, если это хоть на грош уменьшит их прибыли.

– Ты рассуждаешь узко, – возразил Макс.

Их взгляды встретились. Стефан снова увидел в глазах собеседника прежнюю усмешку, смешанную с добродушным лукавством. Но игра становилась утомительной, и Стефан нахмурился. Это, видимо, доставило удовольствие тюковщику.

– Может быть, я сыщик? – усмехнулся Макс.

– Ясно, что нет. Но давай прекратим разведку, ладно?

– Мне кажется, мы уже прекратили, – сказал Макс.

– Тогда будь более искренним.

– А ты говоришь искренне?

– Прости, но я начинаю думать, что ты глуп.

– Ничего, – терпеливо отозвался тюковщик.

– Я тебя сразу раскусил. Ты анархист, который разыгрывает из себя социал-демократа, но это не помешает нам прийти к согласию по некоторым вопросам. Не так ли?

Макс рассмеялся, и, когда рот его открылся, обнаружились плоды подвига антисемитов – дыры на месте выбитых зубов.

– А что ты скажешь о себе? – спросил он.

Серо-синие глаза его вдруг стали серьезными.

– То, что ты, вероятно, уже знаешь, – ответил Стефан. – Я сочувствую коммунистической партии. Работать я начал еще в гимназии. Распространял нелегальную литературу, руководил кружками. Все это обнаружилось, и меня исключили. Впрочем, исключением я обязан отцу. Он учитель латинского языка… Свихнувшийся… косный человек.

– Знаю, – сказал еврей.

– Значит, ты интересовался мной?

– Почему же нет?

– Так ты анархист? – опять спросил Стефан.

– Нет. Продолжай.

– Если ты узколобый фанатик, ты можешь сыграть со мной неприятную шутку, но все равно я буду говорить. Так или иначе, ты по крайней мере не агент фирмы и не полицейский – я так думаю. На прошлой неделе, когда я с тобою встретился у охотничьего домика, я заметил у тебя немецкую книгу. «Ага, – сказал я себе, – человек, который знает немецкий и так разговаривает, не унизился бы до того, чтобы поступить на службу в полицию».

– Возможно и такое, – произнес Макс. – Некоторые интеллигентные рабочие поддались влиянию фашистов.

– Так вот я решил попробовать с тобой поговорить, хоть это и может обойтись мне дорого. Когда меня исключили, я начал агитацию среди рабочих и первого мая прошлого года организовал конференцию в горах. А когда я вернулся, весь первомайский комитет арестовали. Потом начался судебный процесс, и я сидел в тюрьме…

Голос Стефана зазвенел от волнения.

– Это пустяки, – небрежно уронил Макс.

Стефан насмешливо улыбнулся. Тюковщик показался ему слегка самонадеянным.

– Да, это просто пустяки, – сухо продолжал Макс. – В то время в Софии без суда расстреляли троих товарищей.

Стефан вздрогнул. Он стал дышать быстрее и глубже. Загадка, которая мучила его несколько дней, разрешилась. Макс снял кепку, и его рыжие волосы, влажные от пота, заблестели на солнце, как парик из медной проволоки. Спутники сошли с аллеи и углубились в сосновую рощу, шагая по темно-коричневой хвойной подстилке.

– Почему ты обратился ко мне только сейчас? – спросил Стефан.

– Потому что сначала надо было разобраться в некоторых вещах. Давай сядем.

Они растянулись на ковре из сухих сосновых игл. Стефану показалось, что и взгляд, и речь, и движения Макса вдруг приобрели какую-то резкость, требующую подчинения. Но его раздражало, что Макс обратился к нему так поздно.

– Значит, ты во мне сомневался? – с горечью произнес он. – И городской комитет поручил тебе следить за мной?… И ты, может быть, боялся, как бы я тебя не выдал?

Тюковщик дружески похлопал его по плечу.

– Не торопись, парень!.. Ничего я не испугался. Тут дело идет о судьбе тысяч рабочих, а у тебя только и опыта что работа в гимназии. Сомнения мои объясняются осторожностью. После успехов твоего брата в «Никотиане» я в самом деле вправе задуматься над тем, насколько ты устойчив в моральном отношении.

– Хорошо, – сказал Стефан, – Думай!

– Мы ничуть не сомневаемся в твоей теперешней искренности. Но твой брат наконец открыл секрет успеха. Из стажера он сразу превратился в помощника главного эксперта. Чудеса, да и только, правда?… И если, как говорят, все дело в небезызвестной госпожице23 Спиридоновой, то можно ожидать и дальнейших успехов в этом роде. Твой брат может проглотить всю «Никотиану»… Но это предвещает блестящую будущность и тебе.

– Ты думаешь… – начал было Стефан, покраснев от гнева.

– Пока что я ничего не думаю, – спокойно прервал его тюковщик. – Или, точнее, допускаю только один шанс из тысячи, из десяти тысяч… Да, допускаю ничтожную вероятность, что ты нам изменишь. Но когда колесо борьбы завертится, когда тысячи стачечников будут рассчитывать на нас и жизнь десятков товарищей повиснет на волоске, нам придется предусмотреть и эту возможность. Мы – мозг, который руководит всем, и поэтому должны предвидеть все. Ты меня понял?

– Да, – глухо ответил Стефан.

Наступило молчание. В роще слышались только дуновение ветра, шумевшего в ветвях сосен, и далекие веселые голоса из городского сада.

– Что вы думаете делать? – спросил он немного погодя.

Макс помедлил с ответом.

– Мы решили ничего тебе не поручать, – сказал он.

– Но вы меня не знаете… Я ничего не выдал, даже когда агент стал бить меня револьвером по голове.

Голос Стефана задрожал от негодования, в его темных глазах загорелся мрачный огонек.

– Мы знаем, что сейчас ты отличный товарищ, – сказал немного погодя Макс – Решено просто дать тебе отпуск на год. Это не должно тебя оскорблять. Ты можешь употребить это время на работу над собой и подумать о будущем. Мы не секта фанатиков, а организация свободных людей, которые приносят жертвы добровольно. Это тяжелые жертвы. Ты знаешь, чем чревата работа партийного деятеля… Подпольная собачья жизнь, зверские истязания и пуля… Впрочем, пуля – это счастье, если только она у тебя была раньше, чем тебя схватили, или если палач милостиво пускает ее наконец тебе в голову. Вокруг тебя будет кипеть жизнь, а ты будешь пробираться по ней, как скорбная, бледная тень. Ты будешь видеть, как люди любят друг друга, создают семьи, рожают детей, а твоя жизнь будет теплиться, как огонек забытой лампадки. Иногда ты будешь испытывать одиночество, ужасное, надрывающее нервы одиночество… Тогда тебе захочется иметь жену и детей, целовать и ласкать их, радоваться благам, созданным культурой, но будет уже поздно… Разъяренные и обезумевшие хозяева этого мира станут преследовать тебя повсюду. Да, брат, это ужасно… Я наблюдал, как многие товарищи переживали это.

Макс замолчал. Слабый горный ветерок повеял снова, и сосны тихо зашумели. Из сада донеслись звуки военного оркестра, играющего из «Травиаты». Немного погодя тюковщик продолжил:

– Этот год даст тебе возможность проверить свои силы… Если хочешь, иди по следам брата. Там тебя ждут покой и роскошь. Мы не создаем героев насильно. Мы не банда заговорщиков, которая мстит своим бывшим членам. Мы защищаем права всех угнетенных, за нами стоят сердца всех бедняков в мире, а их миллионы. Но если ты устоишь перед искушением, ты навсегда будешь нашим. Тогда ты не будешь страдать от собачьей жизни, от страха перед палачами и от тяжкого одиночества человека без семьи… Тогда весь мир станет твоим отечеством, а партия – твоей семьей.

– Но не слишком ли это – держать меня в карантине целый год? – внезапно прервал его Стефан. – Если я не пойду по стопам Бориса сейчас, я не сделаю этого никогда… Если вы мне не доверяете теперь, значит, никогда не будете доверять.

– Подожди, мальчик!.. – В голосе Макса прозвучала прежняя строгость. – Дело не только в доверии, но и в опытности… Рабочие на табачных складах – это большей частью женщины и девушки. Посмотри, как они, что ни день, бранятся и вцепляются друг другу в волосы! Это наиболее обездоленные рабочие в стране, эксплуатируемые самым безбожным образом. Они в большинстве все еще не сознают своей силы, они ни во что не верят… Хозяевам это, разумеется, на руку. Вот эту озлобленную, отчаявшуюся, темную, бурлящую и еще несознательную массу мужчин и женщин партия должна организовать и подготовить к большой стачке. Но это очень трудное дело… Для этого необходимо изучить условия, выработать методы, действовать осторожно. А это тебе еще не по силам. Ты еще молод. Ты мог бы самое большее руководить агитацией на каком-нибудь одном табачном складе: тогда, если ты сделаешь ошибку, это не сорвет общего плана стачки во всем городе.

– Я останусь на складе «Никотианы», – твердо проговорил Стефан.

Макс отозвался не сразу, задумчиво заглядевшись на вершины сосен, через которые просвечивало глубокое синее небо.

– Оставайся, – сказал он, немного помолчав. – Хорошо, оставайся. Мы будем поддерживать с тобой связь.

Они поговорили еще немного, потом встали и, с наслаждением дыша чистым воздухом, поднялись на вершину холма, поросшего соснами. Время от времени они откашливались, выхаркивая из глубины груди табачную пыль, которой «Никотиана» за неделю забила их легкие. Спускаясь с холма по тропинке, они увидели на шоссе машину Спиридонова, ехавшую к монастырю. Красивое смуглое лицо Зары окутывала вуаль, Спиридонов был в серой кепке и темных очках. Мария и Борис сидели на заднем сиденье и оживленно разговаривали.

Макс сказал с усмешкой:

– Твоему брату везет.

В последующие дни в местном филиале «Никотианы» произошли события, взволновавшие всех рабочих-табачников города. Папаша Пьер отложил свой отъезд в Афины еще на несколько дней, а директор филиала подал в отставку в знак протеста против возвращения Бориса в фирму. Генерал наивно вообразил, что драматические жесты могут волновать торговцев. Но папаша Пьер вопреки всем ожиданиям принял отставку и на место генерала назначил главного мастера Баташского. Тогда генерал многозначительно намекнул на реакцию, которую вызовет этот случай в Союзе офицеров запаса. Но подобные намеки могли только разозлить папашу Пьера, и он подчеркнул, что его фирма не подчиняется офицерам запаса. Событие вызвало бесконечные сплетни в кофейнях, где собирались табачники. Баташский – единственный, кто мог бы пролить свет на ситуацию, – загадочно молчал.

– Не знаю, – важно отнекивался он. – Ничего не могу сказать… Но Борис уже большой человек.

– Чем он занимается сейчас? – спрашивали любопытные.

– С утра до вечера что-то высчитывает.

– Наш-то Сюртучонок, смотри-ка… И все ездит кататься с хозяевами?

– Не знаю. Это его дело.

И Баташский спешил переменить разговор с видом человека осведомленного, но не желающего сказать ни слова больше. Постепенно табачники перестали называть Бориса «Сюртучонком» и даже с отцом его стали здороваться, почтительно снимая шляпу. Латинист, убедившись наконец, что люди действительно считают его сына большим человеком в «Никотиане», начал ходить в кафе и в ответ на поздравления говорил небрежно:

– Я всегда верил в Бориса… Он лучший мой сын.

Молва об успехах Бориса достигла и семейства Чакыра. Однажды вечером, снимая низки табака, он сказал дочери:

– Говорят, Сюртучонок женится на дочери Спиридонова?

– Возможно, – глухо проговорила Ирина.

– Это тебе урок, – добавил полицейский.

Ирина не отозвалась. Она ушла к себе в комнату, но не заплакала. Все ее существо словно застыло в угрюмой и безмолвной твердости.

Когда Спиридонов и Зара уехали в Афины, Мария осталась в доме одна со служанкой, которую вызвала из Софии, а Борис снова ушел с головой в лихорадочную работу. У него созревали все новые и новые идеи. Теперь он стремился оправдать доверие господина генерального директора и удивить его, когда тот вернется из Афин, реальными достижениями и практической проверкой того, что он предлагал ввести во всех филиалах фирмы. И поэтому он на время отложил свои новые планы. Усовершенствования в обработке, против которых бывший директор мелочно боролся только из-за того, что они были предложены Борисом, теперь вводил со свойственной ему грубой энергией Баташский, который спешил показать свое усердие новому заправиле. Борис ввел премии еще для некоторых категорий рабочих. За маленькую надбавку к поденной плате рабочие удвоили свои усилия, и расходы по обработке упали на два процента. Сократив количество поденщиков в других категориях и укрепив дисциплину, Борис снизил расходы еще на один процент. Еще два процента он выжал, уволив всех больных и неумелых рабочих, которые не могли работать наравне с другими. Таким образом, расходы по обработке сократились на пять процентов. Истощенные и отравленные никотином люди выбивались из сил, но закону прибыли до этого не было дела. Среди рабочих началось брожение. Некоторые открыто подстрекали к бойкоту премий. «Выходит, что мы работаем сдельно, – возражали они, – а трудовые законы категорически запрещают это». Но двое из философов, которые так рассуждали, были на плохом счету у полиции, и их сразу же арестовали, пятерых выбросили со склада, а остальные испугались и перестали роптать. Освободив склад от этих толкователей трудового законодательства, Борис обнаружил, что расходы на обработку упали еще на два процента. Итого – целых семь процентов. Теперь уж папаша Пьер мог на деле увидеть первые достижения своего пороге эксперта.

После этого Борис занялся уточнением плана будущих закупок. В его плане было множество новых уловок, которые до сих пор никому не приходили в голову. Гвоздь плана заключался в том, чтобы ошеломить конкурирующие фирмы неожиданными и быстрыми действиями, но было в нем и немало продуманных мер против производителей. План предусматривал увеличение количества тех подкупленных негодяев, которые распускали в деревнях ложные слухи и публично заключали фиктивные договоры на покупку табака по дешевке. Впоследствии фирма по дорогой цене покупала табак у этих обманщиков, но большинство одураченных ими крестьян уступало свой товар по сравнительно низкой цене, опасаясь, как бы он не остался у них на руках.

Пока Борис занимался всеми этими делами, Мария отдавалась музыке. Она играла часами, и звуки ее рояля, сливаясь с гудением вентиляторов, глухо доносились до конторы, где работал Борис. Музыка была то меланхоличная и тихая, походившая на жалобу, то вдруг становилась бурной и страстной, как гневный протест, словно Мария пыталась прогнать этими звуками вечно витавшую над нею угрозу неизбежной гибели. После часов, проведенных за роялем, она выходила из своей комнаты, и Борис видел из окна конторы, как она гуляет одна по лужайке или в саду. И, обладая обостренной способностью проникать во внутренний мир людей, он очень скоро понял, что Мария живет в каком-то своем мире музыки и невеселых настроений, который не имеет ничего общего ни с развлечениями ее среды, ни с грязной и жестокой действительностью склада.

В своем маленьком мирке, оторванном от всего света, она отдалась волнению, которое пробуждал в ней Борис. Это волнение она переживала по-своему, ничем его не проявляя, но наслаждаясь им немного извращенно. То, что она испытывала, было любовью – серой, холодной, нерадостной и подавленной любовью, которую жизнь наконец-то преподнесла одинокой девушке, разъедаемой тоской и неизлечимой болезнью. Она была достаточно умна, чтобы не обманываться, и не воображала, будто этот мрачный и своеобразный юноша тоже любит ее. Но ей было приятно, что он ее хотя бы уважает. Мария тихо радовалась его красоте, его чувству такта, тому, что он явно не собирается использовать ее интерес к нему. Льстецами, которые, бия себя в грудь, изъяснялись ей в своих чувствах, она была сыта по горло. Она знала, что ни в ком никогда не пробудит глубокой страсти, но хотела, чтобы ее по крайней мере не оскорбляли притворством. И чувство, которое она теперь испытывала к Борису, питалось именно его сдержанностью и холодностью.

Однажды утром Мария увидела его через решетку сада, когда он входил в контору, и сделала ему знак подойти к ней. Она шла с книгой в сад. На ней было светлое летнее платье, темные очки и туфли на низком каблуке, надетые на босу ногу. Нос и лоб ее покраснели от солнца. Она не была красива, но казалась нежной и миловидной. Когда Борис подошел к ней, она подала ему руку – сквозь тонкую молочно-белую кожу просвечивали голубоватые вены – и сказала дружеским тоном:

– Вчера мне позвонил по телефону эксперт. Он уже в Софии, и вы можете отвезти ему письмо, которое оставил отец.

– Я думаю, что лучше будет представиться ему, когда ваш отец вернется, – сказал Борис.

– Почему? – спросила она удивленно.

– Потому что господин Костов ничего обо мне не слышал, и я могу показаться ему навязчивым. Неприятно, когда к вам приходит совершенно незнакомый субъект и представляется ни более ни менее как вашим помощником.

– Да, это верно!.. – Мария засмеялась. – Костов довольно своеобразный человек, а папа с этим не считается.

Она задумалась, потом внезапно добавила:

– Послушайте, я могу вызвать его сюда и представить вас… Умно, правда?

– Нет, хватит уж, – быстро проговорил Борис. – Я больше не имею права пользоваться вашей добротой… Полгорода болтает, что своим успехом в «Никотиане» я обязан вам.

Мария покраснела, но быстро справилась со смущением и сказала весело:

– Вот как?… И вы беспокоитесь за свое доброе имя?

– Отнюдь нет!.. Я все равно уже слыву в городе беззастенчивым малым. Дело в вас.

– Обо мне не тревожьтесь, – сказала она. – Костов завтра же будет здесь. Дайте письмо.

Борис вынул письмо из бумажника, глядя ей в лицо с некоторым беспокойством. Впервые Мария прочла в его взгляде волнение, но оно быстро исчезло.

– Рассчитывайте на меня, – заверила она его просто. – И назло сплетням приходите ко мне пить чай.

В благодарность Борис пробормотал несколько сухих вежливых слов. Жилы на его висках сильно бились. Мария пошла к лужайке такая радостная, что даже тихонько запела.

Приезд Костова поверг табачников в новую тревогу. Кто-то опять пустил слух, что «Никотиана» готовится начать закупки «на корню». Баташский опроверг этот слух, но так двусмысленно, что спустя полчаса директора «Джебела» и «Родопского табака» уже помчались на машинах в деревню поднимать на ноги своих агентов-скупщиков. В город они вернулись покрытые потом и пылью и разъяренные напрасной ездой по жаре. Довольный своей местью, Баташский ехидно и нагло ухмылялся вечером в кафе. Ведь директор «Джебела» в прошлом году разыграл его самого подобным же образом.

В это время Костов показывал Марии свою новую американскую машину, купленную в Швейцарии. Он демонстрировал действие ее приборов, включал и выключал фары, объяснял преимущества ее мотора. В его речи и движениях было что-то юношеское, и это забавляло Марию. Костов был высокий пятидесятилетний холостяк с продолговатым румяным лицом, голубыми глазами и серебристо-белыми волосами. Он был в пиджаке из коричневой панамы, светлых брюках «гольф» и великолепных спортивных ботинках. От всей его красивой фигуры веяло неповторимой элегантностью и светским тщеславием, к которым Мария уже привыкла. Ведь он носил ее на руках, когда она была еще грудным ребенком, и вполне годился ей в отцы, но ему было приятно блистать своими светскими талантами даже перед нею.

– Сколько вы заплатили за эту машину? – спросила Мария.

– Четыреста двадцать тысяч, – со вздохом ответил Костов.

– Для вас это пустяки.

– Эх, Мария!.. Ты по-прежнему издеваешься над бедняками.

Мария рассмеялась. Она знала, что папаша Пьер щедро премирует местных директоров двухмесячными окладами, а его главный эксперт получает полмиллиона наградных в год. Но она не знала, что на складе туберкулезные девушки работают за двадцать два лева в день.

– Пора ужинать, – сказала она.

«Бедняк» бросил последний взгляд на свою роскошную машину, в которой его приятельницам из оперы предстояло пережить волнующие минуты за городом. Следом за Марией он направился к дому. Столовая была ярко освещена. Мария приказала служанке приготовить изысканный ужин и даже сама приняла участие в сервировке стола. Костов критически оглядел накрытый стол и почувствовал себя польщенным вниманием Марии. Да, у нее есть вкус, она девушка со стилем. Установив это лишний раз и усевшись против нее, он истово приступил к ужину. К еде господин главный эксперт «Никотианы» был так же взыскателен, как к одежде, автомобилям или своим приятельницам. Некоторые его провинциальные родственники по сю пору ходили в бараньих шапках, а садясь ужинать, подгибали под себя ногу, но сам он был образцом утонченности. Он привез из Софии бутылку какого-то особенного вина, и речь его становилась все более оживленной. Между бифштексом и десертом, состоявшим из орехового торта, который он очень любил, Мария сказала:

– Я прочла в газете, что вы выбраны в Международный комитет по зимним состязаниям в Гармише.

– Да, как же!.. – Главный эксперт «Никотианы» покраснел от удовольствия. – Да, да!.. А ты знаешь, Мария, что этой маленькой честью Болгария обязана графу Остерману, с которым я тебя познакомил в прошлом году?

Мария улыбнулась кротко и ласково. Она знала, что граф Остерман служит в австрийском торговом представительстве. Но она не знала, что граф не очень аристократично потребовал себе тайные комиссионные за табак, который «Никотиана» предлагала представительству. Она знала также, что избрание обязывало Костова истратить самое меньшее полмиллиона на угощения и банкеты в дорогих отелях Гармиша. Но она не знала, что половина рабочих «Никотианы» в обед ест только хлеб с чесноком.

После ужина Костов снова заговорил о приеме, который ему устроили ротарианцы24 в Базеле, о плохом состоянии здоровья Барутчиева-старшего, болевшего туберкулезом, и новых фантастических планах Торосяна, который намеревался основать филиалы своей фирмы в Стамбуле и Кавалле. Костов говорил о Торосяне с некоторой снисходительностью, так как армянин хоть и нажил уже около ста миллионов, но все еще считался выскочкой. Затем Костов, как всегда, пожаловался на переутомление. Настал удобный момент для разговора о Борисе.

– Папа нашел вам помощника, – с безразличным видом сказала Мария.

– Вот как? – Костов быстро заморгал.

Он давно хотел этого, но не находил подходящего человека. Ему нужен был помощник и способный и честный одновременно, а в главных экспертах эти два качества сочетались редко.

– Да, – сказала Мария. – Прочтите это письмо.

Она подала ему письмо папаши Пьера о Борисе. Костов вынул из элегантного футляра очки в роговой оправе и стал сосредоточенно читать письмо. В нем папаша Пьер перечислял достоинства Бориса и категорически приказывал назначить его вторым экспертом фирмы. Он даже положил ему жалованье – тридцать тысяч левов в месяц. Костов сложил письмо и нахмурился.

– Где это чудо? – сухо спросил он.

– Завтра я покажу вам его.

– А ты его откуда знаешь?

– Это я его открыла.

Лицо у Костова стало растерянным и встревоженным.

– Ничего не понимаю, – быстро сказал он. – Объясни мне, пожалуйста.

– Я его открыла, – повторила Мария. – А папа изучил его внимательно и всесторонне… Этот юноша – именно тот человек, о котором вы давно мечтаете.

– Мария!.. – Голос эксперта прозвучал почти укоризненно. – Я знаю, что ты не охотница до случайных флиртов… Я не могу допустить, чтобы какой-то дурак вскружил тебе голову.

– Он не дурак, – сказала Мария с усмешкой. И потом Добавила тихо: – Завтра вы его увидите.

От волнения эксперт закурил сигару, чего ему не следовало делать, так как он страдал легкими приступами грудной жабы. Волнение его усилилось, когда Мария ясно дала понять, что не желает больше разговаривать о Борисе.

– Хотите, я вам поиграю? – спросила она.

– С удовольствием послушаю, – ответил Костов.

Он был музыкален, но сейчас ему совсем не хотелось слушать музыку. Мысли его были поглощены невероятным, ошеломляющим событием, о котором он только что узнал. Он сочувственно смотрел на бледное, малокровное лицо Марии, на ее пепельно-русые, гладко зачесанные назад волосы, на тонкие губы и тусклые глаза. Ее левое веко опускалось чуть ниже правого, левый уголок рта тоже казался слегка опущенным. Движения у нее были быстрые и порывистые. Они отличались какой-то странной, непроизвольной резкостью, как у человека, выпившего много кофе. Что-то в ее нервной системе разладилось, и это можно было скорее угадать, чем заметить. Но Костов, который *знал все,* и угадал и заметил это одновременно. И тогда он подумал: «Бедное дитя!»

Мария начала играть Шопена, но вскоре поняла, что играет плохо. Ее охватило гнетущее, давно знакомое ощущение, что пальцы не повинуются ей. Мелодия плавала в ее сознании, прекрасная и нежная, но то, что выходило из-под ее пальцев, было только сцеплением механических аккордов и походило на невыразительные сухие упражнения, заученные по указке высокооплачиваемых учителей. Она слышала, чувствовала, переживала подлинного Шопена и знала, как нужно его играть, но не могла играть так, потому что пальцы ее не подчинялись, потому что их движения были скованы страшной и все прогрессирующей болезнью. Мария походила на художника с изуродованными проказой, бессильными руками. И, поняв это, она перестала играть, сгорбилась и, закрыв лицо руками, тихо заплакала.

Костов подошел к ней и стал ее утешать, беспомощно твердя:

– Мария, успокойся!.. Все пройдет!.. Осенью тебе сделают последнюю серию уколов, а врачи возлагают на них большие надежды…

Но он знал, что и эти уколы ей не помогут.

На другой день Костов и Борис обошли весь склад, а лотом долго беседовали в конторе. Когда эксперт пришел к обеду, его лицо было сосредоточенно и задумчиво. Он сел за стол, не сказав ни слова. Мария смотрела на него вопросительно.

– Ну?… – спросила она наконец.

Костов вздрогнул, словно вопрос оторвал его от мыслей о Борисе.

– Умный юноша!.. – сказал он сухо. – Многообещающий и безупречно знает дело.

– Только-то? – разочарованно спросила Мария.

– Манеры у него прекрасные, хорош собой, – добавил эксперт, слабо усмехнувшись.

– Только-то? – повторила Мария.

– И холодный как лед, – с неожиданной резкостью проговорил Костов. Потом вдруг добавил: – Что тебе нравится в этом человеке?

– Все! – ответила она тихо.

Костов снова подумал о ее безнадежной болезни. Потом ему показалось, что Марии лучше сойтись с Борисом, чем с каким-нибудь избалованным франтом, из тех, что ухаживали за ней в Софии.

Он уехал на своей машине после обеда.

Под вечер, после короткого колебания, Мария подошла к телефону и пригласила Бориса пить чай. И лицо ее сразу же посвежело, порозовело, стало почти красивым.

День был дождливый. Из открытых окон, выходивших на лужайку, струился запах озона, мокрой земли и полевых цветов. И тогда, в уединении этого дома, в теплой влажности и умирающем свете дождливого дня, то, на что она решилась, показалось ей прекрасным.

**V**

Ирина вышла из дому, взглянула на свои часы и быстро направилась к зданию медицинского факультета. Она опаздывала на практические занятия по анатомии.

Она жила против Зоологического сада в закопченном сером кооперативном доме. Привезя дочь в Софию, Чакыр нашел ей квартиру в семье чиновника. Хозяева, молодые и бездетные, были люди скуповатые и мелочные, но вполне порядочные. Чакыр сразу это понял и согласился на довольно высокую плату, которую они запросили: ему было очень важно устроить дочь в хорошую семью.

Осень началась рано, туманами и дождями. Свинцовое небо почти касалось крыш высоких зданий на бульваре Царя Освободителя, а Витоша, которую так украшали багряные пятна листвы, когда Ирина приехала в Софию, теперь скрылась, окутанная туманами. С севера дул холодный ветер и гнал по бульвару облетевшие желтые листья диких каштанов. По мостовой бесшумно скользили такси и частные машины. Гвардейский взвод с барабаном и трубами, печатая шаг, направлялся к дворцу на смену караула. Подпоручик, который его вел, гордо выпячивал грудь, красуясь в элегантной шинели, и время от времени нехотя оглядывался, чтобы проверить, хорошо ли маршируют солдаты.

Проходя мимо здания ректората, Ирина стала перебирать в уме бесчисленные ответвления тройничного нерва и челюстной артерии, это были излюбленные темы главного ассистента, по которым он гонял студентов на занятиях. Она делала это отчасти по необходимости, отчасти – чтобы заглушить притупившееся, но постоянное чувство тоски, безнадежности и пустоты, которое ее изматывало. Как отличалась жизнь в Софии от той, которую она себе представляла!..

Медицинский факультет был расположен в старом, темном и мрачном здании, а из его подвала, в котором находились залы анатомического театра, несло зловещим запахом карболки, трупов и формалина. Ирина сняла пальто и надела чистый белый халат.

Всякий раз, как она это делала, она вспоминала свой первый приход в анатомические залы. Это был настоящий лабиринт мрачных помещений с двумя десятками столов, на которых лежали серо-коричневые трупы, покрытые белыми простынями. Над каждым столом висела лампа с рефлектором. Студенты-новички тогда замерли, потрясенные скорбной неподвижностью трупов. Под простынями угадывались очертания голов и ног; кое-где из-под простыни высовывались ступня или пальцы руки. Как много мертвецов!.. Неужели все эти бедняки, брошенные своими близкими или проданные за ничтожную сумму медицинскому факультету, были когда-то людьми, которые радовались, любили и ненавидели! Студенты испуганно озирались и разговаривали вполголоса. Одну девушку стошнило. Ирина испытывала давящее ощущение хрупкости жизни и силы смерти.

Но теперь она уже свыклась с этим чувством и, входя в зал равнодушно поздоровалась с молодым ассистентом. Ассистент, еще новичок, изучал материал вместе со студентами и легко смущался. Студенты, пользуясь этим, шутки ради задавали ему вопросы относительно несущественных тонкостей из области анатомии, предварительно прочитав о них в каком-нибудь объемистом учебнике, Главный ассистент, напротив, уже успел набить свою память всеми этими сведениями. Он мог два часа подряд рассказывать с мельчайшими подробностями о костях пяты и обнаруживал ошеломляющие знания в области кровообращения. Но, усвоив эти тонкости науки, он начал с молчаливым садизмом истязать ими студентов. Лицо его, иссушенное изучением анатомии, было всегда меланхоличным. Он в точности исполнял распоряжения своего шефа, проводил коллоквиумы со скрупулезностью будущего доцента, а на экзаменах вспоминал, кто посещал практические занятия регулярно, кто нет, и коварно мстил последним.

Ирина направилась к столу, у которого над трупом работали студенты ее группы. Эта группа состояла из трех человек и была не слишком сплоченной. В нее входили Ирина, которую все считали надменной, шумный Чингис, признанный оратор «левых» своего курса, и Бимби, приятный, спокойный юноша, предпочитавший флиртовать, вместо того чтобы терять время на ученье или политические распри. Элегантность Бимби бросалась в глаза. Это был красивый, хорошо сложенный белокурый юноша; он всегда носил дорогие костюмы и шелковые рубашки и каждый вторник посещал премьеры фильмов в кинотеатре «Рояль» вместе с какой-то не особенно привлекательной немкой. Чингис был небольшого роста, широкоплеч, грубоват, с черными как смоль волосами и монгольскими чертами лица, за что его и прозвали Чингисом.

Когда Ирина подошла к столу, Бимби в приступе необычайного усердия препарировал голову трупа, а Чингис, нагнувшись, тревожно следил за движениями его скальпеля.

– Стой! – сердито крикнул Чингис – Рассек мандибулярный отросток тригеминуса!.. Тычешь руками, как неуклюжая баба… Самое большое, что из тебя выйдет, – это терапевт или психиатр.

Бимби отложил скальпель и виновато усмехнулся.

– Ты что, не знаешь, что между птеригоидными мышцами проходит мандибулярис? – отчитывал его Чинше – Это идиотство – браться за нервы и кровеносные сосуды, когда ты еще не знаешь мышц! Только препарат испортил.

Бимби вышел в коридор покурить. Он еще не выучил не только мышц, но даже костей.

– Выдерни у себя волос, – сказал Чингис Ирине. – Дергай сильней, но осторожней, прическу испортишь… Вот так! Давай его сюда.

Чингис ловко связал концы перерезанного нерва волосом, который подала ему Ирина.

– Теперь читай! – сказал он.

Ирина открыла учебник и начала читать вслух, но вскоре стало ясно, что выучить им ничего не удастся. За соседними столами болтали и смеялись. Следующий день был днем университетского праздника, на котором медики обычно затмевали своими подвигами даже студентов юридического факультета. И они уже сейчас пришли *в* буйное настроение. В зале, ярко освещенном рефлекторами, стоял шум и гвалт, раздавались выкрики, хохот, и зал этот походил на пещеру, в которой пируют людоеды. Главный ассистент вышел, и студенты, пользуясь его отсутствием, стали гоняться друг за другом между столами.

– Смотри! – сказала Ирина. – Это уже ни на что не похоже!..

– Да! – Чингис важно нахмурился. – Никакого уважения к человеческой плоти… И потому завтра они станут не врачами, а всего лишь торгашами.

Чингис снова принялся препарировать.

– С кем ты будешь на празднике? – спросил он немного погодя.

– С корпорацией, – ответила Ирина.

Она еще не решила, с кем будет, но ответила так умышленно. Корпорация объединяла студентов, которые в какой-то мере были политически нейтральны. Но Чингис не мог переносить равнодушно даже их.

– Значит, ты окончательно связалась с ними? – спросил он, сердито глядя на Ирину.

– Да, – сухо проговорила она.

– С этими межеумками, которые заботятся только о своем спокойствии?… – Чингис враждебно расхохотался. – А на будущий год, вероятно, наберешься смелости и запишешься в «Братство».25

– Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. – В голосе Ирины послышалось раздражение. – Ты невыносим!..

Чингис неожиданно заговорил миролюбиво:

– Я хочу, чтобы ты записалась в «Братство» и своими глазами увидела, какое оно мерзкое. Тогда ты сама придешь к нам.

– Этого не будет никогда.

– А я надеюсь, что будет. – Чингис взглянул на нее своими зоркими монгольскими глазами. – Если только ты не найдешь богатого мужа.

– Хватит тебе заниматься мной! – взорвалась Ирина.

С досадливой гримасой она стала укладывать портфель. С этим Чингисом нельзя было сказать двух слов, чтобы не столкнуться с политикой и не выйти из себя.

Главный ассистент все еще не вернулся, а суматоха в зале нарастала, поэтому Ирина направилась к выходу. Но Чингис остановил ее.

– Дай мне на два дня твой учебник, – сказал он без всякого заискивания. – Конечно, если ты сама не будешь заниматься…

Ирина вытащила второй том учебника по анатомии и подала ему вместе с хорошим немецким атласом. Черные глаза Чингиса засветились от удовольствия. Он был очень беден, денег на учебники у него не было, и по вечерам, когда другие отдыхали или занимались, он работал кельнером в ресторане. Ирина вышла, не попрощавшись с ним, но Чингис, поглощенный атласом, не заметил этого. Бимби курил в коридоре, лениво поглядывая на расшумевшихся студентов. Формально он числился в «Братстве», но не принимал участия ни в бесчинствах, ни в замыслах этой организации. Не было смысла рисковать своими костями в драках с коммунистами. Это делали только глупцы, которым стоило пообещать службу в Софии или бесплатную поездку по Германии, и они готовы были оглушить мир своим патриотизмом. А он нашел гораздо более легкий способ добывать деньги, вести светскую жизнь и путешествовать за границей в одиночку, а не с шумными группами туристов из простонародья.

Он окинул своим прищуренным, чувственным и всегда каким-то сонным взглядом высокую фигуру Ирины. Вот девушка, с которой можно показаться всюду. Чудесные ноги, матовый цвет лица, высокий лоб, тонкий профиль, носик с горбинкой, а волосы, уложенные валиком вокруг головы, отливают тяжелым, металлически-черным блеском.

Пока Бимби разглядывал ее, Ирина подошла к раздевалке и сняла халат. Ее разозлили и слова Чингиса, и столпотворение в зале, и неспособность молодого ассистента утихомирить студентов. Гнев ее слился с тяжелым чувством пустоты и одиночества, которое терзало ее постоянно. Прошло два года после разрыва с Борисом, но рана в ее душе не заживала. Ирина была слишком горда, чтобы показать, что страдает, слишком пламенна, чтобы примириться, и слишком ревнива, чтобы простить ему. Так она подавляла в себе постоянный хаос боли, горечи и раздражения, любви и задетого самолюбия, который заставлял ее замыкаться все больше и больше.

Пока она надевала пальто, как всегда погруженная в свои горестные размышления, к ней подошел Бимби. Ей стало неприятно. Он и раньше необъяснимо раздражал ее своей ленью, своими прищуренными сонными глазами. Сейчас она сразу же отбила у него охоту любезничать, обдав его холодным вопросительным взглядом, но вдруг раскаялась. Чем виноват этот юноша? И до каких пор она будет отталкивать и беспричинно ненавидеть людей? Весь курс уже считает ее девушкой с неприятным и нелюдимым характером.

– Ты идешь? – спросила она приветливо, делая вид, что готова подождать его.

– Да, – ответил Бимби, не долго думая.

Он еще не собирался уходить, но быстро оделся и, когда они вышли в полуосвещенный коридор, вежливо спросил:

– Ты пойдешь завтра на торжественное заседание в театр?

– У меня нет билета, – ответила она.

– Я могу взять для тебя билет в «Братстве».

– Нет. Я не хочу пользоваться услугами «Братства». Бимби улыбнулся и сразу же нашел другую возможность.

– Часть приглашений рассылается посольствам, – сказал он. – Одна моя знакомая работает в немецком посольстве… Сядем с ней в ложе, а плебс пусть толчется в партере.

Ирина посмотрела на него немного удивленно.

– Твоей знакомой мое присутствие может показаться неприятным, – сказала она.

– Не беспокойся. Фрейлейн Дитрих очень милая женщина. Я как-то раз даже говорил ей о тебе.

– По какому поводу? – спросила Ирина.

– Я сказал ей, что у нас есть одна очень способная студентка, которая заслуживает стипендии в Германии.

Ирина улыбнулась. Перед тем как начать флирт, Бимби пытается подкупить ее. Глуповатый, но безобидный и добродушный малый.

– Спасибо, – сухо сказала она. – Я подумаю.

– О чем тут думать? – возразил Бимби. – Знакомство с фрейлейн Дитрих может оказаться очень полезным для тебя.

Они расстались, уговорившись встретиться на другой день перед торжественным заседанием.

Ирина пошла домой. Тяготившее ее чувство одиночества и пустоты ослабело. Перспектива легкого приключения с Бимби показалась ей не такой уж неприятной. Он красив, у него хорошая спортивная фигура – недаром он регулярно ходит на лыжах.

Ветер перестал дуть, и на город опускался серый, осенний туман. Было холодно и сыро, но тихо. По случаю какого-то праздника, в который ремесленники не работали, на улицах толпились подмастерья, подручные, мальчики на побегушках. Они крикливо дразнили друг друга, жевали вафли или важно прохаживались в обнимку. Грустно было смотреть на этот мелкий, огрубевший и бесправный мирок, на этих пришедших из деревни маленьких людей, которые стояли на низшей ступени общественной лестницы и не имели другого будущего, кроме тяжкого труда, и другой радости, кроме шатанья по улицам в праздник. Над серыми зданиями вились стаи ворон, В тумане звонил трамвай. Из какого-то дешевого танцевального зала, куда сходились проститутки и нередко заглядывали студенты, доносилась скверная джазовая музыка.

Ирина вошла в свой дом. В комнате ее было натоплено. Из столовой слышался говор хозяев. Они вели однообразную жизнь, беседовали только о еде, покупках или каких-нибудь домашних делах, время от времени ходили в кино и ждали от кого-то маленького наследства, на которое муж задумал купить себе охотничье ружье, а жена – меховое пальто. Он работал в немецкой фирме, был ревнив, сам ходил покупать продукты, а жена, тяготясь его скучным характером, втайне презирала его, но не смела ему изменить.

Немного погодя в комнату вошла хозяйка и, глядя на Ирину полными любопытства глазами, сказала:

– Полчаса назад тебя спрашивал какой-то курсант, фельдфебель.

– Курсант-фельдфебель? – переспросила Ирина.

– Да, высокий русый парень, красивый… Вот с этакими плечами!

И женщина в восхищении показала руками, какие у парня плечи.

– Это, должно быть, мой двоюродный брат, – сказала Ирина. – Немного простоват, да?

– Нет, напротив!.. Разговаривал очень хорошо. Оставил тебе записку.

Ирина знала, что, окончив гимназию, Динко поступил в школу офицеров запаса. Но с тех пор она его не видела. При мысли о нем она вспомнила своих навязчивых родственников из отцовской деревни – по субботам они приезжали на базар в город, и тогда во всем доме воняло чесноком. У отца они останавливались не столько по бедности, сколько из скупости, чтобы не тратить нескольких левов на постоялый двор. Так же раздражал ее и Динко. В гимназию он ходил в одежде из грубого домотканого сукна и царвулях, с пестрядинной торбочкой через плечо, в которой носил учебники. Но она не сознавала, что одежда и говор сельской родни раздражали ее больше, чем их скупость и добродушная навязчивость.

Ирина развернула записку. Динко писал, что завтра после обеда зайдет повидаться, и просил Ирину пойти погулять с ним. Она почувствовала раздражение, но решила согласиться.

Фрейлейн Дитрих была длинной как жердь, с водянистыми глазами и загорелым от лыжного спорта лицом. Этот зимний загар, отсутствие грима и элегантная простота, с какой она одевалась, только и спасали ее от несчастья быть совсем уж безобразной. Она походила скорее на хорошо оплачиваемую машинистку немецкой фирмы, чем на служащую посольства. В этот день на ней была маленькая шляпка, широкое пальто из светло-серой ткани и туфли на каучуковой подошве, с низким каблуком. На пальто у нее поблескивала маленькая свастика – знак мессии, который вознамерился расселить сверхчеловеков по всему свету.

Ей было около тридцати лет, она пыталась лопотать по-болгарски, а когда Бимби представил ей Ирину, она сразу приняла вид светской женщины, которая отлично знает, как надо держаться в обществе. Познакомившись с Ириной, она сейчас же заговорила о погоде, словно опасаясь, как бы ее не сочли слишком молчаливой и скучной, пожаловалась на то, что еще нет снега, и наконец предложила отправиться в театр. Ирина вскоре поняла, что фрейлейн Дитрих, несмотря на свое умение одеться со вкусом, не была пли, во всяком случае, не заслуживала того, чтобы быть более важной персоной, чем обыкновенная канцеляристка, которой случайно достались приглашения, не использованные в посольстве. Пока они шли к театру, Ирина два раза встречалась с ней взглядом. Глаза у немки были какие-то пустые, и вместе с тем в них отражалось упрямство, которое, наверное, раздражало ее начальников. Глаза эти смотрели пристально, были холодны и неподвижны, как глаза саламандры.

Театр быстро наполнялся народом. В ложе Ирина и фрейлейн Дитрих сели на передние места, а Бимби позади них.

Первые ряды партера были заняты профессорами, прибывшими па торжество со своими почтенными супругами. За ними в строгой иерархии следовали ординарные доценты и приват-доценты, многочисленная когорта ассистентов и представителей корпораций с внушительными гуннскими наименованиями. Профессорские жены смотрели прямо перед собой с бесстрастной серьезностью мумий или негромко разговаривали об астмах, диабетах и почечных расстройствах своих именитых супругов, чей блеск они отражали бледным светом, будто кроткие луны. Многие профессора, перессорившись из-за каких-то доцентских выборов, не здоровались и враждовали друг с другом не на жизнь, а на смерть; иные, наоборот, составляли несокрушимую фалангу на всю жизнь. Ассистенты кланялись доцентам, а доценты профессорам. Неписаный устав университетской иерархии гласил, что тот, кто хочет подняться по ее ступенькам, должен со смирением и покорностью год за годом выражать свою верность шефу, который милостиво приютил его.

Прибыл ректор в сопровождении свиты стареющих, но полных академической энергии деканов, потом министры и, наконец, монарх в штатском. В то время как профессура приветствовала его рукоплесканиями, а представители гуннских корпораций кричали «ура», сидящие на балконе второго яруса принялись дерзко скандировать хором: «Да здравствует просвещение!» – и хор этот звучал все громче. Тут уже нельзя было свалить вину па коммунистов – «Братство» вообще не пустило их в зал. Нетактичную выходку позволили себе члены Земледельческого союза.26 Выразив свою горячую любовь к просвещению, они тем самым дали понять, что к царю они относятся враждебно и неприязненно. Несколько плешивых деканских голов смущенно склонились одна к другой, но монарх сам нашел выход из неловкого положения, поспешив усесться в своей ложе.

Когда Ирина, Бимби и фрейлейн Дитрих выходили из театра, послушные беспартийные студенты из корпораций «Крум», «Кардам» и «Тервел»27 под командованием сильных личностей из «Братства» торжественно выстроились шпалерами, между которыми прошел монарх, приветствуемый овациями. В это время на соседних улицах коммунисты и полиция играли в кошки-мышки. Коммунисты то мгновенно рассеивались, то быстро собирались снова, но освистать монарха им так и не удалось.

Однако суматоха и мчавшиеся вскачь конные жандармы произвели неприятное впечатление па фрейлейн Дитрих.

– У вас, очевидно, много коммунистов, а? – проговорила она с упреком, когда они пошли по тротуару.

Бимби постарался уверить ее, что это только так кажется. Есть маленькие группы, которые поднимают большой шум.

– А правительство почему с ними не расправится, а?…

Бимби ответил, что расправится в будущем. К каждому своему вопросу фрейлейн Дитрих добавляла в конце фразы это «а?», которое выражало то снисходительность, то нетерпение, то капризное кокетство раздражало даже Бимби. Он знал, что в Берлине таким же манером жеманятся кельнерши и продавщицы в колбасных. Ирина решила, что образование у фрейлейн Дитрих скудное, а характер упрямый и не очень приятный. Бимби предложил проводить ее до дома. Немка снимала квартиру в довольно красивом доме на улице Аксакова. Прощаясь, она подала Ирине руку и сказала, глядя ей в глаза:

– Я буду ждать вас в гости в субботу, а?…

Но Ирина отказалась под предлогом занятий в университете. Фрейлейн Дитрих гневно стрельнула в нее глазами саламандры. Всем своим видом она показывала, что сердится, потому что напрасно потеряла из-за Ирины полдня.

Когда они шли обратно к бульвару Царя Освободителя, в воздухе порхали снежинки. Ирина смотрела на них с чувством душевного просветления. Знакомство с фрейлейн Дитрих словно освободило ее душу от какого-то смутного волнения, которое возбуждали в ней красивое лицо и высокий рост Бимби. Не приходилось сомневаться, что с немкой его связывала не просто тесная дружба.

– Не надо было отказываться!.. – хмуро проговорил он, пройдя с десяток шагов молча.

– Почему? – насмешливо спросила Ирина.

– Потому что, во-первых, это было невежливо… И во-вторых, от фрейлейн Дитрих ты могла бы многое получить. Но ты не умеешь пользоваться случаем.

– Может быть, не хочу, – поправила его Ирина.

– Тогда это просто глупо. Почему не хочешь?

– Потому что она необразованная и высокомерная женщина. Я не вижу никакой пользы от дружбы с ней.

– Ошибаешься!.. – Бимби нервно закурил. – У нее большие заслуги в национал-социалистском движении. Ее расположения жаждут даже секретари посольства. Через нее ты можешь войти в очень хорошее общество. И потом… Что бы ты сказала, если бы она нашла тебе работу, которую ты могла бы выполнять наряду со своими занятиями?

– Какую работу?… – недоуменно спросила Ирина. Например, корреспондентки какой-нибудь газеты.

– Но я плохо знаю немецкий.

– И не нужно знать… Просто она будет давать тебе темы, интересующие немецких читателей. Ты собираешь сведения, потом излагаешь их по-болгарски в форме статьи. Дальнейшим ты не интересуешься. Фрейлейн Дитрих заботится обо всем остальном.

– И ты называешь это корреспонденцией?

– А чем же еще?

Ирина не ответила.

Из груди Бимби вырвался едкий, преувеличенно громкий смех.

– Та-ак!.. – сказал он. – Вот к чему привели глупости, которыми Чингис регулярно забивает тебе голову… По-твоему, если я напишу статью о Рильском монастыре и опубликую ее в каком-нибудь немецком журнале или если я восхищаюсь немецкой культурой и считаю немцев нашими естественными союзниками, это значит, что я немецкий агент… Так, что ли? Прошу тебя, не теряй чувства меры и подумай, о чем, собственно, идет речь. Коммунисты видят предателя в каждом, кто хорошо одевается и дружит с немцами… А может быть, как раз такие, как Чингис, те, что больше всех болтают языками, они-то и есть платные агенты Советского Союза.

Ирина опять не ответила. Она только вспомнила, что Бимби проживает самое малое десять тысяч левов в месяц, а у Чингиса иногда нет денег, чтобы внести плату за семестр, и по вечерам он работает в дешевом ресторане.

– До свидания!.. – внезапно произнес Бимби.

Раздраженный молчанием Ирины, он сухо подал ей руку. Ирина почувствовала угрызения совести. За вуалью снежинок, которые сейчас падали быстро и густо, лицо Бимби горело, искаженное злостью.

– Постой, – сказала она покаянным тоном и задержала его руку. – Ты обиделся. Мне это очень неприятно.

– Пустяки. Тебя утешат твои красные приятели.

– Глупости болтаешь! Нет у меня никаких приятелей, а тем более красных.

Бимби все еще притворялся горько обиженным, но слова Ирины его тронули.

По бульвару проходили шумные группы студентов из корпораций с гуннскими названиями. Они возвращались после того, как долго стояли шпалерами, до хрипоты крича монарху «ура». Студенты были в красных фуражных с трехцветными лентами. Тем не менее конные жандармы смотрели им вслед враждебно и подозрительно: ведь такие же фуражки, хоть и без лент, иногда носили для маскировки коммунисты. Одна фашистская группа из корпорации «Хан Кардам» вместо знамени изготовила себе из конского хвоста бунчук в древнеболгарском стиле. Но пальму первенства во всей этой безвкусице держала казенная организация патриотов: справа и слева от ее знамени шагали студенты в изношенных зимних пальто и с жалкими ржавыми шпагами. Бимби и то стало стыдно, когда он увидел это убогое подражание немецким студентам. Зрелище было и обидное, и жалкое, и смешное, но в «Братстве» далеко не всех смущала нелепица.

– Что ты делаешь сегодня вечером? – спросил Бимби, отворачиваясь от шутов со шпагами.

– Не знаю еще, – ответила Ирина, – но мне хочется куда-нибудь пойти.

Бимби победоносно взглянул на нее. Опыт в отношениях с женщинами был у него очень велик, но чрезвычайно однообразен. Поэтому он с уверенностью заключил, что Ирина не прочь сдаться.

– Пойдем со мной в «Болгарию», – важно предложил он. Затем добавил с ядовитой насмешкой: – Если ты не боишься себя скомпрометировать.

– Пойду с удовольствием, – сказала она. – И будь уверен, что скомпрометировать меня не может ничто.

Ирине давно хотелось пойти в «Болгарию», но было не с кем, так что предложение Бнмби обрадовало ее. Однажды вечером, возвращаясь с хозяевами из кино, она увидела перед этим рестораном длинную черную машину с лимонно-желтыми фарами, из которой вышла молодая пара. Бледная пепельно-белокурая женщина куталась в каракулевое манто; казалось, она излучала мягкое жемчужное сияние. Может быть, эти двое сегодня вечером опять приедут в ресторан. Какое-то болезненное, насыщенное горечью и страданием любопытство внушало Ирине желание посмотреть на Марию вблизи.

Ирина и Бимби наскоро пообедали в закусочной «Хэш». Там уже буйствовали самые отчаянные молодчики из корпорации «Хан Крум», чтобы успеть протрезвиться и снова напиться вечером. Это был дикий, легко воспламеняющийся сброд с разных факультетов, и випо взвинтило их патриотические чувства. Собутыльники вели ожесточенный спор о том, как провести вечер. Те, что посмелее, жаждали выбить окна в югославском посольстве, а другие, более умеренные, предлагали ознаменовать праздник только еврейским погромом и налетом на синагогу. Но посольство и синагогу бдительно охраняла полиция, так что все, как обычно, должно было завершиться сокрушением беззащитных витрин.

Вернувшись домой, Ирина увидела, что Динко уже сидит и пьет кофе с хозяевами. Двухлетнее пребывание в школе развило его и без того сильное тело. Он был высоченного роста и осанкой напоминал мощного, ловкого боксера. Ирина скользнула взглядом по его коротко остриженным волосам, римскому, как у Чакыра, профилю, светло-зеленым глазам и могучим рукам, которые, казалось, могли свернуть шею волу. Военная форма очень шла ему. Динко и в самом деле стал красивым юношей, но в нем все еще оставалось что-то раздражавшее Ирину. Кожа на его шее покрылась густым загаром. От его острого взгляда и полных, крепко сжатых губ веяло неколебимым упорством, которое казалось Ирине мужицким и грубым. Трижды Чакыр избивал его до полусмерти за то, что он приносил в дом нелегальную литературу, и трижды Динко одерживал победу над своим властным самодуром-дядей, продолжая читать запрещенные книги у него под носом. Наконец Чакыр махнул рукой и предоставил племяннику свободу. Упрямство Динко проявлялось и в той навязчивости, с какой он был влюблен в Ирину еще с гимназических времен. Сейчас она снова вспомнила об этом, и ее неприязнь к двоюродному брату обострилась.

– Как ты вырос!.. – все же сказала она, похлопав его по плечу.

Они посидели немного с хозяевами, потом вышли из дому и решили заглянуть в кино.

Мостовая и тротуары побелели от снега. Ирина почувствовала нелепую досаду при мысли о том, что знакомые студенты могли увидеть ее с таким спутником. Но вскоре ее досада уменьшилась – даже элегантные дамы, проходившие по улице, заглядывались на Динко и с лукавой, чуть заметной улыбкой скромно опускали голову. Ирина подумала, что, может быть, с виду он не такой мужлан, как ей кажется.

– Это что за значок? – спросила она, показав на розетку на его шинели.

– Награда, – равнодушно ответил он. – И окончил школу третьим по успеваемости.

– Браво!.. Окончил, значит… И что же ты думаешь делать дальше?

– Мне предложили поступить в военное училище, но я отказался.

Он посмотрел на нее насмешливо.

– Так я и думала, – сказала она, нахмурившись. – Ты всегда был строптивым.

Динко вдруг посерьезнел и сухо возразил:

– У меня есть принципы, от которых я не могу отступить. Я никогда не буду служить олигархии.

Некоторое время они шли молча, так как тема была опасная и могла вспыхнуть ссора. К пропасти, которая разделяла их с детства, прибавилась разница в убеждениях. В какой-то степени Ирина даже жалела Динко. Он впитал в себя глубоко враждебное ей мировоззрение. Но ей казалось, что его поступки объясняются каким-то первобытным крестьянским упрямством, которое доведет его до того, что он рано или поздно свернет себе шею. Только хладнокровие и быстрая сообразительность спасали его до сих пор от стычек с полицией. Военное училище было единственной дорогой, которая могла бы вывести его из низов, но он от нее отказался.

– Тогда зачем ты согласился учиться в этой школе? – раздраженно спросила Ирина.

– Потому что школа дает военные знания, – ответил он. – Крупная буржуазия скоро дойдет до вооруженного конфликта с рабочими и крестьянами-бедняками… Я должен подготовиться к нему.

– Это что же, в книжках ваших предсказано?

– Да, предсказано.

– А почему бы тебе не усовершенствоваться в военном училище? – все так же раздраженно спросила она.

– Потому что мне хватит тех знанпй, которые дала школа. Из военного училища выходят только лакеи монарха.

– Ты, наверное, воображаешь, что его величество так же глуп, как и вы?

– Он не только глуп, – ответил Динко, – но туп и жесток. И поэтому его трон уже давно расшатывают заговоры, возникающие в самой армии.

Они спорили еще несколько минут. Ирина покраснела от гнева. Он знал ее отношение к царю и мог бы по крайней мере говорить о нем вежливо, чтобы не раздражать ее. Однако, упрекая Динко, она забыла, что кости его отца, убитого на войне, лежат где-то в лесах Албании.

– И что же ты собираешься делать? – спросила она, примирившись с его глупостью.

– Стану сельским учителем в Средореке.

– И будешь растить маленьких коммунистов? Так, что ли?

Он усмехнулся:

– Да, маленьких, твердых, как орешки, коммунистов… которые потом станут большими.

В кино все билеты были проданы. Ирина и Динко вышли на улицу и остановились на тротуаре. Снег все шел и ложился толстым пухлым ковром, по которому уже скользили сани.

– А теперь что будем делать? – спросила Ирина.

– Можно погулять по парку, – ответил Динко. – Смотри, какой снег!.. В такую погоду хорошо отправиться в лес по дрова.

– Вот станешь учителем в Средореке, получишь возможность ходить по дрова сколько душе угодно.

– Да. – Он притворился, что не заметил ее издевки. – На таком снегу зайцы оставляют свежие следы, и хорошая охота бывает.

– Вот-вот, занятие как раз для тебя!..

– Так пойдем в парк?

– Нет, мне не хочется, – ответила Ирина, уже тяготясь им.

Вокруг них бурлила толпа, гудели клаксоны – лихорадочно кипела жизнь. Динко поколебался мгновение, потом внезапно схватил ее руку и сказал негромко и хмуро:

– Ирина!.. Я хочу поговорить с тобой еще раз… в последний раз.

Сквозь снежную пелену его зеленые глаза смотрели на нее с тоской, лицо было мужественно и красиво, но Ирина не замечала этого.

– О чем поговорить?

– Я люблю тебя… Все время думаю о тебе.

Онa ощетинилась, как рассерженная кошка, и быстро отдернула руку. Значит, безумие его еще не кончилось!.. В третий раз уже он осмеливался говорить ей о своей любви – грустной любви бедного крестьянского парня, выросшего в непрестанном труде на засаженных табаком холмах. В первый раз она пожалела его, во второй – ей стало досадно, а сейчас он казался ей невыносимым. Что он выдумал, зтот батрак, напичканный крамольными убеждениями и выкормленный из милости ее отцом? Что она может стать его женой? Да она едва выносит его простонародную речь, его загорелую шею с высушенной солнцем кожей, его грубые, красные руки. В довершение всего ведь они двоюродные брат и сестра… В чувстве Динко, казалось ей, было что-то неестественное, что-то противное, мрачное и тоскливое, что вызывало у нее отвращение.

– Убирайся! – крикнула она вне себя.

Он хотел было что-то сказать, но она снова прошипела:

– Убирайся!.. Убирайся сейчас же, чтобы я тебя больше не видела!..

Немного погодя она различила в толпе его удаляющуюся фигуру, высокую и широкоплечую, его длинную солдатскую шинель и саблю. И тогда она вдруг почувствовала тоску. Никогда больше он не станет искать ее сам. А вместе с ним уходило что-то светлое из времен ее детства.

Профессора и ассистенты, собравшиеся на скучный банкет в одном из залов ресторана «Болгария», негромко злословили об отсутствующих или хвастались своими научными достижениями, осторожно попивая вино, а больше – минеральную воду. Студенты из корпорации «Хан Крум», кутящие в одной пивной, били стаканы и опивались вином, а студенты из корпораций, названных в честь ханов Кардама и Тервела, приверженцы салонных удовольствий, сочетали выпивку с флиртом и танцами под джазовую музыку. Студенты-коммунисты тоже развлекались, не забывая про агитацию и борьбу. То тут, то там в ресторанчиках звучало пение «Интернационала» или разгоряченный оратор поднимал бокал за Советский Союз. Шутники с агрономического факультета дали одному своему товарищу сильную батарею с электрическим звонком и нахлобучили на него бочку, обвитую лентами трех цветов знамени. В сопровождении охраны из крепких крестьянских парней «бочка», церемонно кланяясь, обошла все рестораны, в которых пировали корпорации. И лишь немногие догадались, что пустая, гремящая, обвитая трехцветными лентами бочка символизирует «Братство». Но эти немногие не посмели кинуться на бочку, потому что парни, которые ее охраняли, угрожали палками всем, кто пытался к ней приблизиться.

Этого праздничного плебейского шума не слышали снобы, которые встречались в тихой кондитерской на бульваре Царя Освободителя, с тем чтобы потом пойти в «Болгарию». Среди них были Ирина и Бимби – она в красивом темном платье, он в светло-сером костюме, который сидел на нем безукоризненно.

– Почему ты в декабре оделся по-весеннему? – спросила Ирина удивленно.

– Это сейчас модно, – ответил Бимби.

Снисходя к ее невежеству по части светских обычаев, он объяснил, что все элегантные мужчины, которых она вскоре увидит, носят этой зимой светлые костюмы. Так как речь шла об одежде, Ирина спросила Бимби, как ему нравится ее платье.

– Немного старомодно, – установил Бимби с некоторой досадой. – Но сама ты очень красива, и этого довольно.

– Извини!.. Платье почти новое, – обиженно проговорила Ирина. – Я сшила его прошлой осенью.

Лицо Бимби приняло снисходительное выражение.

– В хорошем обществе платья выходят из моды через месяц, – сказал он с улыбкой. – А в Софии есть женщины, которые никогда не надевают одного и того же платья два раза.

– Они, должно быть, сумасшедшие.

– Нет. Просто элегантные и богатые женщины.

– И вероятно, мужей их можно только пожалеть.

– Напротив. Им можно позавидовать. У них немалые доходы.

– От чего? – не без раздражения спросила Ирина.

– От всего, – с завистью вздохнул Бимби. – От экспорта яиц, бекона, консервированных фруктов, табака…

Ирина нахмурилась. Она невольно вспомнила красные песчаные холмы, на которых крестьяне собирают табак, обливаясь потом под знойным солнцем.

– На что ты рассердилась? – спросил Бимби.

– Я не рассердилась.

– Ты не огорчайся по поводу платья, – великодушно успокоил он ее.

– А я и не думала огорчаться.

Он позвал кельнера и расплатился.

Они вышли из кондитерской и направились в «Болгарию». Снег все еще шел. Бимби махнул рукой свободному такси, но шофер не остановился, потому что принял их за пьяных студентов, которые не заплатят. Все знали, что в этот вечер обслуживать студентов приходится даром, и никто не хотел попадаться на эту удочку.

– А что еще теперь в моде? – спросила Ирина, раскрывая зонтик.

– Что еще?… – Бимби поднял воротник своего элегантного черного пальто. – Например, у дам высшего общества в моде падать в обморок от самого пустякового волнения.

– Зачем это?

– Не знаю, право!.. Вероятно, они хотят казаться чувствительными.

– Ну а еще что?

– У пожилых дам в моде ужинать в ресторане с юношами.

– А почему бы и нет?… Может быть, это их сыновья или племянники.

– Именно, – сказал Бимби. – При таких обстоятельствах юноши могут сойти за сыновей или племянников.

Перед входом в «Болгарию» толпились студенты, уверяя швейцара, что они не пьяны, и упрашивая его пустить их в пивной зал. Но швейцар, наученный опытом, и слушать их не хотел. Бимби грубо растолкал толпу и, показав швейцару какой-то билет, сразу прошел внутрь, а за ним Ирина.

– Что это за билет? – спросила она, когда они раздевались в гардеробе.

– Журналистский, – сухо ответил Бимби.

В помещении было приятно и тепло. В зале над кондитерской шел банкет профессоров, и оттуда доносился монотонный говор, а с лестницы, ведущей в дансинг, – звуки джаза.

Бимби повел Ирину к заранее заказанному, красиво сервированному столику, стоявшему у самого дансинга. Она шла, немного смущенная ярким светом и незнакомой обстановкой. Ей казалось, что все сидящие за столиками пристально смотрят на нее. Бимби приветствовал нескольких человек, одних – очень вежливым поклоном, а других – рассеянно и небрежно. Среди тех, с кем он поздоровался вежливо, была танцующая пара – красивая смуглая дама и толстенький господин с усиками. Он и Бимби обменялись приветствиями по-французски.

Ирина пришла в себя, только когда они сели за столик. Ее стеснял и непривычный холодный блеск этого ресторана, и враждебные взгляды женщин, которые сначала внимательно следили за ней, а потом вдруг отводили глаза. Танцующие покачивались в медленном ритме танго, а над ними висело облако синего табачного дыма. За соседним столиком сидел молодой белокурый человек в очках и, видимо скучая, пил вермут. Дама его, должно быть, танцевала. Бимби поздоровался с ним вежливо, но без особой теплоты.

– Это Хайльборн, – сказал он. – Третий секретарь немецкого посольства. Но, вероятно, его отзовут.

– Почему?

– Немцы меняют свои дипломатические кадры.

Смуглая дама и господин с усиками снова поравнялись со столом, за которым сидели Ирина и Бимби.

– Значит, ты совсем свободно говоришь по-немецки и по-французски? – спросила Ирина.

– Да, – рассеянно ответил Бимби.

Он оглядывался кругом, словно ища в толпе знакомых.

– Где ты учился языкам?

– В Париже и Берлине.

– А что ты там делал?

– Учился и развлекался.

– На медицинском?

– Нет. На инженерно-механическом.

– Окончил?

– Нет. Надоело.

– А медицина тебе нравится?

– Ничуть. Но старик настаивает, чтобы я хоть что-нибудь окончил.

Бимби засмеялся – вероятно, над своим отцом.

– Ты слишком легко смотришь на жизнь, – заметила Ирина.

– А зачем превращать ее во что-то тяжкое?

Бимби снова засмеялся и подал Ирине меню. Она выбрала шницель – самое дешевое блюдо. Но Бимби презрительно свистнул, взял у нее меню и сам заказал ужин на двоих – закуску ассорти, индейку с каштанами, десерт и вино, подробно объяснив кельнеру, что как подавать. Пока кельнер записывал заказ, Ирина подумала, что на деньги, которые стоит их ужин, Чингис мог бы питаться целый месяц, бросив мыть тарелки в ресторане.

В это время танго кончилось, и смуглая дама со своим кавалером направилась к столу Хайльборна. Когда они проходили мимо столика Бимби, он потянулся к ней и проговорил вполголоса:

– Зара, скажи Кршиванеку, что я хочу его видеть.

– Хорошо, – также вполголоса отозвалась Зара.

Ее красивые брови дрогнули и озабоченно сдвинулись, но только на миг, и любезно-рассеянное выражение лица не изменилось. Она села рядом с Хайльборном, который посмотрел на нее скучающе и равнодушно, а господин с усиками, слегка поклонившись, отошел от их столика.

Ирина задумчиво смотрела на Бимби, стараясь угадать, как он живет. Сейчас он казался ей уже не очень молодым. Когда он улыбался, от уголков его глаз расходились лучи мелких морщинок. Но он усердно занимался спортом, поэтому лицо у него все еще было свежее.

– Наверное, ты получаешь от отца много денег? – спросила Ирина.

– А если не получаю, то зарабатываю.

– Как?

– Устраиваю торговые сделки и беру комиссионные, – объяснил он.

– Это не так легко.

– Да, конечно!.. – согласился Бимби. – Нужно знать языки и иметь связи. Я общаюсь с иностранцами и болгарами, которые занимаются экспортом. Все сводится к тому, чтобы убедить иностранцев купить такую-то партию, например, табака не у одного, а у другого.

Ирина вздрогнула.

– А ты что-нибудь понимаешь в табаке? – быстро спросила она.

– Ничего не понимаю.

– Но тогда как тебе удается убеждать людей?

– При помощи связей.

Ирине внезапно вспомнились водянистые глаза фрейлейн Дитрих и ее тощее, тренированное тело лыжницы, лишенное самых заурядных женских чар.

– Должно быть, у тебя много связей, – сказала она.

– Хватает, – скромно признал Бпмби.

Кельнер принес вино и закуски. Ирина и Бимби принялись за еду.

– Но тогда зачем ты изучаешь медицину? Почему не заведешь торговую контору? – спросила она, чокнувшись с Бимби и отпив из бокала.

– Потому что меня сейчас же заберут в армию. С другой стороны, старик настаивает, чтобы я во что бы то ни стало выложил ему диплом. А не то грозится лишить меня наследства.

– А кто твой отец?

– Прекрасный человек, но немного самодур. Бывший судья.

Вино уже начало действовать на Ирину. Ей казалось, что Бимби говорит полушутливо и нельзя принимать на веру все, что он скажет. Она почувствовала под столом прикосновение его колена, покраснела, но не отодвинула ногу.

– Ты хорошо устроил свою жизнь, – сказала она.

– Всякий может устроить ее так.

– Как это всякий?

– И ты, например.

– Но ведь я женщина!..

– Ну и что же?… Видишь девушку за соседним столиком? – Бимби легким движением руки показал на Зару. – Третьего дня она в пять минут заработала целое состояние.

Ирина рассмеялась. От вина у нее немного кружилась голова, но она вдруг поняла, что Бимби не шутит.

– Как? – спросила она.

– Просто-напросто она между двумя партиями бриджа убедила представителя французской торговой миссии купить у одной фирмы триста тысяч килограммов табака.

Ирина уже ощущала, как сильно подействовало на нее вино, но тут она внезапно вернулась к горькой действительности, и это ее словно отрезвило. Она вспомнила, сколько забот и тяжкого труда требует табачное поле ее отца. Табак нужно сажать, перекапывать, полоть и собирать… нанизывать и сушить… потом обрабатывать. Тысячи крестьян потеют на солнцепеке, выращивая его на красных песчаных холмах, тысячи рабочих задыхаются, обрабатывая его на складах… И как это может быть, что часть дохода, принесенного этим огромным трудом, так легко подала в руки какой-то девицы между двумя партиями бриджа? Но вдруг она поняла, какой ценой достаются комиссионные, и рассмеялась. Бимби же был по-прежнему серьезен.

– А какие качества нужны для того, чтобы уметь убеждать? – спросила она.

– Приятная внешность, хорошие манеры и такт.

– Только это?

Бимби нахмурился.

– Не выдумывай, – сказал он. – Девушка, которую я тебе показал, из очень почтенной семьи.

– Я этого не отрицала.

– А что тебя смешит?

– Искусство убеждать.

– Выпьем за него!

– Хорошо.

Ирина залпом выпила почти целый бокал. Она сразу почувствовала, что вино очень крепкое, но не опьянела и вполне владела собой. На душе у нее было ясно, и она только снисходительно жалела Бимби за его глупость. Все-таки жизнь была приятной штукой. Вечер удался… Молодой человек, сидевший за столиком неподалеку, пытался флиртовать с нею, выразительно на нее поглядывая. В джазовой музыке было что-то смешное и бессмысленное, но возбуждающее. На коже освещенного изнутри огромного барабана четко выделялось претенциозное название оркестра, а барабанная палка, которую музыкант виртуозно подбрасывал, отстукивала ритм очень быстрого фокстрота. Звенели цимбалы. Ирине казалось, что саксофоны похожи на хор пьяных, которые уже едва держатся на ногах, что скрипка дирижера хихикает, как проститутка, а удары по клавишам рояля падают со звоном брошенных монет. И она подумала, что вся эта какофония ничего не выражает, что это просто музыкальная бессмыслица, которая, однако, очень сильно действует на низшие и самые темные сферы мозга. Внезапно музыка оборвалась, как рев гангстера на электрическом стуле, и ее сменила разрывающаяся от ревности мелодия аргентинского танго. Перемежаясь с горькими клятвами и тоскливыми всхлипываниями, в этой мелодии звучала чья-то мольба о любви. Тут уже можно было уловить пусть извращенную, но человеческую тоску.

Ирина и Бимби доедали десерт.

– Разомнемся? – спросил он.

– Мне вино в голову ударило, – сказала Ирина.

– Тогда ты будешь танцевать еще лучше.

Он обнял ее за талию, и так крепко, что прижал к себе всю – от коленей до груди. Ирина хотела было отстраниться, но на это у нее не хватило сил, и она невольно сжала его плечо. Танцующих озарял переливающийся свет прожектора – то красный, то оранжевый, то фиолетовый, и они двигались как призраки в медленном ритме танго. Уродливые коротышки дамы танцевали с долговязыми кавалерами. Пожилые мужчины с остекленевшим взглядом прижимали к себе молодых девушек. Все лица застыли в какой-то идиотской неподвижности. Ирина почувствовала, что щека Бимби прикоснулась сначала к ее волосам, потом ко лбу. Это уже показалось ей наглостью, но она опять не нашла в себе силы хотя бы откинуть голову. По спине ее пробежали мурашки. Она насмешливо подумала: «Приходят в действие низшие центры спинного мозга». Что-то всегда говорило ей, что надо оберегать себя от чувственности такого рода. Но что ей беречь теперь? Униженную гордость, оскорбленное самолюбие, растоптанную любовь? Разве этот вечер не спасает ее от раздирающей муки в одинокой комнате? Разве эта плотская радость не хорошая замена иссушающей тоске по Борису? Какой-то смутный импульс, гнездившийся в глубине ее мозга и раскрепощенный вином, побуждал ее отбросить все, закончить этот вечер безрассудным поступком. Вот что она чувствовала сейчас, все крепче прижимаясь к Бимби. Но это был только горький, мстительный порыв, бунт против гордого и скрытого страдания, которое причинил ей Борис. Она знала, что ее мимолетное падение закончится вместе с танго, что больше она никуда не пойдет с Бимби. С ее горячей кровью крепко слился инстинкт порядочности, который запрещал ей сладострастие без любви.

– В воскресенье вечером ко мне придут гости, – сказал Бимби. – Приходи и ты.

– Куда?

– Ко мне домой.

– Ты живешь один?

– Да. У меня квартира.

– Я подумаю.

– О чем тут думать?

Ирина откинула голову назад и рассмеялась. Она не отказала сразу, так как не хотела походить на робкую дурочку. Но Бимби принял этот смех за согласие и прижал ее к себе еще крепче.

– А еще кто придет к тебе? – спросила Ирина.

– Фрейлейн Дитрих, с которой ты уже знакома, один симнатичный австриец, некто Кршиванек, и еще несколько пар.

– А мы с тобой тоже будем парой? – спросила она.

– Это зависит от тебя. Ирина опять рассмеялась.

– А как же фрейлейн Дитрих?

– Какой вздор! – рассердился Бимби. – Фрейлейн Дитрих вовсе не глупая и не ревнивая женщина. Мы с тобой будем парой только по части торговых дел.

– Хорошо. Я подумаю.

Джаз умолк, зажглись лампы, и танцующие вернулись на свои места.

– Перестань воображать всякие глупости, – сказал Бимби, когда они сели за столик. – Хочешь, поговорим серьезно?

– Да, конечно.

Он налил ей вина. Ирина выпила, чтобы подбить своего кавалера на откровенный разговор. Бимби самодовольно улыбнулся.

– Я предлагаю тебе только такое сотрудничество, в котором нет ничего предосудительного, – продолжал он. – И я хотел бы, чтобы ты прежде всего поверила в это. Ты из какой семьи?

– Из мещанской.

– В каком смысле?

– Мой отец – мелкий чиновник.

В пустых, сонливо прищуренных глазах Бимби насмешливо блеснул довольный огонек. Первый раз в жизни Ирину не рассердило высокомерие мужчины из хорошего общества; оно показалось ей просто жалким.

– Так!.. – пробормотал Бимби. – Вот уж никак не похоже. Впрочем, это не имеет значения. На вид ты очень утонченная девушка.

Она снова сделала несколько глотков. Опьянеть она не боялась, так как привыкла к вину с детства. Чакыр разрешал ей выпивать по стаканчику за обедом и ужином. Но вино с виноградника отца было гораздо лучше этого крепленого муската в запечатанных бутылках.

– Что ты хотел мне предложить? – спросила она спокойно.

К Бимби вернулась его самоуверенность.

– Ничего такого, чего не могла бы принять даже девушка с твоими предрассудками. Ты должна вполне мне довериться… Я помогу тебе войти в избранный круг, который иначе был бы тебе недоступен. Некоторые твои качества могут обеспечить тебе успех.

– Ты так думаешь?

– Да. Я давно за тобой наблюдаю. Тебе не нравится та жизнь, которую ведут остальные студенты… Отец твой, вероятно, зажиточный человек?

– Сравнительно.

– Я уважаю его за то, что он решил дать тебе образование. Таких людей я встречал в провинции. Но задавалась ли ты вопросом, что станет с тобой через пять лет? Будешь сельским лекарем!.. Вот и все. А ведь ты прекрасно понимаешь, что этого для тебя совершенно недостаточно, не так ли?

– Да, – откровенно призналась Ирина.

– Значит, тебе нужно уже теперь завязать связи с такими кругами, которые спасут тебя от этого.

– А как их завязать?

– При помощи своей приятной внешности и уменья вести беседу. Ты должна ходить «на чашку чая» в светские дома, играть в покер и бридж. Лето станешь проводить в Варне или Чамкории, а зимой не будешь пропускать ни одного приличного бала.

– Но на это нужны деньги.

– Ты их заработаешь!

– Своим уменьем убеждать?

– Да, но не пойми меня в дурном смысле.

– К сожалению, я именно так тебя понимаю.

– Это только потому, что ты еще неопытная, – сказал Бимби. – Выслушай меня до конца!.. Представь себе, что сегодня прибывает некий серьезный иностранец. Фрейлейн Дитрих или другие сейчас же связывают нас с ним. Чванливые глупцы ждут, когда он сам ими заинтересуется. А мы не позволяем ему скучать в отеле. Мы показываем ему Софию, везем его на машине в Чамкорию, знакомим с приятной компанией и, пока он развлекается, собираем и передаем ему предложения по всем товарам, которые его интересуют. Все это выглядит вполне естественным, если ты общителен, имеешь связи и знаешь иностранные языки. Наше преимущество в том, что мы не назойливы и не алчны. Вот это преимущество мы и обращаем себе на пользу.

– Почему ты говоришь «мы»? – спросила Ирина.

– Ты и я.

– Но я-то тебе зачем?

– Слушай!.. – сказал Бимби самым деловым тоном. – Когда я приглашаю на ужин какого-нибудь утонченного иностранца, я хочу, чтобы стол был красиво украшен. Ты будешь для него экзотической розой.

– И что я должна делать?

– Будешь мило щебетать. Этого довольно, чтобы при прочих равных условиях предпочтение отдали нашим предложениям.

– Но если щебетанья окажется мало, а иностранец попадется требовательный?

– До этого дело не дойдет, – с негодующей гримасой сказал Бимби. – Этого я бы не допустил.

– А почему ты выбрал именно меня? На нашем курсе немало хорошеньких студенток.

– Потому что ты очень красива и выглядишь как безупречно порядочная девушка, а это имеет значение… Иная женщина, даже пикантная, не может иметь большого успеха. Не знаю, разбираешься ли ты в тонкостях этого дела.

Ирина чуть не расхохоталась. В Бимби было что-то столь простодушное, что он казался почти забавным и на него нельзя было сердиться. Разбирается ли Ирина в тонкостях этого дела? Как не разобраться!.. Она быстро проанализировала предложение Бимби и представила себе, что принимает его. Итак, она продолжает изучать медицину, входит в общество, которое до сих пор казалось ей недоступным, расставляет сети и ловит свой успех. Побольше ловкости – и она сможет проделывать все это незаметно, не марая своего имени. Только глупые и тупые женщины превращаются в известных всем дешевых содержанок. Но в ее порядочности не дерзнет усомниться никто. И это будет порядочность общества, в котором она станет вращаться, людей, которые здесь танцуют, юношей, с одним из которых она сейчас разговаривает. Это будет порядочность смуглой девушки за соседним столиком, которая между двумя партиями бриджа заработала комиссионные от продажи табака. Это будет, наконец, порядочность самого Бориса, который так ловко выдвинулся в «Никотиане» через Марию. Правда, Борис не то что глупый и ничтожный Бимби. Он знает свою силу и обладает гордостью хищника, но нравственно он не отличается от Бимби и так же, как тот, пользуется услугами женщины. Почему бы Ирине не последовать его примеру и не воспользоваться услугами мужчины?… Но она опять почувствовала, что все это лишь горькие и глупые бредни и что никогда она так не поступит. Здоровый инстинкт порядочности не позволил бы ей даже шутить и забавляться подобными мыслями, если бы Бимби в своем бесстыдстве не походил на смешного, испорченного ребенка.

– Я подумаю, – сказала она с самым серьезным видом.

Взгляд ее описал дугу – признак кокетливого притворства, которое Бимби истолковал в пользу своего искусства убеждать. Женщины, которых он знал, всегда говорили, что «подумают» о том, что они уже решили. Он предложил выпить третью бутылку вина, но Ирина отказалась.

Посетители расходились, ресторан стал пустеть. В дансинге кружилось лишь несколько пьяно кривляющихся пар. Джаз играл уже лениво, а кельнеры проверяли счета. Наступили часы усталости и грусти. Ирина предложила Бимби идти.

– Подожди!.. – сказал Бимби. – Пойдем в бар.

– В какой бар?

– Тут наверху великолепный бар, открытый всю ночь… Часть публики уже перешла туда.

Ирина наотрез отказалась, и Бимби примирился с этим. Немного подумав, он решил, что в этот вечер достаточно хорошо подготовил почву. Когда они оделись и вышли, у Ирины вдруг бешено заколотилось сердце. У тротуара среди других автомобилей стояла большая черная машина с лимонно-желтыми фарами. В машине сидел только шофер. Хозяев ее в ресторане не было – значит, они прошли прямо в бар.

Первый раз в жизни Ирина решила поступиться своими принципами.

– Ты говорил, что в баре подают коктейли для протрезвления? – сказала она.

– Да, – ответил Бимби. – Прери-аустерн!.. Смесь коньяка, яиц и черного перца с разной дрянью… Но действует сразу.

– Я бы, пожалуй, выпила.

– Я же тебя приглашал!

Бимби схватил ее под руку и потащил обратно. В прери-аустерне нуждался только он, потому что вторую бутылку выпил почти один. По лестнице спускались старички профессора, развеселившиеся на университетском банкете, и последние посетители дансинга.

В баре – небольшом зале с персидскими коврами и драпировками из красного бархата – столики были расставлены вдоль стен, а на столиках стояли лампы с кремовыми абажурами. Посетители – их было всего человек десять – лениво болтали, развалившись в глубоких удобных креслах. Посередине одна пара довольно прилично танцевала на ковре румбу под музыку джаза, которая передавалась из ресторана. В воздухе висела пелена синеватого табачного дыма; приятно пахло сигарами.

Ирина и Бимби, на которых благосклонно смотрели посетители, наблюдавшие за ними еще в ресторане, сели за свободный столик. Это была красивая пара. Бимби заказал прери-аустерн и закурил сигарету.

– Что-то уж очень быстро дошли вы до прери-аустерна, – послышался веселый женский голос.

Бимби обернулся с усмешкой, Ирина – немного застенчиво. За соседним столиком сидели Хайльборн и смуглая девица.

– Сегодня студенческий праздник, – объяснил Бимби.

Немец смотрел на Ирину с легкой скучающей улыбкой.

– Ты учишься на медицинском? – рассеянно спросила Зара.

– Да.

Но Зара не поддержала разговор. К их столику подошел высокий худощавый мужчина с небольшой лысиной; он держался свободно, как человек, который чувствует себя в этом баре как дома. Он тоже был в светлом костюме.

– Лихтенфельд, вы теряете ночь!.. – сказала Зара по-немецки.

– Зато я выиграл день, – ответил немец, небрежным жестом подзывая кельнера.

– Как? – спросил Хайльборн.

– Шеф уехал в Чамкорию, а мы с Прайбишем – охотиться на зайцев.

Лихтенфельд обвел бар надменным и дерзким взглядом. Глаза его остановились только на Ирине, на мгновенье остекленели, потом замигали.

– Что это за девушка? – быстро спросил он.

– Понятия не имею, – ответила Зара, пожимая плечами.

– Она вам нравится? – спросил Хайльборн.

Лихтенфельд вставил в глаз монокль, но тут же вынул его.

– Это богиня охоты!.. – проговорил он в восторге. Потом обернулся к кельнеру и резко приказал:

– Вермут!

Но Ирина не поняла, что говорили о ней. Она смотрела в глубину бара. Там, за столиком, посасывая через соломинку цитронад, сидела та, которая отняла у нее Бориса. Там, за столиком, разговаривала с соседом пепельно-белокурая, вся какая-то тусклая, бесцветная молодая женщина с печальными глазами – серыми, как дождливое утро, и с бескровными, как увядший цветок, губами. Лицо ее не было накрашено. Но это отсутствие косметики, а также простая безукоризненная прическа и платье без украшений как раз и придавали ей какое-то благородство, которым не обладала ни одна из дам, сидевших в баре. Как ни странно, Ирина почувствовала, что не может ненавидеть эту женщину. И в тот же миг поняла, что это бледное, кроткое создание, наверное, и не подозревает о ее душевной драме и также не имеет никаких оснований ее ненавидеть. Рядом с Марией сидел Борис в темно-синем шевиотовом костюме, а по другую ее сторону – высокий красивый господин с седой шевелюрой, который обычно сопровождал отца Марии во время деловых поездок. В этот вечер Ирина научилась отличать модно и элегантно одетых мужчин. Костов, так же как и Бимби, Хайльборн и Лихтенфельд, был в очень светлом костюме.

И вот Ирина встретилась глазами с Борисом. Он поклонился вежливо и равнодушно. Ирина ответила таким же кивком.

Бимби внезапно прервал свою болтовню.

– Откуда ты знаешь эксперта «Никотианы»? – удивленно спросил он.

– Мы из одного города.

– Почему ты до сих пор мне этого не сказала?

– Какое это имеет значение?

– Ты с ним близко знакома?

– Нет, – сухо ответила Ирина. – С какой стати?

– Я просто спрашиваю. Где вы познакомились?

– Мы учились в одной гимназии.

– Он, наверное, за тобой ухаживал!..

– Ты пьян и болтаешь глупости.

Бимби казался и возбужденным и рассерженным. Он смотрел в сторону Бориса злобно прищуренными глазами. Ирина ясно увидела в этих глазах зависть слабого, ничтожного шакала к могучему, крупному хищнику.

– Почему ты думаешь, что он за мной ухаживал? – насмешливо спросила она.

– Потому что все говорят, что он очень опытный бабник… – со злостью ответил Бимби. – Я знаю его историю. Он был обыкновенным писарем на складе и там подкапывался под служащих и приставал к женщинам… Говорят, что он каждый день подстерегал Марию где-то на лугу, куда она ходила читать, пока не привлек ее внимание… Поистине редкий тип!.. Отец его какой-то полоумный учитель, над которым издевается весь город. А мать выпрашивала у лавочников брынзу…

– Все это выдумки, – с возмущением проговорила Ирина.

– Так рассказывают.

– Из зависти. Отец его теперь директор гимназии, а мать – прекрасная женщина.

– А как по-твоему, чем он привлек Марию?

– Не знаю. Вероятно, они полюбили друг друга.

– Как же, полюбили!.. – цинично возразил Бимби. – Просто он умеет кружить голову женщинам и пользоваться ими в своих целях. Иначе как можно объяснить, что за двадцать четыре часа он превратился из писаря в помощника главного эксперта фирмы?

– Он человек способный и упорный.

– Все говорят, что он часто поступает необдуманно и Доведет фирму до катастрофы… Папаша Пьер сделал большую ошибку, связавшись с этим типом.

– Едва ли, – сказала Ирина. – Но тебе он, как видно, очень неприятен?

– Я его ненавижу, – откровенно признался Бимби. – Он помешал мне в одной сделке, на которой я мог бы заработать немалый куш. «Никотиана» перехватывает всех иностранцев и душит мелкие фирмы и комиссионеров. Это картель разбойников, который монополизирует прибыли и не дает людям дышать…

Ирина улыбнулась. Ущемленный в своих доходах Бимби дошел до истины, которую неустанно повторяли коммунисты. В точно таких же выражениях говорил о крупных предприятиях и Чингис.

– Что тебя рассмешило? – сердито спросил Бимби.

– Слова «картель разбойников», – ответила она.

Бимби не был твердо уверен в том, что она сказала правду, и почувствовал, что присутствие этого выскочки, сидящего в глубине бара, унижает его в глазах Ирины. Вместо того чтобы протрезвиться от прери-аустерна, Бимби опьянел еще больше и сделался обидчиво-чувствительным к мелочам. В Ирине же коктейль вызвал только приятное возбуждение.

– Он меня еще попомнит, – самоуверенно заявил Бимби.

– Кто?

– Этот тип.

– Не могу себе представить, каким образом?

Бимби беспомощно заморгал, потом ему захотелось показать, как велико его значение в торговом мире. Прериаустерн сделал его болтливым.

– А вот как!.. – объяснил он, опьяненный сознанием своей силы. – «Никотиана» хочет забрать себе львиную долю поставок Германскому папиросному концерну… Но это ей не удастся. Один австриец, некто Кршиванек, организует компанию, которая заграбастает все. В эту компанию вхожу и я.

Бимби с удовольствием увидел, что его слова произвели на Ирину впечатление, и продолжал:

– Этот Кршиванек близок к фрейлейн Дитрих, и он зять Бромберга, министра в новом правительстве рейха… Понимаешь? Германский папиросный концерн, без сомнения, поручит поставки компании Кршиванека. Остается только преодолеть сопротивление трех чурбанов из представительства концерна в Софии – они хотят работать с Барутчиевым-младшим или с «Никотианой». Но один из этих чурбанов уже завоеван.

– Кто же его завоевал?

– Девушка, с которой я говорил, – та, что сидит за соседним столиком.

– Браво, браво!.. – Ирина уже веселилась от души. – д остальные двое?

– Одному мы готовим такой номер, что он после этого и пикнуть не посмеет, а другой, как только получит приказ из Берлина, просто откозыряет нам… Понимаешь? И этот выскочка из «Никотианы» останется с носом.

– «Завоеванный», должно быть, сидит за соседним столиком? – спросила Ирина.

– Да, это тот самый, который смотрел на тебя в монокль… Барон Лихтенфельд.

– Боюсь, что он намеревается пригласить меня танцевать…

Она не договорила. Высокий элегантный мужчина с небольшой лысиной встал с кресла, подошел к их столику и вежливо поклонился.

В это время снобы из «Никотианы» уже собрались уходить, но Костов попросил их задержаться еще немного. Он сидел лицом к столикам Зары и Бимби и видел, как баро i склонился перед Ириной.

– Забавно!.. – сказал Костов. – Барон приглашает ьа танец вашу землячку, а она ему отказывает. Смотрите. Лихтенфельд стоит как столб, а люди глазеют на него. Потрясающая сцена!.. Эге, кавалер наконец представив Лих тенфельда своей даме и приглашает его сесть за их стол, а наша Зара притворяется равнодушной… Выход найден.

– Во всяком случае, девушка эта очаровательна, – сказала Мария, вынимая сигарету из своего портсигара.

Костов поднес к сигарете зажженную спичку.

– Да, необыкновенно красива, – согласился он. – Но ее кавалер – отъявленный мошенник… Я постояннс встречаю его с Кршиванеком – они два сапога пара.

– Это не тот, что предлагал партию табака итальянцам? – внезапно спросил Борис.

– Он самый, – ответил Костов. – А Зара потом передала эту партию французской торговой миссии через голову Торосяна.

– Значит, они друг с другом съязаны.

– Конечно, они работают вместе. А теперь к ним прилип Лихтенфельд. Мой совет – на Зару больше не рассчитывать.

– Мы используем ее для контрудара.

– Как?

Борис не ответил. Спутники Марии разговаривали вполголоса, и она почти ничего не слышала. Уловила только имя Зары, упомянутое Костовым, и это рассердило ее.

– Когда только вы оставите в покое эту несчастную девушку? – с упреком спросила она.

– Это она не оставляет нас в покое, – ответил Костов. – Она сама приходит к нам продавать ложные сведения из немецкого посольства.

Мария рассмеялась.

– И поэтому вы только сегодня вечером в баре узнали о приезде Лихтенфельда… Смешно!

Мария опять засмеялась спокойно, тихо, без гнева. Она возмущалась лишь той жестокостью, с какой в торговой разведке пользовались услугами женщин.

Наступило молчание. Костов пристально смотрел на Ирину, которая пила второй коктейль с Лихтенфельдом и приятелем Кршиванека. Эксперту хотелось подольше остаться в баре, чтобы смотреть на нее. В лице этой девушки он видел что-то одухотворенное и прекрасное, что глубоко задевало душу и навсегда запечатлевалось в сознании, вызывая тоску, страстное желание и ощущение недостижимости. Мария боролась с нелепым и глупым подозрением, неотвязным, как надоедливая муха. Она силилась прогнать его, но не могла. В душе Бориса всплыло воспоминание о часовне и первом прикосновении к горячим губам, еще не умевшим целовать. Он пытался было оторваться от этого воспоминания, посмотрев на свою жену, которая принесла ему «Никотиану», но это ему не удалось. Губы у Марии были холодные, тонкие, бескровные…

Костов преодолел свою тоску, вспомнив о примадонне, с которой собирался провести несколько дней в Чамкории. Мария прогнала нелепое подозрение, подумав о том, что два года ее жизни протекли в тихом и ровном счастье. А Борис стряхнул с себя воспоминание о часовне, отдавшись лихорадочным мыслям о завоевании Германского папиросного концерна.

Но и выйдя из бара, все трое не могли избавиться от какой-то горестной подавленности – Ирина, словно брошенный в воду камень, нарушила их спокойствие на весь этот вечер.

В машине Мария сказала Борису:

– В баре я заметила кое-что. За полчаса ты выпил три рюмки коньяку, а этого никогда еще не было.

– Я устал, – рассеянно проговорил он.

– А может быть, рассердился из-за Кршиванека?

– Нет… просто устал, – ответил Борис. – Это дело меня вовсе не тревожит. Все зависит от фон Гайера, а я знаю, как поступить.

Лихтенфельд развез по домам Ирину и Бимби на своей машине. Ни тот, ни другой спутник Ирины не смогли вырвать у нее обещание встретиться с ними снова. Она вошла в свою комнату с тяжелой от коктейля головой, усталая и огорченная.

Снег все падал. Улицы были пусты. Лихтенфельд покатил в Бояну, где он жил на вилле. Выехав на безлюдное поле, он остановил машину, и его вырвало.

**VI**

Господин генеральный директор «Никотианы» вышел из машины и по низким широким ступеням крыльца поднялся к входной двери здания, в котором помещалось центральное управление фирмы. Молодой и красивый, он казался человеком уравновешенным. На нем было элегантное темное пальто, цветное шелковое кашне и модная шляпа с узкими полями. Он шел по коридору первого этажа, и служащие, попадавшиеся ему навстречу, как всегда, чувствовали себя неловко: главный бухгалтер инстинктивно поправил галстук, который ему никогда не удавалось завязать как следует, и низко поклонился; одна машинистка чуть не поскользнулась от волнения, а стоявший у лестницы рассыльный, фельдфебель запаса, опустил руки по швам и сказал: «Здравия желаю». На все это господин генеральный директор ответил только легким прикосновением пальца к полям шляпы.

Было видно, что он еще очень молод, но глаза у него были такие острые и холодные, что рассчитывать на его юношескую отзывчивость не приходилось. Можно было подумать, что он еще неопытен, но веская точность его речи сразу отнимала желание начать с ним игру. И наконец, можно было предположить, что он вспыльчив, но все знали, как спокойно и неумолимо он увольняет служащих за самое малое упущение.

Во всяком случае, никто не мог сказать, что господин генеральный директор не знает своего дела. Прошло два года с тех пор, как он был назначен вторым экспертом фирмы, почти год – со дня его свадьбы с Марией и только восемь месяцев – со дня смерти старого Спиридонова, чье место он занял немедленно. Все ожидали катастрофы и ликвидации фирмы, так как новый директор принялся, к удивлению, закупать табак огромными партиями, хоть и не обладал теми прочными международными связями, какие были у его тестя. Но вышло как раз обратное: «Никотиана» поглотила акционерные общества «Струма» и «Эгейское море», превратив их в свои филиалы, запутала в золотой сети дивидендов еще нескольких министров и начала вытеснять маленькие фирмы из иностранных торговых представительств. Она не смогла только подорвать связи еврея Коэна с Германским папиросным концерном, несмотря на приход гитлеровцев к власти. Таковы были победы фирмы в ее борьбе с конкурентами. Что же касается производителей и рабочих, то «Никотиана» взяла их за горло, и так крепко, что остальные фирмы поспешили немедленно последовать ее примеру.

Не прошло и нескольких минут, как господин генеральный директор уже сидел за письменным столом в своем кабинете, обставленном в самом бездушном американском стиле. На толстом настольном стекле находились только телефон, подставка для авторучки, блокнот и пепельница. Теперь господин генеральный директор был и полнее и свежее, чем два года назад. Истощенный и оборванный провинциальный юнец превратился в мощного диктатора табачного мира. Изменилось и выражение его глаз – они стали еще более острыми, холодными и какими-то беспричинно злыми. Зрачки их нервно сужались и расширялись, словно у зверя, который подстерегает свою добычу, готовый броситься на нее. Одежда его носила отпечаток изысканной и немного небрежной элегантности. Это был настоящий homme d'affaires.28

Господин генеральный директор нажал кнопку звонка. Вошел секретарь, человек почти вдвое старше его, и с блокнотом в руке стал возле письменного стола. Борис *amp;* Лейл на него холодный вопросительный взгляд. Всем ужапщм было предписано не терять ни минуты времени. Секретарь угадал вопрос и доложил кратко: 6 \_\_ Господин Барутчиев-младший ожидает в приемной. „\_\_– Я приму его немного погодя, – сказал Борис.

Секретарь вышел передать это Барутчиеву-младшему. оернувшись, он извлек отточенный карандаш и приготовился стенографировать. Прежде всего Борис продиктовал несколько телеграмм директорам филиалов, приказав зашифровать текст. В телеграммах он предписывал подчиненным ускорить обработку. Надо было на месяц раньше срока подготовить для вывоза два миллиона восемьсот тысяч килограммов прошлогоднего табака.

За этим последовало недолгое молчание, во время которого секретарь с довольным видом почесал карандашом щеку: пахло крупным барышом. Может быть, господин генеральный директор выдаст персоналу центрального управления двухмесячный оклад. Но металлический голос начальника зазвучал снова. Борис начал диктовать деловые письма за границу. «Никотиана» соглашалась на цены, указанные в контрпредложениях нескольких иностранных фирм. Письма были однообразны, в сухом коммерческом стиле. Но секретарь, человек опытный, с аналитическим умом, быстро сообразил, что это значит. Нет, крупного барыша ждать нельзя. Скорее, наблюдаются далекие признаки надвигающегося кризиса. «Никотиана» спешит отделаться от своего табака, мирясь с низкими прибылями, а это значит, что служащие не получат и месячного премиального оклада. Дьявольский нюх у этого холодного, бездушного как камень юнца. Может быть, он вовремя учуял падение цен, когда в последний раз ездил за границу. В глубине души секретарь ненавидел Бориса, сам не понимая за что; это была ненависть мучительного муравьиного труда к легкому грабительству хищника. Надежда на двухмесячный оклад исчезла, но секретаря тем не менее обуяло какое-то нелепое злорадство, и он снова почесал карандашом щеку.

– Вы слушаете внимательно? – внезапно спросил Борис.

Его ледяные глаза безжалостно впились в секретаря. Тот испугался.

– Да, конечно!.. – сказал он.

– Прочтите, что вы записали.

Секретарь, раскаиваясь в мимолетном злорадстве, которое отвлекло его от дела, прочел стенограмму. Борис сухо указал ему на две ошибки.

– Извините меня… Простите!.. – униженно выдавил из себя секретарь.

Борис снова начал диктовать.

Наконец письма были застенографированы, и секретарь, чувствуя, как по спине его стекает струйка холодного пота, пошел к двери.

– Попросите господина Барутчиева, – сказал Борис.

Барутчиевых было трое – три родных брата. Двое из них враждовали между собой, словно претенденты на королевский престол, а третий обеспечивал сбыт их табака за границу, вел беззаботную жизнь на европейских курортах и поддерживал отличные отношения с Германским папиросным концерном и гитлеровцами. В приемной ждал Бориса Барутчиев-младший – в это время старший лечился от туберкулеза в санатории, а средний развлекался в Баварских Альпах, – полный, небольшого роста, с орлиным носом и слегка надменными глазами. Он был неплохо образован, но больше всего на свете любил блистать. Он жаждал стать таким же всемогущим, как старший брат, но не обладал его достоинствами, а мания величия мешала ему соблюдать даже самую обычную осторожность в торговых делах.

Когда Барутчиев-младший вошел в кабинет, на лице его было написано скорбное чувство собственного достоинства, задеть которое не могут уколы какого-то выскочки. Подумать только – этот вчера еще никому не известный мальчишка заставил его ждать!

Борис с равнодушной вежливостью пригласил его сесть. Барутчиев-младший опустился в кресло и, встретив холодный взгляд табачного магната, беспомощно мигнул.

Наступило молчание.

– Я опять пришел к вам, господин Морев… – заговорил наконец Барутчиев, – Слушание дела в суде назначено на конец месяца.

– Да!.. – Борис вытащил пачку сигарет и с безразличным видом поднес ее гостю, но Барутчиев, обиженный тем, что его приняли не сразу, отказался.

– Благодарю. Не курю перед обедом.

Борис закуривал свою сигарету целых полминуты. – Да, понимаю… – проговорил он наконец. – Но боюсь, что мне трудно будет дать такие показания, каких вы от меня ждете.

Барутчиев-младший на миг застыл, тревожно раскрыв глаза. Им овладели отчаяние и возмущение, но какую-то лазейку ответ Бориса все же оставлял. Мальчишка хотел взять его измором.

– От вашей оценки зависит исход дела, – сказал Барутчиев, и в голосе его прозвучало скорее горькое презрение, чем лесть.

– Понимаю, – холодно ответил Борис – Но я должен думать и о собственных интересах.

– А в чем будут ущемлены ваши интересы, если вы скажете на суде правду?

– Вы еще не понимаете, что это вам не выгодно? – В глазах Бориса вспыхнуло холодное насмешливое удивление. – К тому же, если я скажу правду, я поссорюсь с банком вашего брата, а это не в интересах «Никотианы».

– Господин Морев!.. – драматически воскликнул Барутчиев, и в его голосе прозвучал панический ужас миллионера, которому грозит разорение. – Какая мораль, какой человеческий закон разрешает банку лишать меня кредита в разгар закупок, после того как я роздал девять миллионов задатка? И какое разумное учреждение сделало бы это раньше, чем я хотя бы получу табак от производителей?… Нет!.. – Барутчиев вдруг выпрямился и махнул рукой. – Нет!.. Ваш долг справедливо решить старый семейный спор, угрожающий гибелью моему существованию… Мой брат – ипохондрик, больной туберкулезом… завистник… злая мумия… чудовище!.. Мое возвышение его злило… Мои прибыли бесили его!.. Я чувствовал, как он за мной следит – подло… вероломно… И вот он внезапно нанес удар! Мое имущество, дом, мебель… все описано! Разве я не имею права защищаться, возбудить дело, требовать возмещения убытков?

– Да, конечно, – равнодушно согласился Борис – Но Не надо ссорить «Никотиану» с вашим братом.

– А справедливость, господин Морев?

– Это дело судей.

– Но они вынесут решение на основе ваших показаний как эксперта-специалиста.

– Следовательно, я должен быть объективным.

– Именно об этом я вас и прошу.

– Так оно и будет!.. Ваш брат просто охранял интересы своего банка, а вы желаете доказать, что он действовал с умыслом – хотел вас разорить… Но это неверно! Если я скажу так, это будет ложь. Это значит, что я вырву из его банка тридцать миллионов и положу их в ваш карман… Это значит, что я поссорюсь и с политическими кругами, заинтересованными в банке, и завтра уже не смогу рассчитывать на их услуги. Другими словами, вы хотите, чтобы, помогая вам, я рисковал интересами «Никотианы»?… Так? Но, спрашивается, ради чего?

Из груди Бориса вырвался негромкий холодный смех. Он взял еще сигарету и стал закуривать ее так же медленно, как и первую.

Барутчиев-младший вздохнул с облегчением. Наконец-то!.. Мальчишка раскрыл свои карты – намекнул, что готов оказать услугу, но, разумеется, отнюдь не безвозмездно. Жалкий выскочка и плебей! Ведет себя как мелкий жулик!.. Барутчиев забыл, что не курит до обеда, и закурил. Самое большее через год он растопчет этого мальчишку, как червяка, вместе со всей его пока что неуязвимой «Никотианой». Но – терпение!.. Поседевший, страдающий манией величия «волк» вдохнул благоуханный дым сигареты и со смехом отечески похлопал «волчонка» по плечу. «Волчонок» тоже улыбнулся, но глаза его были по-прежнему холодны.

– Послушайте, юноша!.. – Барутчиев уже успокоился. – Я вижу, старик Пьер оставил себе достойного заместителя!.. Чудесно!.. Точно так же поступил бы и я. Давайте поговорим откровенно! Значит, вы спрашиваете, ради чего? – Голос Барутчиева зазвучал чрезвычайно торжественно. – Ради того, что завтра единственным покупателем нашего табака останется рейх, а ведь это я буду указывать Германскому папиросному концерну, между какими фирмами распределять поставки… Ясно?

Барутчиев-младший взглянул на Бориса, чтобы увидеть, какой эффект произвели его слова. Но «волчонок») невозмутимо затягивался сигаретой и выпускал дым. Дерзкие и холодные глаза его были по-прежнему бесстрастны.

– Сегодня – это еще не завтра, – спокойно проговорил Борис.

– Тогда я скажу вам, каково положение сейчас. Восемьдесят процентов проданного табака пошло по цене более низкой, чем прошлогодние цены. Девяносто процентов всех партий еще ждут покупателей. Знаменательно, правда? Но наши торговцы – дураки и ничего не видят.

– Временный застой цен, – с притворной наивностью сказал «волчонок». – Я тоже придерживаю свои партии в ожидании более высоких цен.

– Ошибаетесь! – великодушно воскликнул Барутчиев-младший. – Ошибаетесь, дорогой мой!.. Приближается невиданный экономический кризис. Цены на продукты земледелия и на табак катастрофически упадут. Впереди паника и банкротство. Вы ведь знаете, что в этой области я получаю отличную информацию. По придворным и дипломатическим каналам. И по еврейским, коли на то пошло… Заметьте себе, и по еврейским!.. Парадоксально, не правда ли?

– Нет, ничуть не парадоксально, – сказал Борис – Все знают, что вы доверенное лицо Коэна, а в то же время перед гитлеровцами выступаете как антисемит… Впрочем, песня Коэна в Германском папиросном концерне уже спета, и главная заслуга в этом принадлежит вам.

– Сплетня! – вскричал Барутчиев. – Как вы можете так говорить! Это сплетня… Коэн – мой друг. У меня есть связи с немцами, но что касается их отношения к евреям, то тут я держусь нейтрально.

– Нет! Вы очень ловко готовите себе почву для работы с немцами, лебезя перед ними. Коэн спокойно мог бы работать с немцами, если бы вы им не доносили, что он повсюду высказывается против них… Но все, что касается Коэна, не имеет значения для наших с вами отношений, Дорогой господин Барутчиев.

– Да, не будем заниматься сплетнями! – На лбу Барутчиева выступили мелкие капельки пота. – Они не заслуживают внимания, – добавил он с деланно презрительным смехом. – Речь шла о том, что мне вчера сообщили из Берлина… Вам известно, что мой брат, который живет в Германии, на этих днях станет полномочным представителем в Берлине, так ведь?

– Известно. И он очень близок с фон Гайером, новым директором отделения восточных Табаков в Германском папиросном концерне.

– Вы неплохо осведомлены, – самодовольно проговорил Барутчиев. – Итак, фон Гайер намекнул моему брату, что Германский папиросный концерн прекратит на некоторое время закупки на Востоке. А вы знаете, что это значит?

– Это – гитлеровский маневр, политический нажим. Скоро мы все будем на поводу у немцев. И если наступит кризис, Германский папиросный концерн сможет закупить весь наш табак, но уже по дешевке… Все это очень печально, господин Барутчиев.

– Не так уж печально, не так уж, милый юноша! Не будьте пессимистом! Германский папиросный концерн будет производить закупки по низким ценам, но в больших количествах, и прибыли не уменьшатся… Я говорю об избранных фирмах, которые по-прежнему будут торговать с немцами, – добавил он многозначительно.

– Какие же это будут фирмы? – спокойно спросил Борис.

– Наши!.. – торжественно ответил Барутчиев. – Мол и ваша. Мы получим львиную долю поставок, а другие будут подбирать крохи.

– Это вопрос будущего, – равнодушно проговорил Борис. – Меня больше интересует, что именно вы можете сделать для «Никотианы» сегодня.

Глаза Барутчиева испытующе впились в хитрого «волчонка».

– Не разумнее ли подумать о завтрашнем дне? – спросил он.

– Я привык рассчитывать только на то, что можно сделать сегодня.

– То же самое я могу сказать о себе.

– Тот, кто хочет, чтобы ему доверяли, первым представляет доказательства, что он достоин доверия, – заметил Борис.

– Доверия?… – Барутчиев надменно взглянул на него. – Вы сомневаетесь в моих связях с немцами?

– Ничуть!.. Но они чисто платонические.

На губах Бориса опять заиграла холодная улыбка.

– Вы рассуждаете поверхностно, дорогой мой! Моральный фактор для немцев важнее.

– Может быть, завтра – да, но сегодня – нет… Чтобы влиять на нас в политике, они должны сначала привести в действие материальные факторы.

– Вы правы, – сказал Барутчиев, немного задумавшись. – Но что вы хотите этим сказать?

– Нечто совсем простое. Вы не сможете сейчас занять место Коэна, несмотря на симпатии, которыми пользуетесь у немцев.

– Почему?

– Вы не овладели политической стороной дела.

Барутчиев опять задумался, и лицо его сделалось глуповатым. Эта мысль еще не приходила ему в голову.

– Овладею, – сказал он немного погодя.

– Не сможете. У вас не хватит денег.

– Деньги я получу от немцев.

– Не выйдет… Немцы ни за что не раскошелятся сами, если они имеют возможность принудить к этому кого-то другого. Разве не ясно?

Барутчиев не понял этого или притворился, что не понял. Борис решил высказаться определеннее:

– Давайте поговорим, как коммерсанты нашего ранга, господин Барутчиев! Речь идет о политических деятелях и о ниточках, за которые их дергают… У вас нет кукольного театра, а мой работает безупречно. Немцы смогут использовать его, если обеспечат сбыт моего табака через свой папиросный концерн.

Седовласый делец только рот раскрыл, а «мальчишка» смотрел на него своими угрюмыми глазами спокойно, холодно, невозмутимо. Какой цинизм! Какая дерзость!.. Неужели он не стыдится или хотя бы не опасается так говорить? Вот оно, новое поколение! Оно даже не дает себе труда лицемерить. Но вслед за охватившим его изумлением Барутчиев почувствовал гнев и злобу. Теперь ему было совершенно ясно, какие условия ставит Борис.

– Вы хотите… – голос Барутчиева стал болезненно хриплым, – занять место Коэна… и чтобы «Никотиана» получила львиную долю поставок для Германского папиросного концерна?… Вы этого хотите, да?

– Именно, господин Барутчиев. Вы можете предложить это немцам, и на этом выгадаем и вы и я. Можете использовать и дворцовую линию.

– Никогда! – злобно прошипел Барутчиев.

– Почему?

Голос Бориса ничуть не изменился.

– Потому что я вот уже целых два года жду этого для себя. Гм… Слушайте, юноша! Вы стали слишком дерзки – вы принижаете других и переоцениваете себя. А вам не страшно? Ваш тон становится опасным.

В глазах Барутчиева вспыхнула скрытая угроза.

– Если он опасен, то прежде всего для вас. – «Волчонок» вдруг рассмеялся, и его резкий смех прозвенел, как металл. – Вы, пожалуй, потеряете всякую возможность выиграть дело.

– Завтра я буду сильным, – глухо прорычал Барутчиев.

– Не больше, чем сегодня, потому что вам не хватает некоторых качеств. – Голос Бориса зазвучал громче и стал неимоверно дерзким. – Вы будете указывать фон Гайеру ту или другую фирму, протаскивать мелкие, плохо обработанные партии, но львиная доля всегда будет от вас ускользать, ибо торговец вы неспособный. Немцы знают, что вы ничего не понимаете в табаке, в его качестве и обработке. Они видят, что вы обыкновенный хвастун, одержимый манией величия, и угощаете их одной болтовней, не обладая ни настоящей финансовой мощью, ни влиянием на политических деятелей.

Барутчиев вскочил с кресла.

– Это наглость!.. – крикнул он. – Вы меня оскорбляете!

– Я говорю правду для вашей же пользы.

– А я скажу ее там, где потребуется, вам во вред!.. Все знают, что у вас братья – коммунисты.

– Ну так что?

Голос Бориса чуть дрогнул, но только на миг.

– Подумайте о моих когтях!

– Суд обкорнает их. Если вы не выиграете процесса, вы погибли. Неужели вы думаете, что ваши немецкие друзья за ним не следят?… Или допускаете, что Германский папиросный концерн предоставит вам кредит на закупку десяти миллионов килограммов табака, если выяснится, что деньги, отпущенные банком вашего брата, вы употребили на постройку самого роскошного особняка в Софии и на приобретение квартиры для своей любовницы?

Барутчиев внезапно побледнел.

– Это подлость!.. – осипшим от гнева голосом выкрикнул он. – Ничего подобного не было.

– А такие разговоры идут среди судей и в обществе.

– Я подам в суд и на вас!

– Отлично. А я тогда скажу, от кого слышал обо всем этом.

– Говорите немедленно!

– Не сейчас. На суде.

– Вы нечестный… подлый человек!.. – Барутчиев брызгал слюной. – Вы интриган!.. Вы разрушитель… антиобщественный тип!..

– Тут уж вам никто не поверит.

– Я вас скомпрометирую… я скажу, что братья у вас коммунисты! Я разоблачу вас перед немцами… при дворе… Всюду!

– Но свое дело против банка вы проиграете. Будьте в этом уверены. Я знаю, какие факты мне в качестве эксперта нужно подчеркнуть на суде. И не забывайте, что министр юстиции – акционер «Никотианы» и что… Впрочем, вы знаете, что именно!.. Даже самые честные судьи развязывают глаза Фемиде, когда рассматривается дело о тридцати миллионах.

– Жалкое правосудие!.. Презренные судьи!..

– Они члены демократической партии, лидер которой – ваш брат.

Барутчиев стиснул голову руками и как безумный принялся шагать взад и вперед по комнате.

– Успокойтесь и сядьте, господин Барутчиев!.. – вежливо проговорил Борис – Давайте закончим разговор спокойно.

Барутчиев грузно опустился в кожаное кресло. Он тяжело дышал. Лицо его посинело, по щекам текли капли пота. Он вынул платок и отер лицо. Борис наблюдал за ним с холодностью существа, неспособного испытывать гнев, ненависть или сочувствие. Только по черному блеску его зрачков можно было угадать, как он торжествует, стоя над поверженным противником.

– Что вы предлагаете? – глухо спросил Барутчиев.

– Объяснимся до конца, и вы увидите, что и вам это будет на пользу. Я говорю не только об исходе дела… Ведь если вы даже займете место Коэна, вам не удастся справиться с огромными поставками Германскому папиросному концерну. Вам недостает хватки, организационных способностей, технического персонала… На будущий год немцы отдадут поставки другому. Да, так и будет!.. Вы сами это прекрасно чувствуете. Это лишь техническая сторона вопроса. Но немцы хотят оказывать и политическое давление, а вы не располагаете для этого никакими средствами, кроме ваших людей во дворце, однако эти люди еще не желают выступать открыто. «Никотиана», напротив, имеет связи с правительством, депутатами, оппозицией… с прессой и генералами запаса… везде!.. Глупо думать, что вы можете завоевать этих людей сами. Работа трудная и во многих отношениях опасная. Я имею дело с людьми, которых получил вместе с «Никотианой», так сказать, по наследству от папаши Пьера. А с новыми связываться опасаюсь… Иные пройдохи двух маток сосут!.. Иные политиканы втайне придерживаются левых убеждений и могут подвести вас своими запросами в палате… Удивляюсь, как это вы до сих пор не поняли столь простых вещей?

Барутчиев молчал, мрачно глядя прямо перед собой.

– Итак, положение таково, – продолжал Борис. – У вас хорошие связи с немцами, но в данный момент вы для немцев бесполезны. Я пока не имею таких связей, но держу в руках важные рычаги, которыми можно изменить политический курс. Чудесно, правда? А раз это так – мы союзники, и нам нет никакого смысла наносить друг другу удары из засады. Теперь несколько слов о вас. Я дам такие показания, какие вам нужны. О, не беспокойтесь!.. Судей я могу засыпать аргументами, вычислениями и техническими доводами. А можно и просто припугнуть банк и принудить его к выгодному соглашению. С моей точки зрения, это наилучший выход, иначе вы столкнетесь с разными политическими негодяями, которых банк на вас натравит… Разве я не прав? Таким путем вы спасаете свой дом, имущество, доброе имя и восстанавливаете свою репутацию благоразумного торговца… А я получаю поставки для Германского папиросного концерна и в конце года выделяю вам десять процентов из прибылей, хотя вам не придется и пальцем шевельнуть и вы ничем не будете рисковать.

– Десять процентов – это мало!.. – простонал Барутчиев.

– Как мало?… – сурово проговорил Борис – Совсем не мало.

– Справедливо было бы разделить прибыли хотя бы поровну.

– Это исключено!

– Тогда – сорок процентов!.. Иначе не хочу… не могу согласиться…

– И я не могу.

«Волчонок» был неумолим. Наступило молчание. Барутчиев опять вытер потное лицо.

– Я подумаю, – сказал он наконец.

– Долго думать нельзя. Фон Гайер и Прайбиш, возможно, уже здесь, смотрите не упустите их. Вчера вечером я видел Лихтенфельда.

– Не может быть!.. – удивился Барутчиев. – Где вы его видели?

– Он пьянствовал в баре… Можете считать, что Лихтенфельд для вас уже потерян. Шайка Кршиванека поймала его в свои сети.

– Но Кршиванек – преступный тип… Он ничего не добьется.

– Не будьте в этом слишком уверены. Его шурин – министр в новом правительстве рейха.

Лицо у Барутчиева исказилось и даже как-то поглупело.

– Принимаете мое предложение? – спросил Борис.

– Принимаю… – глухо простонал Барутчиев.

После его ухода Борис позвал главного эксперта и беседовал с ним полтора часа. Синеватые клубы табачного дыма заволокли комнату. Борис говорил спокойно, ясно, почти без передышки. Костов кивал и делал заметки. Время от времени он позволял себе возражать, но Борис тут же отводил его возражения, однако без той суровой надменности, с какой он относился к другим служащим. Под влиянием Марии они вполне доверяли друг другу, и сплетни, распускавшиеся другими фирмами, не могли поколебать это доверие. Костов был легкомысленный волокита, мот, немного ленивый, но умный и очень честный человек. Борис остерегался задевать его самолюбие и после смерти папаши Пьера удвоил ему жалованье и ежегодную премию. Костов же ценил в Борисе его широкий размах и трезвую жизнь. Но, уважая друг друга, оба втайне и презирали один другого, и это объяснялось различием в их характерах. Борис относился к людям холодно и жестоко, а Костов – отзывчиво и человечно. Первый, поднявшись из низов, знал, как опасен бунт голодных, и понимал, что привилегии сытых ненадежны и находятся под угрозой. Второй, выросший в довольстве, считал эти привилегии естественными и не находил нужным нарушать свое спокойствие жесткими и беспардонными мерами против рабочих.

Когда деловая часть разговора была окончена, Борис шутливым тоном спросил эксперта:

– Ну, Костов, что вы думаете обо всем этом?

– Если мы введем тонгу, рабочие ответят на это стачкой.

– Мы ее задушим.

– Не люблю крови.

– Опять сентиментальности! – Борис засмеялся. – Вы живете, как сверхчеловек, а рассуждаете, как муравей.

– А вы наоборот, – отозвался эксперт.

– Какой же образ жизни лучше?

– Естественно, мой. У меня настроение всегда лучше, чем у вас.

– А я разве выгляжу мрачным?

– Да, ужасно мрачным, – подтвердил Костов. – Вы похожи на игрока, который тянет карту за картой, но все время боится, как бы противник не показал ему козырного туза.

Борис задумался.

– Жизнь – это деятельность, Костов! – сказал он немного погодя, – Борьба… напряжение… Именно в этом я нахожу удовольствие.

– Теперь – да, но потом это вам надоест.

– Почему?

– Потому что этой деятельностью вы ничего не добиваетесь.

– Как так? А «Никотиана»?

– «Никотиана» всего лишь куча золота. Но золото бессмысленно, если оно не превращается в человеческое счастье.

– А каким образом вы превращаете его в счастье? – В голосе Бориса вдруг прозвучала злость. – Уж не тем ли, что раздаете рождественские подарки десятку рабочих?… Это мог бы делать и я, но, по-моему, это бесполезно.

Борис посмотрел на часы и сухо проговорил:

– Еду к Торосяну.

Он сел в автомобиль и закурил сигарету, но тут же погасил ее.

Он много курил, не ходил пешком и вел очень неподвижную и нездоровую жизнь. И легкие его, казалось, ничто не могло очистить от табачной смолы и пыли, которые скопились в них за первый год работы в «Никотиане». Вспомнив обо всем этом, он приказал шоферу остановиться, вылез из машины и пошел пешком.

Снег, выпавший несколько дней назад, уже растаял, и в этот тихий декабрьский день по склонам Витоши ползли туманы. Железно-серое небо отражалось в мостовой мутным белесоватым светом. Из Докторского сада тянуло запахом гниющих листьев. Какой-то гвардейский поручик с отчаянным усердием скакал галопом по кругу в аллее Царского манежа и время от времени покрикивал на своего коня.

Борис с тревогой и досадой думал о Кршиванеке.

Жилище у Торосяна было всегда под стать его успехам в торговле. Когда армянин разорялся, он снимал дешевую квартиру, а когда наживался – снова жил как князь. Он обладал удивительной способностью терять свое богатство в течение нескольких месяцев, а потом приобретать его еще быстрее. Щедрость Торосяна создавала ему политические связи, а богатое восточное воображение постоянно побуждало его лгать и хвастаться, так что обычно никто не мог догадаться, готовит ли он какой-то удар или бездействует.

Сейчас в руках у Торосяна опять сосредоточилось завидное богатство, которое он приобрел благодаря связям с американскими фирмами и французским торговым представительством. Дом у него был роскошный, и только маленький дворец мота Барутчиева превосходил его своим блеском.

По-прежнему озабоченный мыслью о Кршиванеке, Борис вошел в старомодный, но очень изысканный салон. Торосян купил дом у наследников умершего банкира. В креслах около маленького передвижного бара сидело человек десять; Борис их отлично знал.

Торосян выбежал ему навстречу и, словно нетерпеливо ожидавшая его одалиска, протянул обе руки. Это был хилый, низенький, подвижной человечек с русыми усиками и хитрым лицом. Он напоминал кокетливую лисичку.

– Ну же, мы ждем тебя… – сказал Торосян, с такой горячностью сжимая руки гостю, словно готов был его расцеловать.

Борис посмотрел на часы. Разговор с Костовым задержал его.

– Надо было начинать без меня, – небрежно бросил он.

– Что ты!.. – Торосян немедленно преподнес ему одну из своих льстивых фраз. – Неужели мы можем что-нибудь решить без тебя!

«Будет тебе болтать», – с досадой подумал Борис. Он подозревал, что армянин созвал совещание, чтобы прощупать почву для общего фронта против Германского папиросного концерна. Правда, Торосян продавал концерну через Коэна свои низкокачественные партии табака, но это никак не могло бы восполнить потерю американского и французского рынков, если бы немцы монополизировали торговлю с Болгарией.

Борис обменялся рукопожатием с остальными гостями и сел в кресло. Почти все пожимали ему руку с лицемерной любезностью. Они напоминали волков, готовых пожрать друг друга, но порой случалось, что их объединяли общие интересы, и тогда они действовали заодно. Обычно это происходило тогда, когда им нужно было нанести удар по кооперативам, узаконить какой-нибудь обман государства, посильнее нажать на производителей или общими усилиями подавить большую стачку. Тогда каждый начинал дергать ниточки в своем кукольном театре. Но сейчас не было подобного повода для единых действий, поэтому Борис с уверенностью заключил, что Торосяна волнует нечто, задевающее только его собственную шкуру.

Кокетливая лисичка подбежала к бару и любезно осведомилась:

– Ты что предпочитаешь, Морев?… Коньяк, анисовку или сливовую на сорока травках?

– Сливовую на травках, – ответил Борис – И разговоры без прибауток, чтобы кончить поскорее.

Сидящий возле него Коэн громко засмеялся. Несмотря на угрожающие евреям беды, он не терял хорошего настроения. Главное – быть предусмотрительным. Коэн уже начал окольными путями перебрасывать свои капиталы за границу, и дело шло успешно.

Торосян наполнил рюмку. Борис подошел к бару, чтобы ее взять, – слуги не должны были слышать того, что говорилось на подобных совещаниях, и миллионеры обслуживали себя сами. Когда Борис вернулся на свое место, Коэн все еще смеялся. Это был приятный на вид человек, белокурый, с красным лицом и голубыми глазами. На его плешивом темени еще оставалось несколько тщательно зачесанных прядей.

– Приготовься слушать армянские анекдоты насчет Германского папиросного концерна, – сказал Коэн.

– Я не собираюсь слушать их без конца.

– И я тоже. Я должен уйти в час.

– Но тебе эти анекдоты могут показаться интересными, – заметил Борис.

– Только забавными! – рассмеялся Коэн. – Торосян просто скажет, что Германский папиросный концерн приготовил для всех виселицы, и предложит вам покончить самоубийством… Но это неинтересно. Смешно то, что он заранее уверен в провале своего маневра.

– Тогда зачем отнимать у нас время?

– Чтобы попрыскаться одеколоном, прежде чем принять французское подданство!.. Его попытка защитить интересы Франции перед десятком собравшихся здесь дураков будет известна на Кэ д'Орсэ,29 а Кэ д'Орсэ нажмет на директоров Compagnie Générale des tabacs,30 требуя, чтобы они закупали восточные табаки в Греции и Турции через Торосяна… Ясно тебе, а?… Он уже открыл филиалы своей фирмы в Кавалле и Стамбуле.

– Чтоб его черт побрал! – сердито проговорил Борис.

– Я же тебе говорил, что он смешон.

– Я сейчас же ухожу.

– Подожди. Мы с тобой еще посмеемся.

– Над кем?

– Над нашими чурбанами. Еще немного – и они будут с пеной у рта защищать немцев… Теперь все стали патриотами… Гитлер, видите ли, обещает Болгарии Эгейское побережье, Македонию, проливы, Стамбул и даже колонии!

Коэн вдруг рассмеялся.

– Почему?… Разве это невозможно? – сухо спросил Борис.

Еврей удивленно посмотрел на него.

– Ты умный человек, Морев, – сказал он. – Я тебе благодарен за услуги, оказанные мне твоими людьми, и от всего сердца желаю тебе занять мое место по поставкам Германскому папиросному концерну… Но разреши мне сказать тебе, что Болгария идет к гибели.

Они умолкли, молчали и все остальные, звучал только голос Торосяна. Армянин рассказывал гостям, как ему удалось раздобыть сливовую на сорока травках.

– Может быть, ты рассуждаешь субъективно, – проговорил Борис.

– Да, может быть, – согласился Коэн. – А что, Барутчиев приходил к тебе? – неожиданно спросил он.

– Да, сегодня утром.

– Ну?… И как?

– Договорились, но я не знаю, насколько он искренен.

– Нажимай на него беспощадно, – сказал Коэн. – Он в твоих руках.

Борис отпил сливовой на сорока травках. Она показалась ему противной.

– Я боюсь Кршиванека, – сказал он.

– Кршиванек – обыкновенный мошенник из австрийского торгового представительства, – небрежно уронил Коэн. – И немцы рано или поздно это узнают. Но он может стать очень опасным, если вы упустите Лихтенфельда и Прайбиша.

– Лихтенфельд уже упущен, – хмуро сказал Борис.

– Вот как? – В голосе торговца прозвучало сочувствие. – Как же это случилось?

– Я думаю, что Зара заполучила его для Кршиванека.

– Но Зара, насколько мне известно, крутится в немецком посольстве и собирает сведения для вас?

– Она любовница Кршиванека, – сухо объяснил Борис. – Я узнал это вчера.

Борис и Коэн, сидевшие поодаль, перешептывались так долго, что это привлекло внимание всех, а особенно Торосяна.

– Против кого заговор? – с любопытством спросил он.

– Против твоего коньяка, – громко ответил Коэн. – Сливовую в рот нельзя взять.

– Тогда я подкачу к вам бар.

Мучаясь от любопытства, но безобидно посмеиваясь, Торосян подкатил к ним бар.

– Ну, начнем? – спросил он.

– Хватит тебе болтать, начинай наконец!.. – сказал кто-то.

Коэн поудобней уселся в кресле с видом человека, который приготовился смотреть спектакль, а Борис обвел взглядом лица присутствующих. Почти все они были грубы и бесчувственны. Два или три из них выражали такую тупость и ограниченность, что Борис ощутил вдруг необъяснимую ненависть к этим людям и спросил себя, что же все-таки помогло им выдвинуться. Но он вскоре утешился мыслью, что все это обыкновенные неучи, которые нажились случайно и быстро пойдут ко дну во время грядущего кризиса. Только лица Коэна и Барутчиева-старшего говорили о культуре и незаурядном уме. Торосян походил на ярмарочного плута, а лица всех других предательски выдавали свойственные их обладателям неспособность к комбинативному мышлению и склонность к грубым мошенничествам.

Удрученный чем-то, Барутчиев-старший, человек с восковым лицом и запавшими глазами, сидел поодаль. Он устал от шума. Его бросало то в жар, то в холод, он обливался потом, а табачный дым раздражал его, затрудняя дыхание. Но он не хотел просить своих коллег прекратить курение, чтобы они не узнали, как плохо он себя чувствует, и не стали злорадствовать. А ведь он, бесспорно, заслуживал и здоровья, и главенства над всеми. В его руках были и акции «Восточных Табаков», и банк, и газета, и вся демократическая партия. Он чувствовал приближение кризиса, но его уже одолели равнодушие и пассивность. На складах у него лежали огромные запасы непроданного табака, а он боялся путешествий за границу, напряжения деловых переговоров, простуды, бронхита, быстрого ухудшения своего здоровья. Какая-то странная усталость притупляла остроту его мысли, заставляя его притворяться перед самим собой, будто падение цен вызвано вовсе не начинающимся кризисом, а лишь нервозностью после событий в Германии.

Лицо у него было красивое, нос острый, губы тонкие и бескровные. Он чем-то напоминал древнеримского сенатора. Мертвенная белизна его рук зловеще выделялась на черном костюме, а взгляд был неподвижен и мрачен. Да и все в этом человеке казалось мрачным. Даже начало eго богатства терялось во мраке зловещей легенды. Поговаривали, будто он подделал завещание своего дяди. Но легенда эта была вымышлена. Наследство он получил законно и во сто крат увеличил его, занимаясь торговлей. Вначале ему было не чуждо стремление к безвозмездной общественной деятельности. В молодости он участвовал как четник в левом крыле македонского революционного движения,31 после этого занял пост кмета,32 не состоящего на жалованье, в своем родном городе и избавил жителей от зловония и тифа, проведя водопровод. Богатство его начало расти быстро, когда он вместе с покойным Спиридоновым первым стал вывозить табак за границу. Но чем больше он богател, тем больше изменяли ему силы и тем более мрачным и замкнутым становился его характер. Его склонность к общественной деятельности вылилась в грубый захват демократической партии, которую он использовал в интересах своей торговли, а юношеское великодушие превратилось в алчность. Легкие у него были уже разрушены болезнью, однако он продолжал объезжать филиалы своей фирмы, спускаясь в холодные подвалы складов, прижав платок к губам, обходил пыльные цехи, в которых обрабатывали табак, и дышал насыщенным ядовитыми испарениями воздухом ферментационных помещений.

Теперь он, судя по всему, добрался до вершины своего могущества и был одним из самых богатых людей в Болгарии, а его газета направляла общественное мнение. Заправилы демократической партии слепо подчинялись ему, а царь приглашал его на коронные советы. Но на самом деле закат его могущества уже приближался. Нити, посредством которых он управлял людьми, стоящими у власти, стали рваться, а «Никотиана» и другие крупные фирмы душили его. Теперь он был всего лишь старый, больной, изможденный человек, смерти которого ждали все, даже его близкие. Борис равнодушно отвел взгляд от его одряхлевшей сенаторской фигуры.

Удивительна была история Коэна. У этого человека были умные голубые глаза. Такие же холодные глаза грабителя и хищника, как у всех сидевших сейчас возле него, но только без их глупого высокомерия. Где-то в глубине их синевы светилось спокойное самодовольство человека, посвященного в тайну денег. Его возвышение шло по золотой лестнице социал-демократии. Подробности этого возвышения были не очень ясны, но история его сводилась к следующему: в 1918 году социал-демократ Кнорр был изгнан большевиками и нашел убежище в Германии. Туда Кнорр вместо денег вывез другое, гораздо более значительное богатство – свой ум. Через два года он стал собственником маленькой папиросной фабрики, которую купил у каких-то братьев Нильзен. Тогда социал-демократ Штреземан дал социал-демократу Кнорру право платить налог по акцизным бандеролям от сигарет лишь после Продажи товара. Это был удачно придуманный беспроцентный заем из государственной казны. Маленькая фабричка раздулась, стала расти, как буйная плесень, и душить или поглощать все папиросные фабрики, которые пытались с ней конкурировать. Еще через несколько лет бывшая фабрика братьев Нильзен превратилась в могучий папиросный концерн, которым управлял доктор Кнорр. Тогда-то и произошло еще одно событие. Социал-демократ Кнорр познакомился на одном собрании в Гамбурге с социал-демократом Коэном и поручил ему организацию поставок табака из Болгарии. Чем добился Коэн такого доверия? Глядя в умные, насмешливые глаза Коэна, Борис подумал, что социал-демократия – это новая форма давно известного искусства управлять миром при помощи денег. На другом конце гостиной сидел Чукурский, который старался держаться подальше от Барутчиева, так как был с ним в ссоре. Трудно было найти более неблагодарного человека. Двадцать лет назад он поступил в фирму Барутчиева на должность писаря; спустя некоторое время стал бухгалтером, потом экспертом и наконец генеральным директором. Теперь он торговал самостоятельно. Его эгоизм граничил с неблагоразумием. Все знали, что он отказался принять на работу даже человека, который перенес его на своей спине через границу в те времена, когда Стамболийский33 преследовал разжившихся на войне. Знали также, что он ушел из фирмы «Восточные табаки» в тяжелый для нее момент, когда Барутчиев лечился в санатории, и не выполнил просьбы хозяина управлять фирмой до его возвращения. Все это вело к тому, что, случись беда, вряд ли кто-нибудь пришел бы на помощь Чукурскому. Приземистый толстяк, он всегда пыжился как индюк и большей частью молчал. Он обладал кое-какими коммерческими талантами, но деятельность его была скована преувеличенной осторожностью и скупостью, так что он считался неопасным конкурентом. Борис небрежно отвел от него взгляд.

Позади Чукурского сидел Груев. Это был простоватый, но умный и сметливый человек с круглым красным лицом. Его стихией были закупки в селах. Острые его глаза издалека следили за Борисом и Коэном, пытаясь угадать содержание их беседы по выражению лиц. Но это ему не удавалось, и он все время беспокойно ерзал в кресле, сгорая от любопытства. Он начал с работы в отцовской корчме, где, поднося ракию посетителям, прошел школу мелкой торговлишки, и наконец занялся табаком. Его первая крупная сделка закончилась банкротством, повлекшим крах банка, в котором хранили свои сбережения мелкие вкладчики. Теперь он был главным экспертом и компаньоном Торосяна. Его практичный и трезвый ум служил неоценимым тормозом для горячего воображения армянина. Борис обычно сталкивался с ним во время кампаний закупок в деревне. Честолюбие Груева дальше не шло. Недостаток образования мешал ему делать точные расчеты и лишал возможности самому выйти на международный рынок. Ему суждено было всегда оставаться лишь привеском к Торосяну.

Взгляд Бориса продолжал рассеянно скользить по лицам. Все это были неинтересные, случайно разбогатевшие люди, которые не заслуживали его внимания. Их скудный ум и мелочность мешали им спекулировать в крупном масштабе. Алчность, с какой они привыкли каждый год ждать больших прибылей, предвещала, что они, несомненно, станут жертвами кризиса. Все они видели, как падают цены, но не желали продавать свой товар, и красноречию Торосяна, который сейчас уверял их, будто Франция вскоре попытается вызволить страну из лап немцев, только усугубляло их упрямство. Этим близоруким глупцам, наводнявшим рынок, предстояло опуститься на дно, к вящему удовольствию Бориса.

Когда совещание закончилось, табачные князья раздраженно вытерли свои потные, раскрасневшиеся лица.

Красноречие Торосяна лилось потоком, но слушатели утопили оратора в своих возражениях. Пустословие но смогло победить глупость. Предложение Торосяна образовать общий фронт против Германского папиросного концерна провалилось. Если французы хотят спасти страну от немецкой монополии, пусть они сами покупают табак. Но раздражать, да еще в такое время, единственного серьезного покупателя – чистое безумие. Нет, эти господа не пожелали бы брать на себя никаких обязательств, идти на риск, отрываться от своих куч золота, даже если бы мир рухнул на их головы!.. Все были уверены, что политическое соперничество между великими державами приведет только к повышению цен.

Но по некоторым мелким вопросам дельцы согласились с Торосяном. Все изъявили готовность будущей весной ввести тонгу.

**VII**

Когда Борис вышел от Торосяна, шофер, предупрежденный по телефону, ждал его с машиной у подъезда. Шел снег, тихий, пушистый, крупными хлопьями, и его белая пелена будила в прохожих радость и волнение. Из здания ректората высыпала толпа студентов, и они тотчас же принялись кидаться снежками. Породистая собака, выпущенная на волю, стремглав пронеслась по тротуару, остановилась на миг и бросилась обратно к служанке, которая вывела ее на прогулку.

Борис сел в машину. Серые шерстяные занавески на окнах пахли лавандой – духами Марии. В бутоньерку над сиденьем был вставлен букетик гвоздик. Все это приятно напоминало Борису о жене. Для этого Мария и оставляла свои «следы» в машине.

Снежинки липли к оконным стеклам. Борис видел, как они тают и превращаются в нежные капельки воды. Ему стало приятно и легко. Потом он вдруг вспомнил по контрасту тяжкие дни первого снега в те зимы, когда он возвращался домой в дырявых башмаках, с мокрыми ногами. Учитель латинского языка был так беден, что покупал башмаки своим сыновьям лишь раз в два года, и семья всегда встречала первый снег с неудовольствием. Но теперь все это казалось Борису полузабытым бредовым сном. Теперь он владел «Никотианой».

Автомобиль подъехал к его красивому дому. Слуга быстро распахнул двери парадного подъезда, и Борис вошел в вестибюль. Этот дом, совсем новый, построенный в соименном вкусе, был свадебным подарком молодой чете от папаши Пьера. Он стоял достаточно далеко от старого дома, в котором жила его вдова. Госпожа Спиридонова все еще не могла простить зятю его плебейского, чиновничьего происхождения.

Из вестибюля была видна анфилада комнат первого этажа; просторный холл, столовая, гостиная и зимний сад. Витая деревянная лестница, украшенная большими вазами из керамики и субтропическими растениями, вела на второй этаж. Мария несколько месяцев подряд не давала покоя архитекторам и декораторам, пока не обставила весь дом в современном стиле.

Борису стало приятно, как и всякий раз, когда он возвращался домой. Что за чудесный у него дом!.. Роскошь и современные удобства удачно сочетались здесь с прямыми линиями, удлиненными прямоугольниками комнат и нежными тонами красок. Внутреннее убранство напоминало простые, но неповторимо элегантные наряды Марии. Борис представил себе ее бледное, словно написанное акварелью, лицо дурнушки, худенькое тело и длинный, стянутый в талии халат из тяжелого розового шелка, который она носила дома. Его охватило слабое волнение, похожее на нежность. Мария и не докучала упреками, и не мешала работать, и не изменяла ему. Впрочем, она не была красива, и, когда вышла замуж, поклонники сразу же ее забыли. Она жила уединенно, уже почти не играла на рояле и, вероятно, страдала от мысли, что не может иметь ребенка. Борис почувствовал угрызения совести. Он вспоминал о жене, только когда приходил домой.

– Госпожица Зара здесь, – доложил слуга.

– Где она? – быстро спросил Борис.

– В маленькой гостиной.

– Хорошо.

Зара ждала уже полчаса. Мария отказалась принять ее наверху. Подруги по колледжу теперь охладели друг к другу, и отношения у них были чисто светские. Борис снял пальто и вошел в маленькую гостиную.

– Так, – произнес он вместо приветствия.

Зара сердито отшвырнула старый номер какого-то английского журнала, который перелистывала.

– Хозяйке дома не худо было бы быть повежливей, – сказала она, покраснев от гнева. – Я не портниха, чтобы заставлять меня дожидаться здесь.

– Рассказывай!.. – сухо приказал Борис.

Зара возмущенно посмотрела на него.

– Иногда вы оба становитесь форменными грубиянами – Она – маньячка, ты – выскочка!

«Шлюха», – подумал Борис, но овладел собой и стал делать. Лицо его сделалось неподвижным, как у мумии. Брови Зары беспокойно дрогнули.

– Что это значит? – спросила она изменившимся голосом.

– Ничего!.. – Он коварно улыбнулся. – Мария больна.

– До этого мне нет дела!.. – Зара быстро обрела свою нахальную самоуверенность. – Изнеженные дамы чаще всего заболевают от безделья и собственной глупости.

«Настоящая шлюха», – опять подумал Борис. Черные глаза гостьи блуждали с озлоблением и тоской по красивой обстановке комнаты. Заре показалось вдруг, что, если бы она обладала всеми этими вещами, она, может быть, не была бы такой подлой. Но сейчас собственная подлость наполняла ее злорадством.

– Что нового? – спросил Борис.

– Ничего особенного. Вчера вечером была на приеме в посольстве, и фрау Тренделенбург представила меня своему мужу… Прекрасно говорит по-английски… Хайльборн со дня на день ожидает, что его отзовут, а Лихтенфельд – мелкий пройдоха. Я начинаю думать, что этот тип связан с Германским папиросным концерном.

– Так.

– А ты не подозреваешь этого?

– Нет.

Брови у Зары опять беспокойно дрогнули. Тогда, стремясь убедить его в своей искренности, она сказала то, чего не должна была говорить.

– В немецком посольстве уже полгода работает одна служащая… некая Дитрих. Хайльборн подозревает, что она из тайной гитлеровской полиции… Но простовата и глупа, как тыква.

– А что представляет собой Кршиванек?

Лицо у Зары было испуганным.

– Кршиванек?… Не знаю… Кршиванек… Подожди, Дай вспомнить… Кажется, это один австриец, который старается перейти в германское подданство.

– Он занимается табаком?

– Не знаю. Но могу выяснить.

Наступило молчание, во время которого Зара снова овладела собой.

– Как идут твои дела? – быстро спросила она. – Узнал что-нибудь новое?

– Нет, – хмуро ответил Борис.

– А с Барутчиевым что решили?… Позволь мне поправить тебе галстук… Вот так!.. Он тоже был на приеме?

– Он отказался мне помочь.

– Но ты… – Зара не решалась продолжать.

– Что?

– Ты очень на него рассчитывал?

– Сука! – внезапно прохрипел Борис – Для Кршиванека выспрашиваешь?

Зара побледнела.

– Ничего не понимаю… Это еще что за чушь?

– Иди и скажи ему, что проституткам нечего делать в торговле.

– Борис!..

– Сию минуту вон отсюда!

– Это сплетни!.. Я видела его только два раза у Вагнера. Ты помнишь его?… Представитель по продаже анилиновых красок?

– Вон отсюда, сейчас же!

– Выслушай меня!.. Он, правда, пытался кое-что у меня выудить, но не смог… честное слово!

– Немедленно убирайся из моего дома! – В голосе Бориса клокотал гнев. – И завтра же освободи квартиру, в которой живешь! Слышишь?

– Квартиру?… – Зара содрогнулась. – Квартира моя.

– Нет, не твоя.

– Что ты говоришь?… Папаша Пьер подарил ее мне.

– Нет. Он ее тебе не Дарил.

– Борис!.. – В глазах Зары блеснул огонек истерии. Она была похожа на проститутку, у которой отнимают скопленные деньги. – Что ты хочешь сказать?

– Если не выедешь добровольно – вышвырнем тебя с полицией.

– Кто? Уж не ты ли с Марией?

– Акционеры «Никотианы».

– Но я докажу, что квартира моя! – Голос Зары прозвучал жалко и беспомощно. В глазах ее блеснули слезы. – Увидишь!

– У тебя нет купчей крепости.

– Я ее достану.

– Ее уже достали, и она у меня.

Слезы потекли по прекрасным нежно-смуглым щекам Зары.

– Ты… вы с Марией… чудовища… Я подам в суд.

– В суд? – Борис жестко рассмеялся. – Уж не собираешься ли ты доказать в судебном порядке, что была любовницей папаши Пьера?

– Да!.. – В голосе Зары прозвучала мрачная решимость. – Я скомпрометирую твоего тестя… твою жену, подругой которой я была.

– Моя жена не имеет никакого отношения к любовницам своего отца, – гневно прошипел Борис. – Но вот что скажут о тебе? Представь себе изумление фрау Тренделенбург, Хайльборна, всех почтенных семейных людей, у которых ты бываешь!.. Что ж, возбуждай дело, если хочешь. Закону вышвырнуть тебя, еще проще.

Лицо у Зары скривилось, губы задрожали. Никогда еще ей не угрожала такая опасность погибнуть, быть отторгнутой от пиршества жизни. И как раз теперь, когда она наконец устроилась, когда ее везде принимают и уважают, когда с деньгами, которые она зарабатывает, можно играть роль независимой женщины из высшего общества… Какая глупость – эта история с Кршиванеком! Надо же ей было отказаться от Бориса ради чечевичной похлебки… А он настоящий демон, не знающий жалости.

Зара сгорбилась и тихо заплакала.

– Чего ты этим добиваешься? – всхлипывала она. – Зачем тебе все это?

– Затем, что ты дрянь, – сказал он. – Затем, что ты неблагодарная и подлая, как всякая шлюха. Я от тебя ожидал всего, что угодно, но только не этого.

– Борис!.. – прошептала она вдруг.

Его глаза холодно впились в ее мокрое, заплаканное лицо.

– Борис! – продолжала она несколько более бодрым голосом. – Подожди, дай мне сказать!.. Я могу обернуть все это в твою пользу. Я могу сказать тебе кое-что, и это поможет тебе окончательно погубить Кршиванека.

– Гадина! И ты думаешь, что я тебе поверю?

– Умоляю тебя, выслушай меня до конца! – Глаза у Зары посветлели. – Фон Гайер и Прайбиш уже давно тут. Они живут на вилле в Бояне и изучают нашу экономику, а сведения им дает Тренделенбург. Лихтенфельд ужо у нас на поводу, но фон Гайер и Прайбиш упорствуют, И Кршиванек решил шантажировать Прайбиша…

– Как шантажировать?

– При помощи женщин… Он сфотографирует его во время кутежа с женщинами и пошлет снимки в Берлин. Так мы его, во всяком случае, припугнем.

– Кто будут эти женщины?

– Одна из них – я… Понимаешь теперь?

Голос у Зары стал совсем тихим. Он звучал грустно, почти горько.

– Так!.. – ехидно произнес Борис.

Он закурил сигарету и сел в кресло. Мозг его начал работать, как счетная машина. Зара воспользовалась случаем, чтобы напудриться и стереть следы слез. Борис ничуть не возмущался; он был только удивлен глупостью и ребяческими уловками Кршиванека. Если он действительно собирается все это проделать, то его провал будет катастрофическим.

Когда Борис поднял голову, Зара уже напудрилась.

– Я готова на все, что ты хочешь, – уверила она его негромко.

– Хорошо. Если будешь действовать с умом, получишь купчую крепость и установленную награду за этот год. Но если учинишь новую подлость и Кршиванек ничего не предпримет, в Софии тебе не жить. Ты меня понимаешь?

– Да… – с каким-то отчаянием произнесла Зара. – Что я должна делать?

– Ты будешь выполнять все, что тебе прикажет Кршиванек. Остальное – мое дело. А теперь иди!

Он проводил ее до парадного подъезда, потом подошел к телефону и соединился с Барутчиевым.

Борис заговорил таким резким голосом, как будто отдавал приказ.

– Я хочу, чтобы вы немедленно устроили мне встречу с фон Гайером. Можете присутствовать и вы.

– Хорошо, – ответил Барутчиев. – Я уже собирался поговорить с ним о вас.

Борис повесил трубку и стал медленно подниматься по лестнице на второй этаж. Сейчас он не думал ни о Кршиванеке, ни о Заре, ни о фон Гайере, Прайбише и Лихтенфельде. Его сознание было захвачено лишь одной мыслью: «Никотиана» может поставлять Германскому папиросному концерну десять – двенадцать миллионов килограммов табака в год, а он, Борис, может стать самым богатым человеком в Болгарии, гораздо более богатым, чем папаша Пьер и туберкулезный Барутчиев. А потом?… Потом в далях его мечтаний обрисовывались контуры нового величественного этапа. Он создаст филиалы фирмы за границей, будет командовать банками, станет коммерсантом европейского, мирового масштаба.

Но вдруг он остановился.

На верхней площадке, держась рукой за полированные перила, стояла Мария. Глаза ее пристально следили за Борисом, который медленно поднимался по лестнице. Но когда он поравнялся с женой и наклонился, чтобы ее поцеловать, взгляд ее не изменился – казалось, она открыла в муже нечто новое и неожиданное и это ее поразило. Она даже сделала слабое усилие высвободиться из его объятий. И тогда Борис понял, что она слышала его разговор с Зарой. Ее светло-серые глаза смотрели на него неподвижно, в каком-то странном оцепенении.

– Неужели ты примешь участие во всем этом? – тихо спросила она.

– В чем? В глупостях Зары и Кршиванека? Просто я позволю им сделать то, что они задумали. Когда занимаешься торговлей, нельзя заботиться о морали других.

– Но это не торговля, это шантаж!.. – проговорила Мария едва слышно.

– К шантажу я не имею никакого отношения.

– А готовишься обратить его себе на пользу. Даже подбиваешь Зару – обещал ей подачку, вместо того чтобы предотвратить этот шантаж.

– Да? – засмеялся Борис – По откуда ты знаешь, что я не предотвращу его вовремя?

– Если ты это и сделаешь, то только потому, что это будет тебе выгодно. После того, как ты толкнул испорченную женщину к еще более глубокому падению… после того, как унизился до переговоров с ней… после того, как сравнялся с Крпшванеком…

Голос Марии пресекся от негодования.

– Когда я борюсь с подлецами, я не могу выбирать средства.

– И тебе не противна их грязь?

– Уличная грязь может обрызгать каждого.

– Борис!.. – Голос Марии стал мягким и грустным. –. У отца были тысячи недостатков, но так он не поступал. Неужели ты не понимаешь, что Зара подличает потому, что жизнь поставила ее в безвыходное положение? И не падаешь ли ты еще ниже ее, когда пользуешься этим в своих целях?

– А твой отец разве не так поступал, когда сделал ее своей любовницей?

– Да, но он не пытался ее использовать… Если он был с ней в связи, это объясняется его личной прихотью. Во всем остальном он оберегал ее женское достоинство.

– Значит, я должен по-рыцарски относиться к проституткам и дать возможность мерзавцу подставить ножку «Никотиане»?… Хорошенькое дело!

– Я предпочитаю это.

– А я «Никотиану».

– А твое достоинство? – хмуро спросила Мария. – Выиграть игру, шантажируя беззащитную женщину? Ведь она бы тебе не призналась, не пригрози ты отнять у нее квартиру.

– Просто я хотел обезопасить себя от нее.

– Ты не имеешь права.

– Как это не имею права?

Глаза у Марии внезапно сделались какими-то пустыми и бессмысленными.

Борис вздрогнул. Он снова столкнулся со странностями, которые обнаружил у Марии год назад. Она становилась все более меланхоличной, все более замкнутой и как будто глупела. Музыку она забросила. В ее мышлении иногда бывали провалы, совершенно исчезала логика. Сначала это его раздражало, потом начало беспокоить. Она становилась все бледной, прозрачней и тоньше. Кожа ее приобрела болезненный, желтоватый оттенок, а под глазами залегли темные тени и появились морщинки.

– Ты не имеешь права… – со странным и тупым упрямством повторила Мария.

– Но, милая, ты понимаешь, что говоришь? Если тебя ударят, ты разве не будешь на это реагировать?

– Квартира принадлежит Заре, – проговорила она. – Когда отец умирал, он позвал меня и сказал мне с глазу на глаз, чтобы мы уступили эту квартиру Заре. Купчая крепость осталась у нас. Он просил меня перевести ее на имя Зары, когда все забудется, чтобы не компрометировать ее и не раздражать маму.

– Хорошо…

Борис перевел дух. Сейчас он думал только о Марии. Мысль ее снова потекла правильно. Но немного погодя она опять сказала:

– Ты не имеешь права остерегаться ее.

– Почему?

– Так.

– Ради бога, объясни мне! Если Зара шпионит за мной и выбалтывает все наши тайны моим врагам, то почему я не имею права ее остерегаться?

В светло-серых глазах Марии снова мелькнуло выражение пустоты и беспомощности. В этот миг она не понимала причинной связи явлений. И Борис опять почувствовал, что мысль ее угрожающе оборвалась.

– Мария… – Он прижал ее к себе. – Объясни мне, о чем ты сейчас думаешь? Папаша Пьер оставил квартиру Заре. Хорошо, квартиру мы ей отдадим. Но зачем позволять ей делать пакости мне?… Почему я не имею права остерегаться ее? Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Объясни мне связь между этими двумя вещами! Приведи какой-нибудь довод!.. Мария, ты понимаешь меня?

Он встряхнул ее. Но ее серые глаза смотрели тупо. В их стеклянной неподвижности была какая-то страшная пустота. И тогда он понял, что нить ее мысли все еще порвана.

– Мария!.. Мария!..

– Чего ты хочешь? – спросила она внезапно.

– Ты понимаешь меня?

– Да, что за вопрос?

Ее разорванная мысль как будто срослась снова. Мария испуганно посмотрела па Бориса.

– О чем я тебя сейчас спрашивал? – сказал он.

– Ты спрашивал странные вещи… Но если отец оставил квартиру Заре, значит, ты не имеешь никакого права остерегаться ее, даже если она попытается тебе вредить. Разве тебе это не ясно?… Зачем ты так громко называешь мое имя?

– Мария!..

– Нет, правда, что с тобой случилось?

– Ничего, – ответил он.

– Ты переутомлен, – проговорила она сочувственно. – Может быть, поэтому ты не понимаешь, как унижаешься сам, когда пользуешься Зарой в своих целях и толкаешь ее к новому, еще более глубокому падению. Для тебя она – подлое создание, которое нужно раздавить, как ты давишь других. Но она женщина. Неужели ты можешь раздавить слабую, беззащитную женщину?

Сейчас она опять рассуждала с кристальной ясностью разумного человека. Мысль ее потекла по каким-то путям сознания, которые не прерывались. Или, может быть, этот разрыв заполнился лишь для того, чтобы спустя несколько дней мысль ее оборвалась снова, но еще внезапнее и на более длительное время.

– Обед готов, – сказала она.

Они вошли в маленькую столовую на втором этаже и сели за стол. Горничная начала подавать кушанья. Говорили о пустяках.

В середине обеда Мария сказала:

– Я попрошу тебя кое-что сделать.

– Что именно?

– После обеда переведи купчую крепость на имя Зары. Поставь ей условием, чтобы она за это отказалась от шантажа с Кршиванеком. Попытайся спасти ее.

– Хорошо, – обещал Борис.

Он был доволен, что Мария не хочет обременять себя этим добродетельным поступком. Передачу квартиры можно будет великодушно преподнести Заре в качестве предварительного вознаграждения. Но он и не думал отговаривать ее от участия в шантаже. Да разве можно соглашаться с донкихотскими глупостями жены и упускать возможность нанести удар Кршиванеку?

Впрочем, сейчас Бориса целиком охватила тревога за Марию.

– Я не могу понять только одного, – произнес он осторожно, как врач, который вводит в рану зонд, – почему ты думаешь, что, если квартира принадлежит Заре, я не имею права остерегаться этой женщины. Объясни мне связь между этими двумя вещами!.. Да есть ли вообще какая-то связь между ними? Прошу тебя, скажи мне!

Он говорил медленно, подчеркивая каждое слово, потом с мучительным напряжением стал ждать ответа. Любой из двух возможных ответов должен был подтвердить самое страшное. Но он хотел еще раз убедиться в этом.

Мария посмотрела на пего широко раскрытыми глазами.

– Кто мог сказать подобную глупость? – удивленно спросила она.

Нить ее мысли снова срослась.

Борис опустил голову. Сомнений не оставалось. Тяжкая, неизлечимая болезнь Марии развивалась с трагической неизбежностью. Борис почувствовал жалость к жене, но вместе с тем и какую-то особенную, еще незнакомую ому досаду, смешанную с физическим отвращением.

**VIII**

В этом году фирмы закупили несколько больше табака, чем обычно, и склады работали до поздней осени. Шишко и Лила оказались среди немногих счастливцев, которых оставили на работе до первого снега. Но они не могли чувствовать себя особенно облагодетельствованными, так как по старой привычке помогали соседям, обнищавшим от безработицы или заболевшим. Ко всеобщему удивлению, отец и дочь вдруг присмирели; они перестали спорить о политике и спокойно занимались своим делом, словно решив стать просто беспартийными рабочими. Мастера и директора складов, которые всю зиму, до начала закупок, чуть не безвыходно сидели в кафе табачников, рассказывая друг другу турецкие анекдоты или судача о любовных похождениях хозяев, иной раз уделяли минуту внимания и рабочим. Они пришли к выводу, что Шишко и Лила образумились: Шишко постарел, а Лила стала девушкой па выданье. Только полицейский инспектор, молодой человек с юридическим образованием, время от времени тоже заходивший в кафе, не спешил согласиться с мнением мастеров. Он знал по опыту, что, если коммунисты ведут себя смирно, значит, они готовят выступление. Но опыт его был еще недостаточен и не подсказал ему, что Лила теперь стала секретарем Ремса и членом городского комитета партии.

Лила немножко подурнела – от огорчения и раны, нанесенной ее самолюбию, когда с нею расстался Павел, от работы на складе, от ночного чтения и новых, более ответственных обязанностей. Она похудела, под глазами у нее появились темные круги, а губы были поджаты строго и холодно. Лицо у Лилы стало очень бледным, восковым – очевидно, табачная пыль, разъедавшая ее молодой организм, уже довела ее до малокровия. Только в глазах сохранился прежний огонь. Странные это были глаза – пронизывающие, голубые, смущающие, непохожие на глаза молодой девушки.

Как-то раз, в начале декабря, после обеда, когда на складе «Родоп» работа уже подходила к концу и рабочие разбирали последние поступившие от крестьян тюки, к Лиле подошла курьерша из конторы.

– Директор велел, чтобы ты после звонка к нему пришла, – сказала она с усмешкой.

– Ладно.

Лила нахмурилась и опять принялась сортировать табачные листья. Курьерша была женщина пухленькая, хорошенькая, но неприятная. Злые языки говорили, что она сводничает, поставляя работниц мастеру. Директор склада был в этом отношении вне подозрений, так как не интересовался работницами. Это был элегантный мужчина, франт, развлекающийся только с дамами из местного светского общества.

А мастер в это время подошел к Шишко и снисходительно заметил:

– Ну как, угостишь?

– По какому поводу? – сухо спросил тот.

– Директор хочет дать твоей дочери место в конторе.

– Лила не согласится.

– Почему не согласится? В конторе-то… Плохо, что ли? Ты не слушай, что болтают насчет меня и директора. У нас на складе пакостей не бывает. Мы – солидная фирма.

Шишко промолчал.

– Вот я тебе и говорю, – продолжал мастер. – Насчет дочки не беспокойся. Посоветуй ей согласиться.

– Ее дело, – с притворным равнодушием отозвался Шишко.

Мастер отошел, провожаемый гневным взглядом рабочего. Он был молодцеват и под стать своему начальнику, директору склада, – не злой и не грубый, только бабник и любитель погреть руки на закупках. Владельцы «Родоп», богатые евреи, управляли фирмой из Парижа при помощи телеграмм, считая для себя унизительным часто ездить в Болгарию. Персонал местного отделения фирмы в благодарность за этот либерализм крал умеренно, но устраивал на складе попойки с девицами легкого поведения.

Наконец зазвонил колокол. Рабочие стали выходить из помещения и собираться шумной толпой в конторе, у кассы, в ожидании получки. Они громко разговаривали и шутили, смеясь нервным смехом и словно радуясь окончанию работы, но в действительности на душе у них были мрак и уныние. Конец производственного сезона грозил им зимней безработицей, болезнями детей, невозможностью получить кредит у бакалейщиков и булочников. И если они казались довольными, то лишь потому, что испытывали маленькую радость от сознания, что больше не нужно глотать табачную пыль и, выполняя убийственно однообразную работу, ждать конца длинного рабочего дня. Мужчины и женщины выходили из комнатки кассира, смеясь и размахивая тонкими пачками мелких банкнотов.

– Глядите, товарищи! Целый капитал!.. К хозяину в компаньоны пойду.

– Купи сто кило угля! Как раз на стопку ракии останется.

– Ишь пьяницы!.. Им с голоду пухнуть, а они о ракии толкуют.

– Ты себе сшила пальто, Милка?

– Нет. Я детишкам ботики купила.

Один за другим рабочие уходили. Толпа редела. Лила была последняя в очереди. Она была встревожена, но ее волновало не подозрительное благоволение директора, а нечто другое: поздно вечером ей предстояла встреча с посланцем областного комитета. Когда очередь дошла до нее, она, поглощенная мыслью об этой встрече, взяла деньги рассеянно. Кассир, человек уже немолодой, озабоченно взглянул па нее сквозь очки:

– С тобой хочет говорить директор… Тебе передавали?

– Да, – ответила Лила.

– Гляди в оба! – предупредил он. – В конторе для тебя никакой работы нет. Мне непонятно, с какой стати он вздумал оставлять тебя машинисткой.

– А мне понятно, – ответила Лила и спокойно усмехнулась.

Она не волновалась, и ей ничуть не было страшно – только досадно. Летом директор держался с небрежным великодушием и слишком уж легко согласился взять на работу ее отца. Теперь положение, видимо, изменилось; но Лила привыкла справляться с любыми трудностями.

Подойдя к кабинету директора, она постучала и вошла.

Директор сидел за письменным столом, заваленным таблицами и листками бумаги, на которых он подсчитывал или, вернее, старался подсчитать доходы. В комнате, устланной ковром, было светло и уютно. Возле двери гудела кафельная печка, из радиоприемника звучала негромкая музыка, посреди комнаты стоял столик с курительными принадлежностями, окруженный кожаными креслами. От директора пахло сигарой и туалетным мылом. Это был поживший сорокалетний холостяк с усталым и немного затуманенным взглядом. На его умном, но ленивом и слегка одутловатом лице лежал отпечаток того образа жизни, который разлагал всех здешних видных горожан: ракия, бессонные ночи за покером и скука в обществе одних и тех же дам. Директор был в сером костюме, шелковой рубашке со слегка подкрахмаленным воротничком и темно-зеленом галстуке – галстук ему подарил главный экспорт фирмы, ездивший в Париж на поклон к «хозяевам».

Директор устремил на Лилу пристальный и довольный взгляд. Она!.. Во время обеденного перерыва он смотрел из окна своего кабинета, заметил ое во дворе, и ему вдруг приглянулось ее стройное тело. Странные существа эти женщины!.. Один хоть и красивы, а быстро надоедают, оставляют тебя холодным; других вдруг начинаешь желать из-за чего-то особенного в их фигуре, в лице, в походке. Директора немного взволновало открытие, сделанное днем и обещавшее рассеять его скуку и легкое отвращение к женщинам. Но, глядя на Лилу из-за письменного стола, он сделал новое открытие: как это он до сих пор не заметил ее глаз?… Он вспомнил, что видел их летом, когда она приходила к нему в кабинет с просьбой принять па работу ее отца. Но тогда он не обратил на них внимания, так как был увлечен другой женщиной, которая теперь раздражала его своими просьбами купить ей меховое манто. И наконец, директор сделал третье – немного неприятное – открытие: глаза у Лилы отливали резким синевато-стальным блеском. Они заранее предупреждали его, что он начал игру нетактично, грубо и ему надо быть начеку.

– Ну как? – спросил он, возбужденный своими открытиями. – Кончили обработку, а?

– Да, наконец, – с облегчением произнесла Лила.

И тут же презрительно усмехнулась, заметив, что он пытается говорить с ней тоном благодетеля.

– Что же ты теперь будешь делать?

– Ждать следующего сезона.

– То есть сидеть без работы?

Лила кинула на него безучастный взгляд, словно говоря: «Какое тебе дело?» Директор, развалившись в кресле, зажег погасшую сигару.

– Погляди на себя, – вдруг сказал он. – Куда это годится?… Такая красивая девушка – и так одета.

– Каждый одевается, как может, – промолвила Лила.

– Да, но тебе это не к лицу! Понимаешь? – Он поднял руку и сделал паузу, словно подбирая выражения. – Просто некрасиво.

Лила равнодушно посмотрела на свои стоптанные туфли, поношенное и залатанное зимнее пальто.

– Поденщиной на красивое не заработаешь, – с досадой проговорила она.

– Знаю. Потому я тебя и позвал. Ты ведь училась в гимназии?

– Да.

– А почему бросила?

– Меня исключили.

– За что?

– По политическим причинам.

– Опять идеология! – Директор засмеялся. – Ремсисткой была?

– Нет!.. Но у меня свое отношение к рабочему вопросу. Это вполне естественно: ведь я дочь рабочего.

– Я идей не боюсь! – Директор опять усмехнулся. – Даже уважаю их, если они не приводят к беспорядкам и дракам… Центральное управление разрешило нам взять машинистку. Хочешь занять это место?

– Я не умею писать на машинке.

– Мы дадим тебе возможность научиться.

Наступило молчание. Лила устремила пристальный взгляд в пространство. Она встречала машинисток с других складов: молодые, модно одетые девушки, регулярно посещающие парикмахера и время от времени гинеколога. Зимой они ходят на вечеринки, а летом, нарядившись в платья из набивного шелка, танцуют румбу на открытой площадке в саду читальни либо проводят отпуск на море. Иным после любовного приключения с шефом удается выйти замуж за сослуживца или мелкого чиновника. Но все это кладет на них пятно, оставляет неизгладимый след. В их взгляде и движениях на всю жизнь остается какой-то вульгарный налет, выдающий их прошлое.

– Работа легкая, – продолжал директор. – Тысяча двести левов в месяц, премия в размере месячного оклада… Можешь в любое время взять аванс… И заживешь по-человечески.

Лила все молчала. Печка весело гудела, по радио передавали какое-то танго. Но теперь Лила думала уже не о падших девушках-машинистках, которые возвращаются с курортов наглыми, раздобревшими и загорелыми, а о черной ночи, нависшей над рабочими, о бесправии, унижающем во всем мире человеческое достоинство. Ее охватило желание закричать от обиды и гнева, кинуться па директора и разодрать ему лицо ногтями. Но она не пошевельнулась, даже не дрогнула, только устремила на него свои отливающие металлическим блеском глаза.

«Умная, все сразу понимает, – довольно подумал директор. – Не разыгрывает недотрогу. Вполне заслуживает того, чтобы разодеть ее, как куклу!..»

Он решил, что пора действовать. Встал с кресла, на мгновение остановился, смущенный враждебным огнем в ее глазах, но сейчас же подошел и уже хотел было погладить ее по щеке, как вдруг Лила отшатнулась, и рука его повисла в воздухе.

Директор кисло улыбнулся.

– В чем дело? – сказал он. – Ты же интеллигентная девушка!.. Кому нужны церемонии?

– Нужно уменье держаться прилично, – ответила она.

– В этом не будет недостатка… Ну не глупи, подойди ко мне!.. Не пожалеешь.

– Ни в коем случае.

– Как хочешь!

Директор усмехнулся и опять сел в кресло. Ему пришло в голову, что, может быть, надо было действовать настойчивее, но желания его уже поостыли.

– Можешь поступить к нам и без обязательства сделаться моей любовницей, – сказал он.

– Нет, спасибо… Прошу только принять меня укладчицей на следующий сезон.

– Решено! – с улыбкой согласился директор.

Лила вежливо поклонилась и вышла из кабинета.

Оставшись один, директор вдруг почувствовал какую-то безотчетную грусть, горечь, неудовлетворенность жизнью. Игра началась с неудачи, но это как раз и разжигало его ослабевшую чувственность, извращенное желание осквернить что-то такое, с чем он встретился первый раз в жизни.

На дворе было холодно, порхали снежинки. Смеркалось, и в сумраке декабрьского вечера табачные склады высились, безмолвные и темные, как тюрьма. Во дворах и у ворот мелькали тени приземистых усачей с карабинами – это были македонцы, нанятые фирмами для охраны, а но улицам разъезжали конные полицейские патрули. Имущество господ охранялось заботливо. Склады были полны обработанного и готового к вывозу табака. Лила поплотнее стянула на себе гимназическое пальтишко, которое носила вот уже пятый год, и быстро пошла домой. Даже в этой неказистой рабочей одежде, шерстяных чулках, старой юбке и платке она была красива, и мужчины оглядывались на нее.

Вскоре мимо нее промчался принадлежащий фирме дешевый «форд», в котором возвращался домой директор. «Идиот! – с презрением подумала Лила. – Уж не воображал ли он, что я от радости упаду ему в ноги. Но хорошо, что я ему не нагрубила… Ведь в этом сезоне ни одна фирма не хотела брать на работу ни меня, ни отца». Она не раскаялась в своем поступке, даже когда стала дрожать от холода, а в продранные туфли набился снег и чулки промокли. Самолюбие Лилы не было уязвлено и когда она встретила на главной улице кое-кого из своих бывших одноклассниц. Оживленные, свежие, они весело пересмеивались со своими юными кавалерами; одеты они были в элегантные теплые пальто, замужние даже носили вуалетки, под которыми лица их казались какими-то неестественно, приторно нежными. Это были мотыльки моды и житейской суеты, еще в гимназии упражнявшиеся в искусстве обольщать мужчин и ловить богатых мужей. Из сожаления или пренебрежения к Лиле они теперь притворялись, что не замечают ее.

Но Лила при виде проходящих мимо нее молодых парочек почувствовала себя одинокой и покинутой. Они напомнили ей о Павле. Ее охватила тоска по нему, по счастью, но любви, которую она из гордости отвергла. Павел больше не приезжал к ним в город, а если и приезжал, то не давал о себе знать. Связь с областным комитетом осуществлял теперь другой товарищ, незнакомый, хмурый человек с партийной кличкой «Иосиф». Он только коротко передавал директивы, все время прислуживаясь к чему-то и тревожно озираясь, потом спешил уйти, не высказав своего мнения но вопросам, интересующим городских активистов и настоятельно требующим разрешения. Только теперь, сравнив Иосифа с Павлом, Лила поняла, как широк кругозор Павла и в области культуры, и в области политики, только теперь оценила его ум, его талант убеждать, его доверие к ней. Он был горяч и сердечен, и это помогало ему воодушевлять людей, выполняющих партийные задания. Он вызывал в Лиле восторг, волю к действию, радость жизни. Однако разум ее, как ни странно, боролся со всем этим. Иногда она соглашалась с темп или иными взглядами Павла, но, как только надо было применить их на практике, они вдруг начинали казаться ей недопустимыми, фракционерскими, антипартийными. Порой внутренняя борьба разгоралась в ней с такой силой, что Лила не могла спать, думала целые ночи, металась в поисках ответа, и в конце концов ничего не предпринимала. Но это-то бездействие как раз и встряхивало ее, заставляло прийти в себя и вернуться к прежним методам работы. И в этом заколдованном кругу противоречивых мыслей и чувств образ Павла становился для нее все более горько и страстно желанным.

Когда Лила вернулась домой, родители ее собирались в гости к Спасуне – работнице, которая жила по соседству и входила в их партийную тройку. По дорого со склада Шишко купил на только что полученные деньги полкило колбасы. Жена его отрезала кусок колбасы и завернула в бумагу – для Спасуны, которой жилось нелегко, как любой вдове рабочего. Два года назад муж ее бесследно исчез, осужденный за участие в конспиративной работе после провала, начавшегося где-то наверху. Теперь Спасуна летом работала на складах, а зимой стирала по богатым домам. Она героически растила двоих детей, которые уже ходили в школу.

– Ступайте, ступайте!.. Марш! – весело сказала Лила, наскоро закусывая колбасой.

Она предупредила отца, что у нее явка, и радовалась, что нынче вечером придет не хмурый Иосиф, а Варвара – новый для нее товарищ, с которой связь устанавливалась впервые.

– Лила! – озабоченно обратилась к ней мать. – В случае чего кричи, милая, чтобы услыхали соседи.

На ее продолговатом худом лице застыло выражение тревоги. Никто не говорил ей о явке, но она догадывалась обо всем, видя, как готовится Лила и нервничает Шишко.

– Какое еще «в случае чего»?… Ничего не будет, – поспешно оборвал ее Шишко. – Не лезь не в свое дело!

Но и он тревожился, так как знал, что за партийными активистами идут по пятам призраки ареста, пыток, смерти.

Шишко с женой ушли. Лила кинула в маленькую чугунную печку лопатку угля, постелила на стол чистую газету, умылась и надела единственное свое шерстяное платье, в котором ходила по воскресеньям в читальню слушать лекции. Все приготовив, она села за стол и попробовала читать, но не смогла. Ее возбуждение росло. Ей не терпелось поскорей увидеть Варвару, узнать новости. Стрелки будильника едва двигались, словно ожидание замедляло бег времени.

Наконец ровно в девять Лила услыхала быстрые шаги во дворе. Кто-то подошел к двери и, немного поколебавшись, постучал. Напряжение Лилы сразу перешло в спокойную решительность. Она вышла в маленькую прихожую и спросила немного раздраженным тоном:

– Кто там?

– Здесь живет столяр Милан?… – послышался женский голос.

Голос был певучий и удачно притворялся игривым и задорно кокетливым.

– Он жил рядом, но переехал, – негромко ответила Лила.

Она открыла дверь и увидела всю осыпанную снегом женщину в берете, старом пальто и с зонтом в руке.

– Вы не знаете теперешнего его адреса? – Тут голос незнакомки изменился, и она тоже стала говорить тихо: – У меня к нему письмо от брата, из Аргентины.

– Кажется, он работает где-то возле вокзала, – ответила Лила.

Она отступила внутрь. Незнакомка сразу, не ожидай приглашения, вошла в прихожую, стряхивая снег с пальто.

– Как вас зовут? – спросила вполголоса Лила.

– Варвара, – ответила гостья. – А вас?

– Роза, – ответила Лила.

– Так!.. Я узнала дом по высокой груше но дворе.

– Это единственное дерево во всем квартале, – сказала Лила.

Незнакомка торопилась и не стала снимать пальто. На вид ей было лет тридцать. Лицо приятное, высокий лоб, лучистые серые глаза. Она окинула комнатку испытующим взглядом, словно была чем-то недовольна. Села на табурет возле печки и, потирая руки, резко спросила:

– Вы тут одна живете?

– Нет, с родителями.

– Где они сейчас?

– Я услала их в гости, чтобы нам поговорить спокойно.

– Они тоже в партии?

– Да.

– И давно?

– С тех пор, как я их помню.

Варвара махнула рукой, словно все эти сведения ее огорчили.

– Меня заметил один агент, когда я выходила из гостиницы, – объяснила она. – Я его знаю но Софии. Высокий, с одутловатым лицом. Глаза светлые.

– Я догадываюсь, кто это. Его прозвали Длинным. Он выследил вас?

– Не смог. Я скрылась от него в толпе на главной улице. Мне лучше не возвращаться в гостиницу, хотя у меня там остался чемоданчик.

– А удостоверение личности?

– При мне.

– Переночуйте у нас.

– Это уж глупей всего!.. Неужели вы думаете, что полиция не знает, у кого меня искать? Наоборот, мне надо сейчас же уходить. У меня только несколько минут для разговора. Слушайте!.. Передаю вам сообщение областного комитета.

Варвара на миг умолкла, как бы собираясь с мыслями, потом продолжала, понизив голос, но отчетливо:

– Первое: по решению Центрального Комитета, утвержденному Политбюро, товарищ Павел Морев навсегда исключается из партии… Мотивы – неподчинение решениям Центрального Комитета и подрывная деятельность в рядах партии. Второе: областной комитет предлагает отстранить товарищей Стефана Морева и Макса Эшкенази от партийной работы среди рабочих на табачных складах, поручив этим двум товарищам организацию партийных ячеек в сечах околии и руководство этими ячейками… Третье: областной комитет напоминает всем товарищам о необходимости крепить морально-политическое единство партии и немедленно исключить из своих рядов тех членов, которые заражены оппортунизмом Павла Морева и не подчиняются общим решениям.

Варвара замолчала. Лила сидела ошеломленная. Слова Варвары хлестали ее словно бичом.

– Вот и все, – сказала Варвара. – Вы запомнили?

– Да, – глухо ответила Лила.

– Повторите!

Лила машинально повторила все сообщение.

– Так.

– Можно задать вам один вопрос? – хриплым от волнения голосом произнесла Лила.

– Задавайте.

– В чем заключается оппортунизм и подрывная деятельность Павла Морева?

– Областной комитет вынес решение прекратить обсуждение этого вопроса… Теперь надо не спорить, а действовать.

Варвара быстро поднялась с места. Она явно нервничала – боялась полиции.

Лила печально молчала. Варвара не дала ей времени для размышлений и сразу же начала договариваться о дне, месте и пароле следующей явки. Выло решено, что приедет Иосиф, так как Варваре теперь слишком опасно снова показываться в городе. А Иосифа местные агенты еще не знают.

Кто-то постучал в окно. У Лилы и Варвары захватило дыхание. Они переглянулись и побледнели. Стук повторился.

– Посмотрите, кто это, черт бы его побрал! – нервно прошептала Варвара.

Лила подняла занавеску, открыла окно и выглянула наружу. На нее пахнуло морозным воздухом. Сначала она ничего не увидела, но потом вдруг рассмотрела упавшую на белый снег тень.

– Тетя Лила! – тревожно зашептал соседский парнишка. – Облава! Весь квартал оцепили!.. – И сейчас же побежал дальше – предупреждать других.

Лила закрыла окно и взглянула на Варвару. Та слышала, что сказал мальчик, и быстро застегивала пальто.

– Река глубокая? – вдруг спросила она.

– Что?… Уж не собираетесь ли вы вброд? И Лила, содрогаясь, посмотрела на Варвару.

– Ничего я не собираюсь! – сердито крикнула Варвара. – Я вас спрашиваю, глубокая река или нет.

– Глубокая, но у тополей есть брод.

Варвара уже кинулась к двери. Выбежав из дома, она исчезла в снежной ночи, словно лесной зверь, которого травят охотники.

Лила немного постояла во дворе.

Вскоре она услышала с детства знакомый шум – рычанье грузовиков, топот сапог, невнятный гомон голосов, угрожающих, ругающихся, протестующих, и ее охватила дрожь. Не обращая внимания на холод, Лила слушала затаив дыхание. В этой части усталого и рано засыпающего рабочего квартала тишина была полная, но где-то на его краях, на улицах, ведущих к центру города, к вокзалу или софийскому шоссе, шум возрастал. Соседи, очевидно, тоже услыхали его – темные окна рабочих жилищ вспыхивали одно за другим. Распахивались двери, по улицам сновали наскоро одевшиеся мужчины и женщины. Те, что уже проснулись, спешили предупредить спящих – рабочий квартал зашевелился, готовясь к отпору.

Лила вернулась в комнату, вытащила из соломенных тюфяков десяток книг, отпечатанных на тонкой рисовой бумаге без заглавий на обложках, завернула их, связала и спрятала в угольную кучу под навесом во дворе. Все это она проделала со стесненным сердцем, но быстро и хладнокровно, без паники. Потом, не заперев двери, села к печке и принялась вязать. Для нее было ясно одно: настало первое в ее жизни тяжкое испытание. Все сильней пробирала ее дрожь ледяного ужаса. Она ощущала его, как нечто материальное – в груди, в руках и ногах. И то был не страх смерти; пугало нечто другое, еще более страшное – холодный оцементированный подвал без окон в участке околийского управления и громадные, хищные, костлявые руки агента с одутловатым лицом.

Между тем кольцо полицейских сжималось, и шум на улице нарастал. Первым из соседей возмутился депутат Народного собрания от рабочих Блаже.

– Как вам не стыдно, господин инспектор! – крикнул он. – Терроризируете граждан ночью!..

– Замолчать! – послышался голос полицейского инспектора.

– Не замолчу!.. Я депутат Народного собрания и буду протестовать против вашего самоуправства.

– Завтра мы эту вывеску с тебя сорвем!

– Попробуйте!.. Есть общественное мнение, есть парламент!

– Кто это орет? – спросил рассерженный инспектор.

– Пустой человек, господин инспектор!.. Неужто не знаете? – ответил полицейский, – Не обращайте на него внимания.

– Подумаешь, депутат! – угрожающе буркнул инспектор. – И на таких управа найдется.

Но Блаже услыхал угрозу и, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью, закричал еще громче:

– Инспектор!.. Этими словами вы компрометируете полицию в глазах гражданского населения! С вас надо снять погоны!.. Позор!.. Я завтра же потребую вашего увольнения!

Лила слушала перебранку, продолжая вязать и одобрительно кивая после каждой удачной реплики Блаже. Партия не разрешала ему участвовать в нелегальной работе, но при удобном случае старалась использовать его ораторский талант. Его не раз привлекали к суду за публичное оскорбление власти, но смелость и остроумие помогали ему избегать кары. Находились еще судьи, которые выносили оправдательные приговоры по мелким политическим делам, тем самым кое-как поддерживая достоинство Фемиды. Сейчас в поведении Блаже была какая-то бодрая, обнадеживающая смелость, и ото вернуло «Пиле хладнокровие. Ее дыхание стало ровнее, сердцебиение прекратилось, руки перестали дрожать. Ей уже начинало казаться, что положение хоть и опасно, по не безнадежно. Может быть, Варвара сумеет вырваться из кольца!.. А если даже ее поймают, провала, может быть, все-таки не произойдет!..

Пока она об этом думала, кто-то пинком распахнул дверь. В комнату ввалилось трое полицейских. За ними шел толстый полицейский агент в штатском – руку он держал в кармане, видимо сжимая пистолет; последним вошел худощавый русый инспектор, молодой человек с юридическим образованием.

– Кто тут живет? – спросил один из вошедших.

– Шишко, – ответил агент в штатском.

Полицейские окинули взглядом маленькую убогую комнатушку, спрятаться в которой было невозможно. Тем не менее один полицейский нагнулся и заглянул под кровати, потом открыл сундук и покопался в сложенной там одежде, проверяя, не спрятался ли кто под ней. Это было глупо, и Лила засмеялась.

– Чего смеешься? – строго спросил агент в штатском.

– Весело, вот и смеюсь, – ответила она.

– Оно и видно, – промолвил инспектор. – Другие встречают нас бранью, а ты – улыбкой.

– А вы все недовольны, инспектор! – Лила спокойно подняла глаза от вязанья. – Трудненько на вас угодить.

– Девушка ты хорошенькая, а в голове у тебя не все ладно, – поучительным тоном заметил толстый агент.

– Как это?

Лила с невозмутимым видом продолжала вязать.

– А так, что рабочих с толку сбиваешь… Кабы не это, твой отец давно бы мастером был, десять тысяч в месяц получал бы и не жили бы вы в этом хлеву.

– Давай удостоверение личности! – грубо потребовал один из полицейских.

– Не надо!.. Мы ее знаем, – махнул рукой инспектор. В комнату вошел еще один полицейский.

– Во дворе и в сарае никого нет, – доложил он.

– Ладно! Продолжайте в направлении к реке! – приказал инспектор.

Он закурил сигарету и сделал легкий насмешливый поклон:

– До свидания, Лила!

– До свидания, инспектор! – Лила опять улыбнулась. – В устах полицейского «до свидания» звучит не очень приятно!.. Как мне вас понимать? Вы это из вежливости или угрожаете?

Инспектор, уже направлявшийся к двери, обернулся и ответил с улыбкой:

– Конечно, из вежливости… У тебя неправильное представление о полиции.

– Простите, но в этом вы сами виноваты.

– Общими усилиями исправим ошибку.

Он захохотал громко и снисходительно. Но, выйдя на крыльцо, шепнул на ухо агенту:

– Видал, какая лисица?… Самая умная и самая опасная из всех! Скажи Длинному, чтобы он с нее глаз не спускал.

Если человек происходит из бедной чиновничьей семьи, но не лишен способностей и получил высшее образование, выдвинуться он может, только женившись на богатой. Отлично это понимая, полицейский инспектор аккуратно посещал чаепития с танцами, которые офицеры местного гарнизона каждую субботу устраивали в военном клубе. У него были виды, хоть и очень шаткие, на дочь первого здешнего адвоката, подругу Марии по стамбульскому колледжу, считавшуюся самой завидной невестой в городе. И хотя все знали, что воспитанница аристократического колледжа никогда не пойдет за полицейского, кое-какие признаки позволяли инспектору надеяться.

Как-то раз, в субботу – это было спустя несколько дней после облавы в рабочем квартале, – инспектор, выйдя из дому днем, по дороге в военный клуб зашел в околийское управление. Он был в парадной форме, которую всегда надевал, отправляясь на офицерские чаепития, – темно-синем кителе с маленькими серебряными погонами, в брюках навыпуск, при коротенькой изящной шпаге – символе подтянутой, культурной полиции. Только что помывшись, он благоухал одеколоном. Настроение у него было прекрасное. Компания, с которой дружила дочь первого адвоката, собиралась после чая ехать на санях в охотничий домик, где подавали красное вино и отбивные котлеты; а потом предстояло приятное волнение игры в покер на одной холостяцкой квартире.

Инспектор вошел в участок. В коридоре, освещенном слабой электрической лампочкой, противно пахло потом, ваксой и карболкой, которой дезинфицировали арестантскую.

– Позови Длинного! – приказал инспектор полицейскому.

Он прошел в кабинет, не снимая шинели и перчаток, и сел за письменный стол, напевая мотив модного танго. Воображение понесло его с дочерью адвоката в плавном ритме танца. Она была мягкая, полненькая и позволяла прижимать ее к себе – один из признаков, на которых основывались его надежды.

Немного погодя в коридоре послышались тяжелые шаги Длинного, которому инспектор всегда передоверял выполнение самых неприятных своих служебных обязанностей. Изо рта его несло запахом ракии и нечищеных зубов.

– Опять напился как свинья!.. – сердито проговорил инспектор, глядя на его опухшую физиономию. – Разве так ведут допрос?… Когда допрашиваешь, голова должна быть ясная, чтобы охватывать все поведение обвиняемого и улавливать малейшие признаки колебания в его ответах…

– Тогда сами допрашивайте!.. – дерзко отозвался агент.

Он мрачно уставился мутными красными глазами на тщательно выбритого, надушенного, приготовившегося к танцам инспектора.

– Без возражений! – сердито оборвал его инспектор. – Просишь повышения, а не можешь справиться с простым заданием… Что она там? – спросил он немного погодя.

– Ничего. Молчит как рыба.

– Ты применил все, что полагается?

– Все… Которые на другой день не проговорятся, те уж до конца ничего не скажут.

– Приведи ее ко мне.

Агент посмотрел на него смущенно.

– Она не может ходить, – виновато признался он.

«Скотина, – подумал инспектор, – Опять скомпрометирует меня на суде». Он вспомнил, что у одного из членов областного суда было не совсем чистое прошлое – якшался с левыми элементами, а теперь нередко задавал каверзные вопросы.

Инспектор не любил сам бить. Более того, он не любил даже смотреть на избитых, так как это вносило какую-то особенную, неприятно-унизительную ноту в его дружбу с компанией, принадлежащей к местному светскому обществу. Он старался заглушить эту нотку, читая книги, в которых ученые – экономисты и правоведы – доказывали, что коммунизм – это идеология группы шарлатанов и авантюристов, которые нагло обманывают легковерных. Таким способом инспектору удавалось убедить себя, что в Детском обществе он не лакей, но защитник справедливости и правопорядка. И теперь он не без насилия над собой примирился с необходимостью видеть избитого человека и – что еще неприятней – допрашивать измученную пытками женщину.

– Пойдем к ней, – сказал он агенту.

Они спустились в подвал, состоявший из двух помещений. В одном была сложена всякая рухлядь, другое использовалось для специальных целей. Пол в нем был цементный, окна замурованы. Кроме стола, голого дощатого топчана да ведра с водой, ничего тут не было. Горела яркая электрическая лампочка. На топчане лежала, словно брошенный узел, маленькая женщина с посиневшим лицом и распухшими губами. Бровь ее была рассечена. Она тихо стонала. При виде этого инспектор почувствовал знакомое неприятное ощущение униженности.

– Поднимите ее! – приказал он.

Агент и вошедший вслед за ним полицейский взяли женщину под мышки. Как только они до нее дотронулись, она вскрикнула дико и пронзительно. Им все-таки удалось посадить ее, прислонив спиной к стене, но она потеряла равновесие и снова повалилась на топчан.

– Прикидывается! – сказал полицейский.

– Плесни на нее водой! – приказал инспектор.

Полицейский зачерпнул воды из ведра и помочил ею голову женщины. Пряди ее волос слиплись в жалкие редкие космы, между которыми виднелась белесоватая кожа. Женщина не шевелилась. Агент и полицейский опять подняли ее. Теперь она сидела совершенно неподвижно, полузакрыв глаза с припухшими веками и словно не дыша. Инспектор наклонился над ней, подавляя отвращение к безобразным отекам на ее лице. Шея и щеки ее были испещрены багровыми полосами.

– Да она без сознания! – возмутился инспектор. – Вы что? Забили ее?… – обернулся он к агенту и полицейскому.

Те только моргали виновато и тупо. Инспектор опять наклонился к неподвижному лицу арестованной.

– Если притворяешься, смотри у меня!.. – сказал он. Ему хотелось ударить ее по щеке, чтобы проверить, действительно ли она без чувств, но он тотчас сообразил, что испачкает перчатку. Из рассеченной брови женщины сочилась кровь и, стекая по щеке, густела. Инспектор растерянно поморщился. Длинный с ехидной улыбкой наблюдал за рассерженным начальником.

– Что с ней делать? – саркастически спросил он.

– Позови фельдшера, – распорядился инспектор.

Когда они вышли из подвала и поднялись наверх, он добавил:

– Завтра же отправить ее в Софию!.. Пускай с ней там повозятся… И в письме указать, что она арестована при попытке скрыться во время облавы в рабочем квартале.

Он понюхал рукав своей шинели и подумал с досадой: «Пропах карболкой!»

Когда он вошел в клуб, танцы уже начались. На паркете, окутанные синеватым табачным дымом, с десяток пар раскачивались в стремительном танго. Вдоль стен стояли столики, а за ними, на плюшевых диванах и в креслах, сидели и сплетничали люди, до отвращения знакомые друг другу. Офицерские дамы болтали о туалетах девиц, а молодые поручики и подпоручики, которым военный устав не позволял жениться до известного возраста, старались узнать, каково имущественное положение отцов этих барышень. Офицерские жены давали им на этот счет самую подробную информацию, почему-то всегда стараясь уязвить дочь полковника, красивую, но бедную. Капельмейстер, коренастый мужчина с красным лицом, сумел составить из музыкальной команды пехотного полка нечто вроде джаза, у которого был тот недостаток, что в его исполнении танго смахивало на марш, а ударные гремели так оглушительно, что не давали танцующим поговорить по душам. Коротко остриженные солдаты разносили по столикам отсыревшее печенье и безвкусный жидкий чай, который заказывали барышпп в доказательство своей скромности, тогда как кавалеры их отдавали предпочтение вину и ракии.

Инспектор прошел через весь зал, кланяясь только некоторым. Он был недурен собой – стройный, белокурый, с голубыми глазами и приятными манерами, но, несмотря на это, к ному относились холодно. Начальник гарнизона, пришедший на чаепитие с женой и дочерью, едва ответил на его поклон, девицы делали вид, будто не замечают его. Это было обидно и досадно. У него опять возникло подозрение, что в его дружбе с компанией, к которой он направлялся, есть что-то унизительное. Кутежи утоп компании оплачивались директором того склада, где работала Лила, владельцем мельницы или сыном бывшего депутата Народного собрания. Инспектор участвовал в развлечениях компании не тратясь, как лакей, чья обязанность – заметать следы безобразий после попойки.

Он подошел к столу, за которым сидели его приятели. Среди них, как всегда, была дочь адвоката. Инспектору показалось, что его встретили как-то небрежно и рассеянно, словно бедного родственника. Компания громко смеялась, а инспектор не мог сразу понять почему. Это его раздражало, и, пытаясь отвлечься, он стал смотреть на танцующих.

Красивая дочь полковника танцевала с капитаном-артиллеристом. Это была приятная девушка, довольно высокая, смуглая, в красном платье, с гвоздикой в волосах, но танцевала она лениво и равнодушно. Этикет и присутствие полковника вынуждали офицеров приглашать ее непрерывно, а ей – тоже по требованиям этикета – нельзя было отказываться, точь-в-точь как девицам в баре, которых нанимают для того, чтобы танцевать с посетителями. Привлекательная и умная, она, как бесприданница, не имела никаких видов на будущее. Она напоминала розу, давно уже выставленную на продажу в дешевом цветочном магазине. Судя по всему, ей предстоял брак с каким-нибудь стареющим майором, который решится взять ее без приданого, прельстившись связями ее отца в военном министерстве.

Пока инспектор, скучая, смотрел на танцующих, компания его продолжала свою оживленную беседу, прерываемую взрывами смеха.

– Надо быть глупцом, ослепленным предрассудками, чтобы ничего не предпринять при виде этакой штучки… – возбужденно говорил директор склада. – Когда я наблюдал за ней из окна своего кабинета, мне казалось, что передо мной женщина-вамп из какого-то фильма…

– Почему вамп? – спросил тучный владелец мельницы, весь заплывший жиром.

– Да потому, что, покажи я вам ату девчонку одетой как следует, вы бы полегли все, как один.

– Ну уж, не завирайся! – сказала дочь адвоката. – Ее родители, должно быть, крестьяне из какого-нибудь ближнего села.

– Это меня нисколько не интересует, – заявил директор. – Созерцая ее, я отдался эстетическому наслаждению, и все тут. У нее в лице что-то мальчишеское, угловатое… А фигура – тонкая, стройная, высокая; бедра узкие, очаровательно покатые… на ходу так и вибрируют, словно в танце…

– Эстет, а бедра успел рассмотреть! – заметил сын бывшего депутата, покосившись на директора и показав на него большим пальцем.

– А как она была одета? – осведомилась дочь адвоката.

– Ну, одета она была действительно гнусно, – печально признал директор. – Представьте себе платье или свитер, которые три года продержали на чердаке да еще столько же носили под дождем и на солнце… О белье я даже думать боялся… Оно у нее, наверное, из грубого домотканого холста в розовую и синюю нолоску, как приданое моей бабки… А может, белья у нее и вовсе не было.

– Как не было? – удивился владелец мельницы. – Ты что? Проверял?

– Я же сказал, что о белье я и думать боялся, – ответил директор. – Из опасения, что оно у нее желтое, как сорочка Изабеллы, которая не переодевалась до возвращения мужа из похода… Но я почти уверен, что белье па пей было… Да, да, безусловно.

– Какой ужас, если его не было! – промолвила дочь адвоката. – Я начинаю представлять себе твою вамп из фильма… От нее, наверное, исходит благоухание чеснока и пота.

– Нет, я ничего такого не заметил! – возразил директор. – Уж я бы почувствовал эти запахи. У меня очень острое обоняние. От нее пахло стиральным мылом, и только… Честное слово!.. В ней было что-то свежее, первобытное.

– Ах, так вот в чем дело! – воскликнула дочь адвоката.

– В чем? – серьезно спросил директор.

– В свежести и первобытности.

– Что ж из этого?

– Ничего! – ответила дочь адвоката. – Просто констатирую факт, который доказывает, что ты не в себе.

– Я этого больше не скрываю! – откровенно признался директор.

Все покатились со смеху, кроме дочери адвоката. Она считала остроумным сохранять серьезное лицо, когда все смеялись.

Полковник и солидные дамы, сидевшие за его столиком, с неудовольствием повернулись к веселой компании. Дочь адвоката отличалась своеобразной манерой держаться, возмущавшей полковника. Иногда она сидела тихая, кроткая, как богородица, а иногда вела себя просто по-хулигански. В пику офицерам, которые из подобострастия к полковнику не решались с ней танцевать, она являлась на клубные чаепития в туфлях на низком каблуке, в спортивной блузе и короткой клетчатой юбке, а чулки закатывала под коленками с помощью резинок.

– Перестаньте шуметь! – одернула она своих кавалеров. – Полковник уничтожит последние остатки моей репутации, и никто не возьмет меня замуж.

– Выходи за меня, – предложил директор.

– После того признания, которое ты сделал? – невозмутимо возразила дочь адвоката.

Компания опять захохотала.

Полковник мрачно опрокинул рюмку водки; дочь его продолжала равнодушно танцевать с артиллерийским капитаном.

– Веселое настроение этой барышни не совсем естественно. Вы не находите? – вдруг спросила она.

– О да, совершенно неестественно, – любезно согласился капитан.

Но он завидовал веселой компании и слегка тяготился дочерью полковника, которая танцевала по-старомодному, вытянув правую руку, как жердь. В это время танго кончилось, оркестр заиграл румбу. Связанный этикетом – с дочерью полковника надо было танцевать все время, до самого перерыва, – капитан начал галантно подпрыгивать в такт румбы. Быстрый темп вызвал у его дамы легкую испарину, пудра на ее лице стала влажной, и в уголках глаз выступили мелкие морщипки. Артиллерпйскпй капитан с сожалением отметил это и стал думать о своей новой англо-арабской кобыле, на которую он очень рассчитывал, готовясь к общеармейским весенним состязаниям.

В то время как полковник и жена капельмейстера говорили о том, что следовало бы посылать на чаепития специальные приглашения, веселая и дерзкая компания штатских потребовала еще ракии.

– Инспектор! Какого вы мнения о киновамп директора? – спросила дочь адвоката.

– Плохого! – ответил инспектор. – Все время задает работу полиции.

– Да ну?… Неужели ворует? – осведомился владелец мельницы.

– Нет, не то! – важно промолвил инспектор. – Если бы она что-нибудь украла, мы бы с ней мигом расправились… Плохо, что ото одна из самых хитрых коммунисток в городе.

– Погоди! – вмешался вдруг сын депутата. – Ты не о Лиле говоришь?

– Вот именно.

– Я ее видел! – воскликнул владелец мельницы. – Лакомый кусочек!..

– Да… хороша! – поддержал его сын депутата.

– Прошу не оскорблять предмет моего новейшего увлечения, господа! – сказал директор. – Я имел неосторожность упомянуть о полосках на бабушкином белье, и это дает вам повод унижать мою возлюбленную… Но если ее при лично одеть, получилась бы героиня пьесы «Пигмалион».

– Что это за пьеса? – осведомился владелец мельницы.

– Ты совсем дикарь! – заметил директор. – Объясни ему! – обернулся он к дочери адвоката.

– Объясни сам! – возразила она.

Владелец мельницы добродушно улыбнулся.

– Не надо мне объяснять, – заявил он. – Я был на всех оперетках.

– Ну и хватит с тебя, – сказал директор. – Больше не ходи.

Вся компания, включая владельца мельницы, покатилась со смеху; не смеялась только дочь адвоката. Полковник и окружающие его чопорные дамы снова враждебно посмотрели в сторону весельчаков, а дочь полковника продолжала танцевать с артиллерийским капитаном. После румбы оркестр почти мгновенно заиграл новое танго. Капитан попытался было согнуть вытянутую и словно одеревеневшую руку своей дамы, но это ему не удалось.

«Дьявольски скучный гарнизон! – решил он. – А дирижер – просто баран в мундире. Мерзавцы дудят уже полчаса без перерыва». Потом мысли его опять с нежностью вернулись к кобыле: «Надо будет показать ее ветеринару – У нее что-то неладное с правым глазом… Как бы не подвела на скачках!..»

Пока артиллерист предавался тревожным размышлениям о воспаленном глазе своей кобылы, в зал проникла собака сына депутата. Ее появление вызвало не гнев, а только веселое оживление. Она быстро обежала весъ зал, обнюхивая танцующих, потом, отыскав хозяина, покорно легла и свернулась у его ног.

– Это пятый кавалер в нашей компании! – промолвила дочь адвоката, поглаживая пса. – И надо думать, единственный, которого не свела с ума ваша Лила.

– Ты начинаешь терять чувство юмора, – заметил директор, устремив на нее серьезный взгляд.

– Зато приобретаю мудрость, – отпарировала она.

– На что тебе мудрость? – сказал директор. – Давай-ка чокнемся!..

Но дочь адвоката не стала с ним чокаться, а обернулась к инспектору.

– Вам тоже нравится Лила, инспектор? – презрительным тоном спросила она.

– Нет! – решительно ответил он.

– Льстец! – благодушно, но безошибочно определил кто-то из компании.

– Я сторонник свежего, но не первобытного, – заявил инспектор.

– Тогда идем танцевать! – предложила дочь адвока та. – Играют наше танго.

Инспектор поспешно встал. Настроение его сразу улучшилось. Он понимал, что дочь адвоката пригласила его лишь для того, чтобы позлить сына депутата или офицеров, и все же был на седьмом небе.

Тесно прижавшись друг к другу, они поплыли к танце.

Дочь адвоката сделала легкую гримасу: в благоухании духов и табачного дыма, распространяемом парадной формой инспектора, ее вздернутый носик почуял слабый, еле уловимый запах карболки – запах участка и подвала, в котором пытали Варвару.

После облавы в рабочем квартале воцарился страх. Безработица и голод временно отступили на второй план. Мужчины угрюмо здоровались друг с другом, женщиеы перестали ссориться по пустякам, дети притихли. На всех лицах было написано «провал» – слово, означающее аресты, допросы, избиения, разгром целой партийной организации – всего, что было создано. Распространялись разные слухи: одни говорили, будто во время облавы какая-то женщина была застрелена при попытке перейти вброд реку; другие, наоборот, утверждали, что ей удалось скрыться. И только немногие, получившие сведения из партийных источников, узнали, что случилось самое страшное: ее задержали и подвергли зверским истязаниям в полиции.

Круглые сутки по узким уличкам рабочего квартала сновали конные патрули в касках и блестевших под дождем резиновых плащах. Безработные часто собирались небольшими группами на перекрестках. Между ними и патрульными возникали перебранки.

– Эй вы, сукины дети! – кричали патрульные. – Опять собрались?

– А что?… Разве запрещено разговаривать? – спрашивали рабочие.

– Разойдясь, а то всех заберем!

– Забирай, коли стыда нет! – возражал какой-нибудь щуплый старенький тюковщик с пожелтевшим лицом.

Патрульные, угрожающе подняв плети, наезжалп на людей.

– Болтай там! Тоже философ!

Народ расходился, не торопясь, как будто по собственному желанию. Патрульные грубо понукали людей, но никого не били. Какая-то неведомая сила заставляла их в отсутствие начальства исполнять своп обязанности спусти рукава. Все они были выходцы из голодных горных селений, где па тощих полях над осыпями вызревали только рожь да гречиха.

Общинное управление вздумало расширять водопроводную сеть – и как раз когда пошли дожди. В квартале появились какие-то неизвестные люди и начали рыть траншею, браня полицию и настойчиво стараясь завязать разговор со складскими. Те отворачивались от них с презрением, сразу поняв, что это провокаторы. Землекопы ушли, не закончив работы, и ни один техник не явился, чтобы исправить водоразборную колонку.

Но оторопь и оцепенение, охватившие рабочий квартал в первые дни после облавы, были только кажущиеся. Немедленно пришли в действие скрытые партийные резервы, были нанесены контрудары, назначепы лица, которым предстояло заменить теперешних руководителей в случае их ареста. Антиправительственная агитация усилилась, причем ее вели люди, которых до сих пор и не подозревали в принадлежности к коммунистической партии. Все активисты получили от инспектора приказ утром и вечером приходить расписываться в околийское управление. Полиция производила ночные проверки в их домах. Инспектор хотел во что бы то ни стало найти виновников. Но активисты не поддались панике. Ни один из них не скрылся, не перешел на нелегальное положение, так как это могло навести инспектора на след.

Пока активисты послушно и аккуратно расписывались в участке, в разных местах происходили события, от которых у околийского начальника глаза на лоб лезли. Кто-то поджег сено, купленное с торгов полицейским эскадроном у одного из местных кулаков. Правда, это сено не вывезли в город и не заприходовали, поэтому убыток понес продавец. Но самый факт произвел сильное впечатление. На стенах домов и учреждений появлялись дерзкие коммунистические лозунги, причем их трудно было стереть, так как они были написаны масляной краской или выцарапаны большим гвоздем на штукатурке. Однажды утром на крыше гимназии все увидели красный флаг. Неуловимые ремсисты подбрасывали во дворы листовки с воззваниями.

– Все ваши труды насмарку, господа, – видно, не там копаете! – язвил кмет по адресу околийского начальства.

В город прикатил на автомобиле начальник областного управления. Это был важный надутый толстяк, который слушал доклады, погрузившись в загадочное молчание, чтобы вызвать у подчиненных трепет, необходимый для поддержания дисциплины. Перекусив и хорошенько отдохнув в доме первого здешнего адвоката, он созвал на совещание представителей местной администрации. Полицейский инспектор, со свойственной ему хитростью и умением уклоняться от ответственности, умыл руки, объяснив царящее в околии нервное напряжение прочесыванием рабочего квартала, произведенным но приказу околийского начальника.

– Я был против этой облавы, – заявил он. – Не следовало ради задержания какого-то незначительного коммунистического активиста возбуждать и дразнить восемь тысяч рабочих – ведь в зимнее время они особенно раздражительны… Борьба против коммунистов требует большого такта.

Околийскнй начальник – вспыльчивый майор запаса, дрожащий за свое место, – злобно перебил его:

– Что вы называете тактом?… Бездействие и танцы в клубе?

– Нет! – холодно ответил инспектор. – Такт – это продуманность действий и их целесообразность. А что касается танцев в клубе, – добавил он с легкой снисходительной улыбкой, – то они не более предосудительны, чем ежедневное посещение пивной «Булаир».

– Я требую, чтобы вы объяснились! – вскипел майор запаса.

– Вам объяснят в другом месте, – отрезал областной начальник.

И снова погрузился в загадочное молчание.

Результатом этого молчания был присланный в город спустя два дня длинный циркуляр, в котором областной начальник давал указания, как поддерживать порядок is околии. Написанный высокопарным казенным слогом, он был похож на программную речь нового премьера л содержал скрытые угрозы по адресу рабочих.

Околийский начальник перестал беспокоиться за свое место и стал по-прежнему просиживать вечера в пивной «Булапр», а полицейский инспектор сшил себе штатский костюм и в нем продолжал посещать танцевальные вечеринки в военном клубе.

Лила со дня на день ждала ареста. Она уже обдумала, как ей вести себя: она будет категорически отрицать свое участие в какой бы то ни было партийной деятельности и связь с кем бы то ни было. За ее спиной – городской комитет, Реме, вся система партийных ячеек в квартале и на табачных складах. Провал необходимо предотвратить – хотя бы ценой неописуемых мук, ценой полного самоотречения.

В эти тяжелые дни она большей частью сидела дома. Ходила только расписываться в участок да в читальню за книгами. Она читала с утра до вечера, сидя у окна, пока ссиый свет ненастного зимнего дня не превращался в ночной мрак, потом зажигала лампу и брала в руки вязапье. Вздрагивала, услышав шаги случайных прохожих. Ночью просыпалась от малейшего шума и в испуге думала, что вот уже идут ее арестовывать. Но первый приступ страха переходил в холодное спокойствие, мрачное волпепие – в уверенность в себе, рождающую надежду на жизнь. Однако из этой надежды, возвращавшей ее к обычному состоянию, снова рождался страх. Ведь волю Варвары в любой день, час, минуту могли сломить, а героизм мог обернуться предательством.

Но время шло, колебания между страхом и надеждой продолжались, а ничего особенного не происходило. Выпал снег и опять растаял, превратив улички в канавы, полные грязи и мутной воды. Короткие декабрьские дни перемежались длинными тревожными ночами. Утро начиналось белесым рассветом и густым туманом, который к обеду рассеивался, а к вечеру сгущался снова. Накопленные за лето деньги подходили к концу. Семья Шишко начала экономить провизию и топливо. Лила похудела, осунулась. Женственная мягкость, которая светилась в ее глазах и звучала в голосе, когда она разговаривала с родителями, теперь, казалось, исчезла навсегда. Она говорила мало, отрывисто, четко. Черты ее бледного лица застыли в неподвижном, ледяном напряжении, глаза глядели пронизывающе.

Мать Лилы бродила печальной тенью. Она то и дело жаловалась, все к чему-то прислушивалась, тихонько проклинала полицию и хозяев. Л то вдруг начинала суетиться, прибирать в доме или чистить и штопать одежду Лилы, как будто дочь превратилась в беспомощную маленькую девочку и не в состоянии была делать это сама. Шишко похудел, стал нервным и раздражительным, ссорился со своим шурином – социал-демократом. Его мучил страх потерять единственное свое дитя. Шурин понимал это и, хоть и спорил с Шишко о политике, терпеливо продолжал давать ему работу в своей мастерской.

Однажды вечером партийная разведка сообщила, что Варвара выдержала пытки и отправлена в Софию. Лила долго напряженно думала о ее безмолвном героизме. Она вздохнула свободней, но не ослабила бдительности, хотя и не торопилась наладить связь с товарищами из городского комитета. Опасность отдалилась – и только. Лила продолжала ждать ареста, но теперь уже привыкла думать о нем без дрожи и справляться с приступами мучительного страха. Напряжение этих дней породило в ее душе нечто новое, что еще не было ей свойственно, – холодную готовность ко всяким испытаниям.

Когда обстановка стала чуть спокойнее, она через заслуживающих доверия соседей установила связь с легальным товарищем из городского комитета. Товарищ этот, отставной чиновник налогового управления, догадался прийти к ней сам в сопровождении носильщика, тащившего жестяную печку, которую Шишко якобы должен был починить. Лила передала гостю сообщения областного комитета.

Товарищ из городского комитета печально покачал головой.

– Плохо!.. – промолвил он. – Кому нужны теперь эти сообщения?

Из-за них-то все и произошло. Товарищи наверху ссорятся, играют в исключения из партии, а мы тут страдаем…

– Оставим это, – сказала Лила, поняв, что товарищ из городского комитета разделяет взгляды Заграничного бюро и Павла. – Здесь арестованная устояла, но неизвестно, будет ли она молчать и в Софии…

– Раз выдержала здесь, выдержит и там, – отозвался он.

– А если все-таки выдаст меня? Не лучше ли мне временно перейти на нелегальное положение?

– Нет! – возразил пожилой товарищ из городского комитета. – Перейдя на нелегальное положение, ты сама признаешь себя виновной, а твоего отца забьют до смерти… Не надо убегать от опасности – держись до конца, и все!.. Нелегальных и так много. Партия не успевает находить им квартиры.

– А если меня арестуют?

– Все отрицай… Это единственный способ спастись самой и спасти лас.

Он испытующе посмотрел на Лилу. Голубые глаза ее ледяным блеском выразили суровое молчаливое согласие.

– Когда вы осуществите решение относительно Степана и Макса? – спросила она, помолчав.

– Там видно будет, – уклончиво ответил товарищ из городского комитета и нахмурился. – Макс и Стефан хорошо работают здесь, в городе… У нас есть дела поважнее, чем потакать прихотям Лукана.

– При чем тут прихоти Лукана, товарищ? – резко прервала его Лила. – Как можно так говорить? Речь идет партийном решении, которое мы должны выполнить. Пожилой товарищ бросил на нее строгий взгляд. В его морщинистом лице, седых бровях, ясных, хотя и старческих глазах были достоинство и гнев, которые привели ее в смущение.

– Не читай мне нотаций! – промолвил он. – Лукан – это еще не партия… Я всегда буду так говорить. Партия существовала прежде, чем родился Лукан, и мы с твоим отцом принадлежим к здешним ее основателям! Так что о партии ты не беспокойся. Я о ней думаю побольше тебя. Лила покраснела.

– Не думал я, что ты так смотришь на проблемы, о которых мы спорим, – сухо добавил он.

Лила опять покраснела.

– Из-за Павла Морева? – гневно спросила она.

– Из-за партии! – спокойно ответил товарищ из городского комитета.

Через несколько дней инспектор отменил свой приказ активистам расписываться в участке, и напряжение ослабело. Рабочий квартал постепенно успокоился. Снова на первый план выступили повседневные заботы о пище, о топливе, о том, чтобы найти хоть какую-нибудь работу. Активисты возобновили свою деятельность, которая, подобно кислоте, медленно, но верно разъедала устои старого мира. Зато прекратились дерзкие коммунистические вылазки в центре города. У полиции были теперь лишь мелкие неприятности с листовками и происшествиями в гимназии.

Прошел почти месяц после облавы, а Лила по-прежнему вела себя очень осторожно. Она не встречалась с товарищами из городского комитета – только с активистами, работавшими на складах. Может быть, Варвара выдала ее, а полиция ничего не предпринимает по каким-то своим соображениям. Может быть, инспектор пользуется тактикой «щупалец» – сам молчит и при помощи провокаторов наблюдает за людьми, с которыми Лила встречается чаще всего. Но и эта опасность отпала. Мало-помалу Лила убедилась, что агенты не следят за пей непрерывно, а когда начинают следить, делают это до смешного неловко. Все это придало ей смелости, и она пошла на встречу с Иосифом, которая рассеяла последние ее тревоги.

Встреча состоялась зимним вечером в районе вокзала. Дул ледяной ветер, вид пустынных улиц наводил уныние и тоску, на черном небе поблескивали холодные звезды. Узнав друг друга при свете уличного фонаря и удостоверившись, что никто за ними не следит, Иосиф и Лила пошли навстречу друг другу. Лила дрожала от холода в своем легком пальтишке, а Иосиф был в теплом пальто па меху и меховой шапке. Агроном по специальности, он работал в министерстве земледелия, используя свои командировки в эти места для партийной работы. У него были крупные черты лица, глаза как миндалины и толстые губы. Щеки его казались сизыми от густой черной растительности, хотя брился он каждый день. Он всегда хмурился, удрученный боязнью ареста и разными служебными заботами. Лила пошла рядом с ним.

– Угрозы провала нет, – лаконично сообщил он, – Варвара па свободе… Товарищи организовали ее лечение.

– Вы уверены, что она никого не выдала? – осведомилась Лила.

– Уверены. Арестов нет.

– Здесь тоже, но тревога была большая.

Иосиф промолчал. Он выплюнул погасший окурок сигареты и сейчас же закурил другую.

– Мы тут на волоске висели, – сказала Лила.

– Ладно, довольно плакаться, – грубо оборвал ее Иосиф. – Всюду опасно… Ты что думаешь – по головке вас будут гладить?

– Этого я не думаю, но скажи товарищам, чтобы лучше выбирали, кого посылать… Зря здоровье Варвары погубили.

– Мы знаем, что делать. Ты сообщила решение о Стефане и Максе?

– Сообщила.

– Выполнили?

– Вероятно.

– То есть как – вероятно?… Да или нет?

– Ах, боже мой, неужели это самое главное, что тебя должно интересовать у нас? Я из-за всех этих событий не виделась с товарищами из городского комитета.

– Значит, дрожишь от страха и не интересуешься партийной работой?

Голос Иосифа звучал сердито, сурово.

– Послушай, – тихо сказала Лила. – Ты невозможный человек. Этак ты ни с кем не сработаешься… Я прошу, чтобы меня освободили от связи с тобой.

– Сообщу товарищам об этом твоем капризе.

Теперь в его голосе слышалась злость. Он расстегнул шубу и стал что-то искать во внутреннем кармане пиджака.

– У тебя есть еще что-нибудь для меня? – сухо осведомилась Лила.

– Есть.

Опасливо оглянувшись по сторонам, он сунул ей в руку несколько свернутых листов бумаги.

– Что это?

– Директивы о подготовке к стачке. Написаны симпатическими чернилами. Пускай как следует изучат и сейчас же уничтожат.

Лила сунула листки в карман пальто. Иосиф сообщил коротко и точно дату, место и пароль следующей явки, потом сразу отошел от Лилы и направился в гостиницу. Даже «до свидания» не сказал.

От вокзала донесся свист паровоза; где-то лаяли собаки; стекла в окнах ближней корчмы запотели, за ними гнусаво скулил старый патефон.

Лила шла домой, крепко сжимая в кармане листочки с директивами о стачке.

Опять наставления, опять бумажные подробности, опять мертвые, строгие, мелочные правила, точно устанавливающие, с кем работать, с кем – нет!.. Опять недоверие к каждому, кто критикует идейную платформу стачки, кто предлагает новый способ действия, кто заходит в корчму, ухаживает за девушками, бывает на вечеринках… Как будто тому, кто стремится бороться за коммунизм, надо сначала отказаться от всех радостей, повернуться спиной к жизни и взять твердый, прямой курс на смерть!..

Лила понимала, что преувеличивает и раздувает свои опасения, но в душе ее все-таки разгорался неясный протест против этих бумаг, которые она сжимала в руке, против хмурого Иосифа, против невидимого и таинственного Лукана, который без устали приказывает, напоминает, проверяет, карает по самым неожиданным, пустяковым поводам. Что-то в партии не в порядке! Что-то отдаляет ее от жизни, от людей, от потребностей борьбы, от самой основы марксистско-ленинского учения!.. Что же именно? Лила старалась, но не могла понять. Она видела только конкретные проявления всего этого, но была не в состоянии добраться до источника ошибок, до их первопричины. Может быть, Павел прав?… Может быть, Центральный Комитет действительно извращает большевистские принципы, ставит перед партией невыполнимые в данных условиях задачи, распыляет ее силы, посылает ее па бесполезную и гибельную борьбу, ведет ее к полному отрыву от масс?… Может быть, товарищи из высшего руководства и впрямь узколобые сектанты, неспособные мысленно охватить всю сложность жизни, осознать важные и существенные явления действительности? Может быть, они в самом деле слепые фанатики, лишь подающие пример героизма, но не умеющие добиваться реальных завоеваний в борьбе?… Может быть, в самом деле неправильно порывать с Заграничным бюро? Ведь даже самым простым, необразованным членам партии ясно, что стачка не может приобрести массовый характер, если она не будет подготовлена и проведена на основе широкой идейной платформы. Старшие товарищи, основавшие партию в тесняцкие времена, люди, обладающие большим опытом и закаленные в борьбе, мало-помалу отходят от партийной работы, так как не могут согласиться с директивами, исходящими от высокомерных и хмурых молодых людей, которые презрительно называют старших «тесняками». У Павла – заслуги в прошлом, блестящий ум и способность разбираться в сложных вопросах, однако он исключен из партии за то, что пошел против Лукана. До недавнего времени выдвигался лозунг, требующий «давать отпор» полиции – отпор героический, но бесполезный. Кому это нужно?… Как будто цель борьбы в том, чтоб бить себя кулаком в грудь. А ведь эта манера – попусту бить себя в грудь – еще чувствовалась в подготовке, в выполнении и последствиях каждого выступления!

Лила вздохнула. Того пути, который указывали Павел и Заграничное бюро, она тоже не видела ясно. Павел улавливал что-то такое, что уже вырисовывалось в действительности и брезжило в сознании рабочих, но не умел этого выразить убедительно. Мысль его билась вокруг волнующих но лишенных конкретности общих положений. Широкая идейная платформа как основа стачки… Но какая? До чего трудно делать уступки, не нарушая в то же время генеральной линии партии! Искать союзников – но каких?… Имеет ли смысл коммунистам устанавливать связь с членами Земледельческого союза, с широкими социалистами и анархистами, которые неизвестно как будут действовать завтра?… Экономить силы, но как?… Можно ли вести энергичную борьбу без жертв, без крови и столкновений?… Нет, Павел тоже блуждает по бездорожью!.. Может, он в самом деле хочет оттеснить от руководства заслуженных товарищей, толкнуть партию на путь наименьшего сопротивления, разрушить ее единство? Но тут же все это, по-казалось Лиле чудовищным, невозможным.

Она шла по безлюдным улицам, по обледенелому, скользкому тротуару. Шаги ее одиноко звучали в морозном воздухе. Опасность ареста, призрак пыток исчезли, но в душе ее возникло глубокое и тяжкое раздвоение, казавшееся ей более мучительным, чем недавняя тревога. Ее сердили директивы Лукана, грубость Иосифа, недоверие к Максу и Стефану. Смущали исключение Павла, разговор с пожилым товарищем из городского комитета, наивные, но исполненные здравого смысла вопросы рабочих. В этих вопросах, касающихся самых незначительных будничных дел, угадывались требования, противоречащие директивам Лукана и полностью совпадающие с предсказаниями Павла. Лила уклонялась от этих вопросов, напускала туману, ловко и коварно замазывала своим красноречием острые углы. Разве это честно? Лила опять вздохнула. Ее внутреннее раздвоение все углублялось.

Ветер утих, но мороз крепчал. На город медленно спускалась прозрачная мгла. Невидимые капли ее образовали вокруг уличных фонарей светлые круги всех цветов радуги. На чистой белизне снега резко выступали тени, словно отброшенные на киноэкран, и в этой резкости была какая-то пустота и холодная тоска, навевавшие безнадежность. Руки и ноги у Лилы окоченели. Она вечно страдала от тревоги, недоедания, нехватки теплой одежды, и потому зима была для нее самым тяжелым временем года. «Скорей бы весна!» – подумала она в смутном порыве, на миг забыв о вопросах, постоянно угнетавших ее.

Она попробовала согреться, ускорив шаги, но поскользнулась и чуть не упала. Путь ее шел через один из богатых: кварталов города. Из окон новых домов лился мягкий, теплый свет. За кружевными занавесками были видны уютные комнаты с буфетами, картинами, большими оранжевыми или зелеными абажурами, под которыми хорошо одетые дамы читали в тепле книги, а мужчины развертывали вечерние газеты. Из этих окон приглушенно доносились беззаботный смех, знакомый голос диктора, звуки танцевальной музыки. Большой грузовик вывалил несколько тонн крупного блестящего каменного угля перед домом, где жил районный эксперт «Эгейского моря». Молодая женщина в вуалетке, меховой шубке и высоких резиновых ботиках возвращалась домой, сделав покупки, а за ней шла служанка с сумками, набитыми икрой и маслом для бутербродов, орехами, сахаром и шоколадом для завтрашнего торта.

Вид этой женщины и кучи угля снова заставил Лилу почувствовать, как беспросветна нищета, в которой прозябал рабочий люд. Холод показался ей еще более свирепым, бедность еще более жестокой, несправедливость еще более унизительной. Ее пронизывал туман и стало поташнивать от куска соленой пеламиды, съеденной за обедом. Денег в доме едва хватит на несколько недель, а потом начнутся мучительные поиски хоть какой-нибудь работы. Рабочие – в том числе она, Лила, – живут в трагическом одиночестве!.. Лукан нрав: партия не должна свертывать с того пути, по которому шла до сих пор, – пути суровой, непримиримой, беспощадной борьбы! Не надо широких платформ, сложных компромиссов, подозрительных союзников!.. Не надо интеллигентов – таких, как Павел, Стефан и Макс, как пожилой товарищ из городского комитета, толкающих партию на путь оппортунизма, расшатывая ее дисциплину, разрушая ее единство!..

Так рассуждала Лила, ежась от стужи, проходя сквозь свет и тени морозного вечера. К этим мыслям ее толкали теперь холод, терзавший ее плохо одетое тело, кусок соленой пеламиды, весь день заставлявший ее пить воду, крупный блестящий уголь, привезенный табачному эксперту, и довольство той женщины, которую она встретила. Чувства ее были заняты только царящей в мире неправдой. Она не понимала, что борьбу против неправды надо вести одновременно многими средствами и разными способами и что борьба должна быть гораздо более широкой, гибкой и разносторонней, чем этого требуют схемы Лукана. Выйдя на Базарную улицу, Лила направилась в слесарную мастерскую дяди. Еврейские лавочки вокруг были заперты и темны, но в окне мастерской еще горел свет. Лила открыла дверь и заглянула внутрь. Ученики и дядя уже ушли. Мастерская помещалась в длинной узкой комнате, по степам которой были развешаны инструменты. В глубине, присев на корточки возле бойлера, работал Шишко.

– Папа, ты еще не идешь? – спросила Лила.

– Придется задержаться, надо починить эту штуковину… Входи!

Лила затворила за собой дверь.

– Ну что? Повидалась? – тихо спросил он.

– Все в порядке. В Софии арестованную освободили.

– Слава богу, – вздохнул Шишко. – Я, сказать по правде, совсем измучился! Очень беспокоился весь этот месяц…

– Что поделаешь, – тихо отозвалась Лила. Потом добавила громко: – Так я пойду…

– Ступай! – Шишко снова присел на корточки возле бойлера и принялся что-то разглядывать. – Послушай! – вдруг вспомнил он. – У Симеона сноха рожает, мать пошла к ним – принимать… Дома никого нет.

– Знаю, – сказала Лила.

– Затопи печку. Уголь есть?

– Есть, но я думала Симеону отнести.

– Ты о них не беспокойся. Блаже, наверное, им уже купил. Затопи печку и читай в тепле. Завтра получу деньги за бойлер и привезу еще сто кило.

Лила опять собралась уходить, но Шишко еще раз остановил ее.

– Слушай! Ты пеламиды больше не ешь. Она, говорят, испорченная… К нам всегда падаль везут. Лавочник ее из-под полы купил, по дешевке, и ветеринар составил акт.

– Я ее выкину.

Лила пошла домой. Туман сгустился. Базарный день угасал в освещенных корчмах постоялых дворов, в которых подвыпившие крестьяне играли на волынках и тамбурах. Из конюшен, где стояли распряженные волы, шел теплый влажный запах сена и навоза. Запертые на замок темные еврейские лавчонки молча притаились, а над ними кротих хозяев. Мелкие еврейские ремесленники строили себе дома в торговых рядах с таким расчетом, чтобы первый этаж служил мастерской, а второй – жильем. За окнами этих жилищ коротали свой замшелый век люди, из среды которых порой смело вырывались на волю молодые ремсисты. Миновав торговые ряды, Лила пошла по узким уличкам рабочего квартала. Почти все его низкие, вросшие в землю домишки были уже темны: рабочие, экономя уголь, ложились рано. Над рекой навис густой туман; в морозной тишине глухо раздавался стук топора: кто-то колол дрова. Свернув на свою уличку, Лила вдруг заметила силуэт высокого мужчины. Человек стоял прямо перед ее домом и в свете уличного фонаря четко выделялся на молочно-белом фоне тумана. Незнакомец был в шляпе и модном пальто в талию. «Длинный!» – с негодованием подумала Лила. Несколько минут она стояла с бьющимся сердцем, потом, придя в себя, вошла в соседний двор и спряталась за сараем. До нее донеслись звонкие удары: незнакомец стучал в оконное стекло. Постучав несколько раз и не получив ответа, он пошел по улице. Звук его шагов по скованной морозом земле слышался все отчетливей. Путь его лежал мимо сарая, за которым притаилась Лила. Как только он поравнялся с сараем, Лила узнала его. Это был Павел. И тогда она, сама того не желая, тихим, глухим от волнения голосом окликнула его.

Он обернулся. Она вышла из-за сарая и спросила:

– Зачем ты сюда пришел?

– Я хотел тебя видеть.

Они безотчетно сжали друг другу руки. Но она первая овладела собой и промолвила враждебно:

– На что тебе видеть меня?… Ведь я дура, я ничего не понимаю…

– Пойдем к вам!

– Дома никого нет, – холодно проговорила она.

– Именно поэтому, – настаивал он. Пока Лила отпирала дверь, он низким, упавшим голосом глухо произнес:

– Меня исключили из партии. Ты уже знаешь?

– Знаю, – ответила она.

Когда они вошли в комнату, он снял пальто и сел на стул, а Лила принялась растапливать печку. Глядя на Лилу, Павел думал, что не напрасно пришел он сюда искать убежище от гнева и чувства пустоты, которые так угнетали его. Он был знаком со многими женщинами, но ни одна из них не обладала удивительной гордостью этой замкнутой и несколько холодной девушки. У многих были правильные черты лица, русые волосы и светлые глаза, но ни у кого не было такой нравственной силы, а духовный облик не соответствовал так полно идее, за которую они боролись. Лила виделась ему неотделимой частью этого терзаемого нищетой рабочего квартала, этой убогой каморки с железной печкой и дощатыми кроватями, покрытыми козьими шкурами и грубошерстными одеялами. Ему показалось, что ее старая юбка, вылинявший свитер, осунувшееся лицо являются воплощением мук, забот и надежд тысяч рабочих, ожидающих конца зимы, чтобы снова начать тяжелую, изнурительную и скудно оплачиваемую работу на табачных складах. И все-таки трудная жизнь не огрубила ее внутреннего облика, не помешала ей стать образованным и мыслящим человеком. Ему показалось, что эта девушка, похожая на цветок, выросший среди жестокой бедности и лишений, вобрала в себя все самое здоровое, жизнеспособное и прекрасное, что есть в рабочем классе, а красота ее так одухотворена потому, что эту девушку никогда не развратяг расчетливость и пороки враждебного мира. И в то же время ему показалось, что в Лиле есть что-то недосягаемое, нереальное, призрачное, словно видение будущего, которое вот-вот развеется, оставив после себя лишь тоску по недостижимому.

Но тут же он понял, что все в ней реально – от ее светлой, нежной, как бы акварельной красоты до той резкости, с какой ее ум и воля умеют ранить человека. Стоя на коленях возле печки, она дула на хворост, и рдеющие угли окрашивали напряженные черты ее лица красноватым светом, превращая ее густые волосы в жгуты золотой пряжи. В ее прямой спине, крепких плечах и округлых бедрах была какая-то сила, неотразимо привлекательная и заполнявшая пустоту его души таким волнением, что он опять почувствовал, как необходимо было ему прийти к пей.

Пламя вспыхнуло, и печка загудела. Лила поднялась. Павел ждал, что на лице ее будет написано такое же волнение, какое испытывал он сам, но увидел только сжатые губы да холодные глаза, испытующе впившиеся в пего. Трепет, с каким она пожала ему руку в первую минуту встречи, исчез. Он с горечью осознал, что между ними стена – и стена эта воздвигнута уже не их разногласиями в вопросе о курсе партии, а его исключением из рядов партии.

Лила села за стол против пего.

– Сегодня приехал? – бесстрастно спросила она.

– Да, – ответил он. – Днем.

– Товарищей видел?

– Я говорил с Эшкенази и кое с кем из городского комитета… – Вдруг он рассердился: – Ты что, допрос устраиваешь? Хочешь знать, не собираюсь ли я развалить городской комитет?

– Нет, я не думаю, что ты сумел бы ото сделать. – Она усмехнулась, прищурившись, и тотчас показала острие своей непримиримости: – Пока с тебя довольно исключения… Но при малейшей твоей попытке разрушить единство мы поступим с тобой беспощадно.

– Что же вы сделаете? – зло осведомился он.

– Ты это прекрасно знаешь.

– Забавно будет, ежели Лукан выступит в роли крохотного Робеспьера!.. – проговорил Павел с презрительным смехом. – Ио скажите ему, что ничего не выйдет. В Нейтральном Комитете большинство – люди умные, и они скоро поймут, где истина…

– Значит, ты… решил продолжать?

Она глубоко вздохнула, посмотрела на него искоса и еще больше прищурила глаза. Под ресницами со вспыхнул холодный и хмурый огонь гнева.

– Пет, я не стану продолжать!.. – воскликнул он и ударил кулаком по столу. – Но по из страха перед вами и не потому, что жду прощения!.. Я буду молчать только потому, что не хочу накануне стачки вносить разлад в честные души рабочих, только потому, что уверен, что Коминтерн и Заграничное бюро вынесут решения, которые заставят вас опомниться… А до тех пор гоните прочь всех, кто хочет работать с нами, посылайте рабочих под плети полицейских, обещайте им захватить склады голыми руками… Беснуйтесь, пока рабочие не потеряют веру в вас, пока они не отвергнут вас навсегда, пока сами вы в конце концов не поймете, что ведете себя как самонадеянные глупцы… Врагу только того и надо – чтоб у рабочих всегда были такие руководители, как вы. Это его сокровеннейшее желание!

– Не кричи! – холодно остановила она Павла, кинув взгляд в сторону окна.

Потом положила локти па стол и закрыла лицо руками. Глова Павла расстроили ее. Все его пламенное существо дышало такой искренностью, болью, гневом, какие не способен испытывать хладнокровный враг партии. В его темных глазах была горечь, и взгляд их пронизывал се. В его словах звучала страшная жестокая правда, уже понятная самой Лиле, Максу, Стефану, пожилому товарищу из городского комитета и, может быть, десяткам, сотням рабочих… Но Лиле показалось, что эта правда станет еще страшнее, есля подвергнется повседневному обсуждению, вызовет разногласия и споры, начнет разрушать партийное единство в низовых организациях. В душе Лилы спова были хаос и раздвоение.

– Все это не имеет никакого значения! – промолвил Павел, нарушая молчание.

– Что? – растерянно спросила Лила.

– Ваши глупости, которые будут отброшены историей… Партия идет вперед, и ничто не остановит ее развития… Придет день, когда вы поймете свои ошибки, и я снова вступлю в нее.

– Пусть так! – По лицу Лилы промелькнула неуверенная, грустная улыбка. – Но ты должен ждать этого дня и не нарушать единства партии теперь.

Оп не спускал с нее полного горечи взгляда, поддаваясь действию той силы, с которой ее тело и душа привлекали его. Она женщина, думал он, а лицо у нее мальчишеское, чистое; зрелая женщина, а выражение совсем юное, невинное. В русых волосах Лилы, в ее светлых глазах, в ее бледности была холодная замкнутость, лишавшая ее черты всего чувственного. В них отражались лишь ум и воля. Павлу показалось, будто он никогда не видел лица с более красивой, холодной строгостью черт, не видел женщины, лучше владеющей собой.

– Лила! – вдруг промолвил он. – И все-таки я люблю тебя.

– Теперь это уж не так важно, – отозвалась она, слегка вздрогнув.

– Хочешь быть моей женой? – неожиданно спросил он ровным, проникновенным голосом, который смутил ее еще больше.

– Что ты говоришь? – переспросила она, нахмурившись и так скрывая свое волнение.

– Давай обвенчаемся в ближайшие дни!

Лила понимала, что это пришло ему в голову внезапно, под влиянием того душевного состояния, в котором он находился. Слова его, казалось, физически проникли ей в грудь, растревожили ее мысли, воспламенили воображение. На миг ей показалось, будто перед ней – осуществленная мечта, к которой в часы одиночества стремилась вся ее женская душа. И хотя Лила еще ни разу не облекала эту мечту в какую-то определенную форму, сейчас она представила себе маленькое хозяйство, уютную комнатку, накрытый к ужину стол, за которым сидит Павел, держа на коленях своевольное, но бесконечно милое существо, которое надо кормить с ложечки. Но на этом видении, мучительном и недостижимом, сознание ее задержалось лишь на секунду. В следующее мгновение она видела себя уже секретарем Ремса и членом городского комитета, чувствовала, что за нею стоят тысячи рабочих табачных складов. Выть может, никогда – она это предвидела и успела с этим примириться, – никогда у нее не будет времени для своей семьи, своего ребенка, так как она посвятила всю свою жизнь борьбе за счастье других. Но слова Павла ранили ее душу, пробудили и разожгли в ней жажду счастья. Слезы потекли по ее щекам, и она взмолилась в отчаянии:

– Замолчи!.. Оставь меня! Уходи сейчас же!

Он встал и шагнул к ней. Лила поспешно выпрямилась, словно приготовившись к самозащите. Это резкое движение показало ему, как широка разделяющая их пропасть. Но он все же успел обнять девушку. В течение нескольких секунд, испытывая счастье, горечь и муку, она бессознательно отвечала на его поцелуи. Потом справилась с хаосом мыслей и чувств, бушующих в ее сознании, и вновь овладела собой.

– Оставь меня! – сказала опа, быстрым и сильным движением вырвавшись из его объятий.

– Лила! Лила!.. – твердил он.

– Ты хочешь и меня утопить в своем болоте, да? Хочешь, чтоб и я дезертировала, изменила партии, делу, своему долгу?

– Лила!.. Через полгода… через год все… весь курс партии изменится…

Он схватил ее за руки и опять притянул к себе, но она, сама не своя, выкрикнула:

– Оставь меня!.. Между нами нот больше ничего общего! Ты вне партии!

Этот крик, сдавленный и странно суровый, заставил Павла немедленно разжать руки.

– Уходи! – грубо приказала она.

Мгновение он стоял, вперив неподвижный взгляд в пространство. Но вот по лицу его постепенно разлился холод, и оно стало бесстрастным. Он не спеша надел пальто и, не говоря ни слова, вышел.

Лила кинулась на кровать и горько заплакала. В первый и последний раз в жизни она плакала от любви.

**IX**

Голубовато-белые ледяные цветы на оконных стеклах порозовели, потом опять побледнели, а как только взошло солнце, приобрели более четкие очертания и ослепительно засверкали. Ясное зимнее утро медленно заглянуло в комнату барона Лихтенфельда.

Нельзя сказать, чтобы эта комната, да и вообще вся вилла была достойна представителя рода Лихтенфельдов. Но она вполне удовлетворяла фон Гайера и Прайбиша, которые прежде всего думали о деле, а потом уж об удобствах и не придавали никакого значения красоте. Простенький платяной шкаф и кровать с тумбочкой напоминали мебель в дешевой гостинице. Пол был покрыт клетчатым линолеумом яркой расцветки, а на безвкусном светло-зеленом фоне стен красовался портрет царя. Безобразная кирпичная печка весело гудела, словно подсмеиваясь над дурным настроением барона.

Лихтенфельд сонно потянулся под ватным одеялом, крытым желтым атласом и не отличавшимся особой чистотой. В этой вилле барона особенно раздражали одеяла. Иногда ему даже казалось, что они издают чуть заметный противный запах пота, и только плебейское обоняние Прайбиша не может его уловить. Фон Гайер – тот, наверно, чувствует, но не желает обращать на него внимания. Лихтенфельда возмущало также то, что вилла расположена далеко от Софии, а наем ее обходится дорого. Владелец виллы – какой-то жадный льстивый депутат, говорящий по-немецки, – запросил такие деньги, которых хватило бы чтобы провести целый месяц да Ривьере. Но фон Гайер согласился без возражений.

Барону надо было рассеять дурное настроение, вызванное тем, что ему приходилось столько трудиться под началом фон Гайера – а труд был тяжелый, однообразный, утомительный, – и Лихтенфельд стал думать о медвежьей охоте. Каждое утро, с тех пор как выпал снег, барон предавался сладостным мечтам о медвежьей охоте. Неужели в этих горах нет. медведей? Все говорят, что нет. Однако эти чудесные звери, безусловно, водятся в Болгарии. Нужно только добраться по сквернейшим дорогам до Рилы или Родоп. Кршиванек рассказывает, что болгарские крестьяне охотятся на медведей особым способом: только с веревкой да с ножом. Лихтенфельд представил себе безмолвный девственный лес: глубокий снег, ледяные сосульки на соснах, болгарин сует плотно обмотанную веревкой руку в берлогу зверя – так рассказывает Кршиванек, – а он, Лихтенфельд, в исступлении охотничьей страсти стоит в нескольких шагах от берлоги с пальцем на спусковом крючке. Какое счастье участвовать в такой охоте!.. Но все это казалось Лихтенфельду несбыточной мечтой. А может, эта мечта потому лишь и увлекла его, что была несбыточной?

Помечтав о медведях, Лихтенфельд погрузился в мысли о своей собаке, потом о ружье, потом об одном погребке с отборными французскими винами, потом о болгарках и в последнюю очередь о своей работе. Печальный, но бесспорный факт: представитель рода Лихтенфельдов вынужден был работать. Это было вызвано целым рядом перемен в жизни страны, наступивших после первой мировой войны, а также серией приключений с киноактрисами, пережитых Лихтенфельдом на Ривьере. При этом на его долю выпала самая вульгарная, унизительная работа: он стал начальником экспортного и ревизионного бюро Германского папиросного концерна в Болгарии. Лихтенфельду пришлось принять этот ноет, во-первых, потому, что безденежье стало уже нестерпимым, и, во-вторых, потому, что, работая здесь, он хоть поневоле, а приобщался к труду миллионов немцев во славу рейха. Но какой тяжелой казалась ему эта работа!..

Только патриций, обращенный в рабство, способен был бы понять, какая смертельная скука овладевала Лихтенфельдом каждое утро при мысли о предстоящем трудовом фон Гайер изучал экономику Болгарии. Изучал медленно, методически, всесторонне, исчерпывающе, с чисто немецким терпением и упорством, с педантизмом и усердием ученого маньяка. Он напоминал счетную машину, а Лихтенфельд был просто клавишей этой машины. И именно потому, что он был только клавишей и ничем больше, фон Гайер непрерывно, безжалостно ударял по ней. Лихтенфельду казалось, что он с ума сойдет от этих ударов. Работа его заключалась в том, чтобы делать выборки из присылаемых торговыми атташе посольства все новых и новых статистических отчетов, все новых и новых докладов и копий докладов и составлять краткие изложения этих материалов. Прайбиш выполнял точно такую же работу, ijo без малейшего ропота.

Где-то стенные часы пробили восемь. Фон Гайер неумолимо требовал, чтобы работа начиналась в девять. Лихтенфельд лениво зевнул, выкурил сигарету, чтобы окончательно проснуться, потом сердито откинул ногой ненавистное одеяло и стал па пол.

Он был высок и худощав. Волосы у него были светлые, голова маленькая, лицо унылое и недовольное, а глаза всегда смотрели как-то обиженно. Он пошел в ванную и вернулся оттуда выбритым и посвежевшим, растерся одеколоном и надел чистое белье – белье он менял через день.

Немного погодя Лихтенфельд направился в столовую. На столе был сервирован завтрак: кофе, молоко, булочки, вареные яйца. Прайбиш, успевший уже, как всегда, прогуляться до деревни, сидел у печки и читал «Die Wochc».34 Фон Гайер должен был сойти в столовую ровно в половине девятого, как обычно.

Лихтенфельд стал у окна, сунув руки в карманы. Утро сия. чо солнечным блеском и ледяной синевой. Равнина была покрыта чистым, девственно белым снегом, а над Софией нависло огромное плоское облако красноватого тумана и серого дыма. Над облаком, как золотые шлемы, сверкали купола собора Александра Невского. Далеко на горизонте тянулась бесконечная цепь снежных гор – медвежье царство. Равнодушно поглядев на все это, Лихтенфельд посмотрел вниз, во двор виллы. У водопроводной колонки, голый до пояса, растирался снегом фон Гайер.

– Сумасшедший! – промолвил Лихтенфельд. – Схватит воспаление легких, вот будет счастье для Германского папиросного концерна, да и для нас тоже!

– Ничего ему не сделается, – не без гордости возразил Прайбиш, подняв глаза от журнала.

Это был добродушный приземистый толстяк, выходец из крестьян. Он только что с удовольствием дочитал статью, в которой рассказывалось о том, что внуки кайзера соблаговолили вступить в ряды гитлеровской партии.

– Говорю вам, ему несдобровать! – сказал барон. – Такие сразу с ног валятся… Помните Зайфельда? Зайфельд тоже хорохорился, хорохорился, да и умер после гриппа от заражения крови… Что мы сегодня будем делать? – вдруг спросил он.

– Сегодня? – Прайбиш закрыл журнал. – Будем работать, как вчера.

– Но сегодня суббота! – многозначительно заявил Лихтенфельд. – Я буду отстаивать наше право на свободное время в конце недели. Надеюсь, вы меня поддержите – не будете хлопать глазами, как новобранец, когда я об этом заговорю.

– Вы заговорите об этом с ним? – с некоторым сомнением переспросил Прайбиш.

Он знал, что в присутствии фон Гайера смелость барона в последнюю минуту неизменно испарялась.

– Разумеется! – важно ответил Лихтенфельд. – Раз он обращается с нами как с обыкновенными чиновниками, мы заставим его соблюдать правила, регулирующие рабочее время.

Говоря это, Лихтенфельд имел в виду прежде всего самого себя. По его глубокому убеждению, служба здесь – его служба, во всяком случае, – должна была ограничиваться представительством, то есть быть почти дипломатической. А заниматься технической стороной вопроса – осмотром образцов, подсчетами и тому подобной нудной чепухой – это дело Прапбиша.

– Вы ошибаетесь, – возразил Прайбиш. – Мы его советники.

– Советники? – Не вынимая рук из карманов, барон обернулся и бросил сердитый взгляд на толстощекое лицо Прайбиша. – Самые обыкновенные секретари! Он сам все решает.

– Вовсе нет! – Эксперт надул толстые губы и неодобрительно покачал головой. Глубоко укоренившееся в нем чувство дисциплины было возмущено бесцеремонностью, с какой рассуждал барон, стараясь опорочить действия фон Гайера. – Если вы намекаете на Кршиванека, то решение зависит от нас троих.

– Послушайте, Прайбиш! – Лихтенфельд сел за стол. – Мне до смерти надоели споры о том, с кем нам работать, с кем – нет… Почему вам не нравится Кршиванек? Хитрые плебейские глазки Прайбиша удивленно уставились на барона.

– Потому что он не будет работать как следует… У него нет никаких политических связей. Он только-только создает организацию, да и практического опыта у него почти нет… Наконец, есть сведения, что прошлое у него сомнительное. Чего же вам еще?

– А другой?

– Другой – серьезный, солидный человек. И Тренделенбург его рекомендует.

– Но, судя по всему, он хитер, как лиса.

– А мы кто – дураки, что ли? Нас он не проведет и будет нам полезен.

– А письмо Бромберга?

– На первом место для нас – интересы Германии и концерна, а потом уже – родственников Бромберга.

– Вы правы! – Барон открыто признал, что у этого представителя третьего сословия логика безукоризненная. – Но «Никотиана» имеет связи с Польшей, Голландией, Америкой.

– Что же из этого?

– Он может пас надуть. Ведь здесь его ничто не связывает.

– А мы его потом приберем к рукам.

Лихтенфельд задумался. Пришла пора и ему доказать свою сообразительность.

– Я считаю, что мы могли бы сделать это уже сейчас.

– Как?

– Передав небольшую часть поставок Кршиванеку, чтобы держать «Никотиану» под ударом.

– Это умно, – заметил Прайбиш, немного подумав. – Скажите фон Гайеру.

– Нет! – возразил Лихтенфельд. – Скажите вы! Фон Гайер думает, что я боюсь Бромберга, а это глупо и раздражает меня. Представитель рода Лихтенфельдов никогда никого не боится. Я забочусь об интересах концерна, но не желаю, чтоб меня считали трусом… Мне до смерти надоели все эти объяснения и намеки.

Он внезапно оборвал свою речь. В коридоре послышались неровные шаги хромого.

В столовую вошел фон Гайер.

Окинув взглядом комнату, он сухо произнес гитлеровское приветствие и сел за стол. Смуглое лицо его раскраснелось от холода. Он был коренаст, атлетически сложен; рот у него был большой, глаза серые, как свинец. Его измятый рабочий костюм представлял резкий контраст с модным, изысканным костюмом барона. На лацкане пиджака была нашивка – ленточка Железного креста. От всего его существа веяло романтикой былых феодальных времен, бездушной твердостью пруссака и выдержкой трудолюбивого немца. Если в фон Гайере воплотился дух средневекового рыцаря-разбойника, то Лихтенфельд рядом с ним выглядел изнеженным придворным щеголем. Во время первой мировой войны фон Гайер был летчиком знаменитой эскадрильи Рихтгофена. Хромать он стал после того, как его сбили в воздушном бою.

Он вошел, и слуга тотчас принес из кухни молоко и кофе. В столовой наступило почтительное молчание. Прайбиш разрезал булочку и густо намазал ее маслом. Барок глотнул из своей чашки и сделал гримасу: молоко было с пенками.

Фон Гайер устремил па него своп ледяные глаза.

– Лихтенфельд, – начал он, – где вы были вчера вечером?

– В посольстве, – ответил тот. – Фрау Тренделенбург пригласила меня на бридж.

– С кем?

– С Хайльборном и Хаазе.

– А куда вы отправились потом?

– Потом? – Лихтенфельд поднял брови, словно стараясь вспомнить что-то несущественное. – Я был в одном баре.

– Кто вам разрешил?

– Мне? – обиженно спросил Лихтенфельд.

– Вам, конечно! – повысив голос, сурово проговорил бывший летчик. – Сколько раз надо повторять, что мы не должны выдавать свое присутствие здесь!

– Кто увидит меня в каком-то баре?

– Шпионы увидят! – покраснев от гнева, крикнул фон Гайер. – Шпионы!.. Как раз те, кто не должен знать, что мы в Болгарии. Наши враги завтра же предложат торговые переговоры болгарскому правительству.

– И никогда не заключат соглашения.

– Довольно!.. Для пас каждый день стоит целого года.

Лихтенфельд, ничего не ответив, героически выпил кофе с пенками. В груди его поднималась глухая ненависть к Германскому папиросному концерну, к Гитлеру, ко всем национал-социалистам, столь бесцеремонно попирающим свободу одного из Лихтенфельдов.

Решение вступить в гитлеровскую партию возникло у него в один прохладный весенний вечер, когда по Унтерден-Линден маршировали толпы в форменных фуражках с факелами в руках, распевая гимн «Хорст Вессель», а на площадях горели костры из книг. Бой барабанов и мерный топот нескольких тысяч сапог опьянили Лихтенфельда. Вечер закончился дикими воплями в пивной, куда он зашел, чтобы подчеркнуть свое дружеское отношение к народу. Аристократы, капиталисты и рабочие клялись в верности человеку, который обещал им весь мир… Э, к чертям собачьим! Лихтенфельд больше не верил подобным обещаниям. Теперь каждый дурак мог приказать ему что угодно. Ему, представителю рода Лихтенфельдов!.. Безобразие!

Барон хотел было ответить мягко, но с достоинством, однако прикусил язык, заметив, что Прайбиш делает отчаянные гримасы, убеждая его молчать.

– Кто дал ваш адрес Кршиванеку? – угрюмо продолжал фон Гайер. – И что это за дама, которая вызывает вас по телефону от его имени?

– Его секретарша, – находчиво ответил Лихтенфельд.

– Почему вы с ним так сблизились?

– Кршиванек – группенфюрер здешних австрийцев, – объяснил барон.

Фон Гайер на это не отозвался. Лихтенфельд, почувствовав почву под ногами, решил перейти в контратаку.

– Мне кажется, что вы слишком много себе позволяете, – едко промолвил он. – Этим может заинтересоваться партийный суд.

Тяжелые, свинцовые глаза пруссака медленно поднялись на собеседника.

– Имейте в виду, Лихтенфельд!.. На этом суде обвинять буду я.

Фон Гайер прекратил работу ровно в двенадцать. Он надел прилично отутюженный темный костюм и заявил подчиненным, что сегодняшний вечер и завтрашний день проведет с Тренделенбургом в Чамкории.

– А вы что будете делать? – строго спросил он.

– Мы думаем еще разок поохотиться на зайцев, – с невинным видом ответил Прайбиш. – Один крестьянин обещал показать нам места.

Перед самым уходом фон Гайер зашел в комнату к эксперту.

– Прайбиш, нынче вечером вам придется притворяться дураком, – сказал он.

– Это мне нетрудно, – добродушно ответил Прайбиш. – С женщинами я всегда вел себя как дурак.

По лицу фон Гайера промелькнула не то гримаса, не то улыбка.

– Вы замечательный человек, Прайбиш!.. Значит, так! Примерно в полночь я застигну вас врасплох. Но до тех пор смотрите, как бы Лихтенфельд и Кршиванек чего-нибудь не пронюхали… Нам надо пошире открыть глаза нашему барону и показать ему, с каким мошенником он хочет связать Германский папиросный концерн… Разоблачение Кршиванека положит конец клевете, которая распространяется о нас в Берлине!

– Так точно, Herr Hauptman!35

– Держитесь непринужденно и не бойтесь объектива Кршиванека… Первое, что я сделаю, – выну катушку с пленкой… Ясно?… Так что никакая опасность вам не грозит.

– Понимаю, Herr Hauptman.

Фон Гайер надел пальто и в сопровождении Прайбиша спустился по лестнице к широкой садовой аллее, где ждала машина. К ним с иронической почтительностью присоединился и Лихтенфельд.

– Хайль Гитлер!

– Хайль!

Фон Гайер захлопнул дверцу. Он ехал не в Чамкорию, а на обед к Варутчиеву, который пригласил и Бориса. Цепи па задних покрышках автомобиля глухо позвякивали по мерзлому снегу. Над Люлином навис красноватый туман. Из-за кустов, разбросанных по обледенелой равнине, с тоскливым карканьем взлетали вороны и снова опускались на землю. С Витоши дул слабый морозный ветер. Где-то в деревне блеяли овцы.

– Наконец-то убрался, – вздохнул с облегчением Лихтенфельд.

Тяжкий рабочий день барона кончился. Начинался уик-энд, а Лихтенфельд знал, как вознаградить себя за целую неделю труда.

– Вы в самом деле собираетесь на охоту? – обернулся он к Прайбишу.

– Поброжу немного.

– Следа заячьего не увидите. Я все прошлое воскресенье зря проходил… Оставайтесь-ка лучше дома.

– А что вы думаете делать?

– Жду гостей. Приедет Кршиванек с двумя дамами.

– Это не для меня, – застенчиво проговорил Прайбиш.

Они зашагали по обледенелой аллее к дому. Слуга колол дрова на заднем дворе, и удары топора гулко звучали в морозном воздухе. Под окнами столовой, чирикая, прыгали голодные воробьи. Низкое солнце стало окутываться пеленой тумана.

– Чудак вы, Прайбиш, – сказал Лихтенфельд. – Таки умрете, не вкусив радостей жизни.

– Я женат, – робко возразил Прайбиш. – У меня дети…

– Ну и что? – засмеялся Лихтенфельд. – Вы думаете, мы тут оргию собираемся устроить?

– А что это за женщины? – осторожно осведомился Прайбиш.

В голосе его звучало тревожное любопытство, которое барон, естественно, истолковал как колебание. Каждый вечер он заходил в комнату к Прайбишу с бутылкой французского вина и рассказывал ему о своих бесчисленных похождениях. Он делал это отчасти из тщеславия, отчасти от скуки и бессонницы. Вначале Прайбиш слушал его болтовню со снисходительной улыбкой, но негодуя в душе. Однако постепенно весь этот мир модных курортов, красивых женщин и упоительного сладострастия как будто начал его волновать. Барон подозревал, что Прайбиш невольно сравнивает свою толстую, верную и плодовитую жену с теми восхитительными легкомысленными созданиями, которые так украшают жизнь. При этом барон всегда давал понять, что любовницы его – вовсе не падшие женщины. Прайбиш охотно верил ему. Представления Прайбиша о падших женщинах ограничивались актрисами, подвизавшимися в кабаре, и теми девицами, что останавливают мужчин на улицах большого города. Он никогда не обращался к ним из боязни заразиться и из свойственной ему бережливости. Человек состоятельный – концерн платил ему более чем щедро, – Прайбиш, однако, и но мечтал о женщинах, к которым имел доступ барон. И вот вдруг Лихтенфельд намекнул – нет, даже не намекнул, а сказал прямо, – что Прайбиш тоже может познакомиться с ними. – Это дамы из высшего общества, – продолжал барон. – Абсолютно порядочные женщины, только держатся свободнее прочих.

Прайбиш стыдливо признался, что всю жизнь мечтал о таких именно женщинах. Не о распутницах, а только о свободных. Ободренный успехом, Лихтенфельд повел атаку на мещанские предрассудки, мешающие Прайбишу пользоваться жизнью. Да. Прайбишу давно пора зажить на широкую ногу! Чего он жмется? Когда же он наконец избавится от своей деревенской застенчивости? Разве не достиг он высокого положения в служебной иерархии концерна? Он тоже мог бы стать светским человеком. Чтобы иметь успех у женщин, нужно только вести себя с ними посмелей. Что касается внешности, то Прайбиша, конечно, нельзя назвать тонким и стройным, по Лихтенфельд может его заверить, что у изысканных женщин нередко бывают капризы, побуждающие их отдавать предпочтение грубоватым на вид мужчинам с крепкими мускулами.

– Ну, так тому и быть! – согласился Прайбиш. – Приду… Но я очень стесняюсь в обществе и ne умею занимать дам.

– Будьте абсолютно спокойны, – подбодрил его Лихтенфельд. – Дамы очень милые, и вы сразу почувствуете себя непринужденно.

Отдыхая после обеда в своей комнате, Прайбиш поймал себя на том, что перспектива сегодняшнего вечера и радует его и волнует. Радует, потому что Кршиванек будет разоблачен; волнует потому, что ему, Прайбишу, предстоит кутить с женщинами – по долгу службы, разумеется, иначе он никогда бы себе этого не позволил.

Часов в двенадцать ночи Зара вышла из столовой в слабо освещенный холодный коридор, оглянулась по сторонам и тихонько подошла к вешалке, на которой висела шуба Кршиванека. Из столовой доносились звуки пианино и голос барона, фальшиво напевавшего модную песенку.

Пошарив в карманах шубы, Зара вынула фотоаппарат, затем сняла с вешалки свое манто и так же бесшумно поднялась по лестнице на второй этаж виллы. Остановившись у двери фон Гайера, постучала.

– Herr Hauptman…

– Да! – ответил хриплый голос пруссака.

Комната была освещена лишь красноватым пламенем печки. Немец открыл ее дверцу и грелся у огня. Когда Зара вошла, он быстро встал и учтиво, но сухо пригласил ее сесть.

– Нет, спасибо, – отказалась она. – Мне пора уходить… Дайте мне только сигарету.

Фон Гайер протянул ей портсигар.

– Сколько сделали снимков? – спросил он, зажигая спичку.

– Больше десяти. Достаточно откровенных, чтобы вызвать возмущение какой-нибудь почтенной супруги или шурина.

– А Прайбишу удалось снять Кршиванека?

– Я о них и говорю.

Фон Гайер не засмеялся. Он по умел или не желал шутить. Может быть, он хотел узнать все подробности непосредственно от Прайбиша. Озаренное светом рдеющих углей крупное лицо его казалось почти зловещим. Зара вдруг поняла, что он ее презирает. Она быстро затянулась раз-другой и бросила сигарету в огонь.

– Пора идти.

– Вас ждет автомобиль.

– Но они услышат шум мотора и догадаются.

– Теперь это уже не имеет значения.

Фон Гайер помог ей надеть меховое манто, взял аппарат и проводил ее до шоссе, к машине.

– Покойной ночи! – промолвила Зара.

Немец не ответил.

На небе мерцали ледяные звезды. Фон Гайер шел к себе, испытывая мрачное удовлетворение. Снег тихо поскрипывал под его ботинками. Войдя в коридор, он направился прямо в столовую, уже не стараясь ступать бесшумно. Дверь он распахнул рывком, с грохотом. На столе стояли бокалы с вином. Лихтенфельд сидел за пианино и небрежно, но бойко играл танго. Какая-то ярко-рыжая женщина испуганно вскочила. Кршиванек поспешил поставить па стол бутылку, из которой подливал вина в бокалы, и смущенно поклонился. Одни лишь Прайбиш как был, так и остался невозмутимым. Только покосился лукавыми синими глазками на Лихтенфельда, который продолжал играть, ни о чем не подозревая.

– Перестаньте, черт вас возьми! – вдруг крикнул фон Гайер. – Лихтенфельд, перестаньте!

Пианино умолкло сразу, словно выключили радио. В комнате наступила полная тишина. Лихтенфельд, повернувшись лицом к обществу, смотрел на всех, выпучив глаза. Фон Гайер ловким движением вынул из аппарата катушку с пленкой и положил его на стол.

– Возьмите, – спокойно сказал он австрийцу. – Если вы по-прежнему будете нас беспокоить, я пошлю в Берлин снимки, которые сделал Прайбиш… Ясно?

Кршиванек попытался было что-то возразить, но фон Гайер громко хлопнул дверью и, хромая, стал подниматься по лестнице.

– Это она нас выдала! – воскликнула рыжая.

– Кто? – спросил Кршиванек.

– Зара.

Женщина расхохоталась грубым, хриплым смехом. Она совсем опьянела и сама не знала, чему смеется. Потом вдруг опомнилась и бросила на барона испуганный взгляд. Но Лихтенфельд уже схватил ее за руку и сердито кричал ей прямо в лицо:

– Говори, дура!.. Как выдала?

– Успокойтесь, Лихтенфельд, – сказал Прайбиш. – Это был шантаж, о котором госпожица Зара вовремя нас предупредила… Мы с начальником сделали что нужно.

Лихтенфельд вдруг понял все. Отпустив рыжую, он двинулся к Кршиванеку, который невольно попятился, с изумлением и страхом глядя на Прайбиша. Еще несколько секунд – и кулак Лихтенфельда, описав широкую дугу, обрушился на физиономию австрийца. Кршиванек рухнул на пол; женщина взвизгнула. Лихтенфельд, не теряя времени, подхватил ее под мышки, другой рукой поднял щуплого, оглушенного Кршиванека и потащил обоих к выходу.

– Стойте! – воскликнул Прайбиш и побежал было за ним. – Вы с ума сошли!..

Но Лихтенфельд не слышал. Прайбиш видел только, как он открыл парадную дверь. Гости вылетели вон. Тогда Лихтенфельд вернулся, снял с вешалки их шубы и тоже выкинул их на снег.

– Доннерветтер!.. Что вы делаете? – испуганно пролепетал Прайбиш.

– Воздаю им должное! – прошипел Лихтенфельд.

**X**

В предгорьях, меж низких округлых холмов, весной и летом покрытых зеленеющим табаком, приютилось село Средорек. Посредине села была неровная площадь, окруженная приземистыми домишками. Над входом в один из них – двухэтажный – висела закопченная вывеска: «Корчма, закусочная и гостиница Средорек». А под ней – другая, написанная свежей краской и гораздо более крупными буквами: «Сигареты и колониальные товары».

В корчме, возле выходящего на улицу широкого окна, печально сидел Стоичко Данкин, тщедушный сутулый крестьянин с бледным, изъеденным оспой лицом, реденькой русой бородкой, которую он брил только на пасху, и большими красными ушами. Из-под его потертого овчинного тулупа виднелись остатки рубахи и какое-то одеяние вроде фуфайки, давно утратившее свой первоначальный цвет, а шаровары на нем были до того латанные, что вызывали сочувствие даже у сборщика налогов. Глаза Стоичко Данкина, голубые, как бусинки, обычно смотрели насмешливо и живо, но в тот день взгляд их был хмур и тосклив.

Смеркалось, голубоватый снег мало-помалу становился синим, силуэты сельских лачуг медленно расплывались в сумраке. Оконца одно за другим вспыхивали дрожащими красноватыми огоньками. По улице проходили навьюченные дровами лошади, за которыми, весело перекликаясь, шагали их хозяева, довольные хорошей погодой. Они собирались на другой же день везти эти дрова в город, на продажу. Стоичко Данкин тоже возил дрова в город, продавал их и на вырученные деньги покупал муку. Но теперь он уже не мог возить дрова, так как у него пала лошадь. Это случилось неожиданно и кончилось быстро. Стоичко Данкин, уставившись на синий сумрак за окном, снова вспоминал во всех подробностях о свалившемся на него несчастье. Началось с того, что лошадь стала кашлять; потом она перестала есть; потом из ноздрей у нее потекла слизь. Стоичко Данкин повел ее к цыганам, которые ногтями до крови разодрали ей ноздри и натерли их красным перцем; потом – к знахарке; наконец – к ветеринару в соседнее село. Но как раз перед самой лечебницей лошадь повалилась на землю, задрожала, беспомощно вытянула шею и околела. Стоичко, растерянный, присел возле ее головы, охая и вздыхая, потом содрал с лошади шкуру и, продав эту шкуру цыганам, с горя напился. Домой, в Средорек, он пошел только под вечер, взвалив седло себе на спину и поминутно ругаясь. Дома он выбранил жену и отшлепал одного из ребятишек. За то время, что Стоичко кричал и ругался, он немного отрезвел, а протрезвившись, лег, накрылся с головой одеялом и горько заплакал. Все это произошло вчера. Стоичко Данкин тяжело вздохнул, вынул кисет с контрабандным табаком и начал свертывать цигарку из обрывка газеты.

Кроме него, в корчме было лишь двое неизвестных, только что приехавших из города; они сидели у печки, греясь и негромко беседуя. Неизвестные были в фуражках и теплой, но поношенной городской одежде. У одного из них, рыжего, передние зубы были выбиты; другой был совсем еще молодой человек, смуглый, с большими темными глазами. С виду они походили на мелких чиновников. Через некоторое время в корчму вошел кассир кооператива по прозвищу Фитилек, здоровенный парень с круглым румяным лицом. Вопросительно взглянув па корчмаря, который сделал вид, что не заметил его появления, он подсел к неизвестным. Втроем они разговаривали совсем тихо. Немного погодя Фитилек вдруг обернулся и громко потребовал:

– Джонни, дай сливовой!

Корчмарь оставил вилки, которые перетирал, и налил три стопки сливовой. Плешивый, длиннолицый, он казался совершенно бесстрастным, но его узкие хитрые глазки всегда выражали его готовность поболтать с посетителями. Он давно перестал носить деревенские шаровары и одевался почти по-городскому, чтобы скупщики табака проникались большим доверием к его гостинице, где было всего лишь два номера. Джонни его прозвали потому, что во время войны он при Дойране взял в плен англичанина. Об этом подвиге свидетельствовала глиняная бутылка из-под рома, стоявшая на особой полочке над прилавком. В пленении англичанина принимал участие и Стоичко Данкин, рисковавший не меньше, чем Джонни, но вся слава досталась корчмарю.

Фитилек осушил свою стопку разом, рыжий отпил от своей половину, а темноглазый юноша только пригубил. Озабоченные и печальные глазки Стоичко Данкина завистливо следили за тем, как жгучая жидкость переливается и их глотки. Снова его охватило желание напиться, чтобы забыть павшую лошадь, по не хотелось увеличивать долг Корчмарю. К Джонни он пришел только за мукой, подгоняемый бранью жены и хныканьем ребят. В память об их фронтовой дружбе Джонни отпускал Стоичко Данкину в кредит муку и керосин, а тот расплачивался после продажи табака. Желая обеспечить себе кредит на каждый следующий год, Стоичко всегда продавал свой табак «Никотиане», чьим агентом-скупщиком был Джонни. И за пятнадцать лет даже неграмотному Стоичко Данкину стало ясно, что его обирает сперва «Никотиана», а потом фронтовой товарищ. Но он не видел никакого иного выхода, а потому считал и «Никотиану» и Джонни своими благодетелями.

Стоичко свернул цигарку, утер нос рукавом тулупа и смиренно подошел к печке – за огоньком. Фитилек и оба незнакомца сразу оборвали тихую беседу. Стоичко наклонился, прикурил от уголька и опять сел у окна. Рыжий поглядел с сочувствием на его тщедушную фигурку.

– Ты говоришь, что пет подходящей почвы для работы, – вполголоса промолвил он. – А это кто? Кулак?

– Попробуй распропагандируй его, – с тихим смехом возразил Фитилек.

– Хочешь? – резко отозвался темноглазый.

По лицу Фитилька промелькнула тревога.

– Тише. По делайте глупостей! – нахмурившись, шепнул он. – Корчмарь подслушивает, того и гляди донесет старосте.

– Ну и что нее?… Ты хочешь работать без всякого риска? Тогда зачем ты позвал пас сюда, в корчму?

– Приди вы ко мне домой, это возбудило бы еще большие подозрения. За мной следят.

Наступило молчание. Рыжий допил свою стопку. Фитилек хотел было заказать Джонни еще сливовой, но неизвестные отказались пить.

– Пора ехать, – сказал юноша.

– Как? Сейчас? – с удивлением спросил Фитилек.

– Ты что? Холода боишься?

– Да куда же в такую темень?… Вокруг села волка бродят…

– Ну и что?

Кассир кооператива встретился взглядом с горящими темными глазами юноши и смущенно опустил голову.

– Мы и одни можем поехать, – холодно заметил рыжий.

– Ну конечно, – поспешно согласился Фитилек. – Так и для вас будет лучше… А то нас заподозрить могут.

– Нет! Ты поедешь с нами, – упрямо и гневно проговорил юноша.

– Но ведь завтра сочельник, – забормотал Фитилек. – У нас свинью зарезали… Дома работа есть.

– Слушай!.. Ты должен связать нас с товарищами в Шишманове. Понятно?

Голос юноши прозвучал так властно, что Фитилек согласился.

– Хорошо, – ответил он. – Пойду оденусь.

– Времени у нас в обрез, – предупредил рыжий.

Кассир кооператива взял палку, обмотал шею шарфом и ушел.

– Беспокоит он меня, – негромко проговорил Стефан.

– В деревне всегда трудно работать, – задумчиво отозвался Макс.

– Вы кто ж такие будете? – любезно осведомился Джонни после ухода Фитилька. – Что-то я вас раньше не видал.

– Мы инспекторы Земледельческого банка, – ответил Макс.

– А в наши края зачем?

– По служебным делам.

– Не насчет ли табачного кооператива, а? – закинул удочку Джонни.

– Да, никуда не годится ваш кооператив. Нет опытных и честных руководителей.

– Все разбойники! – с неожиданной язвительностью вмешался Стоичко Данкин.

– Что, и тебя нагрели? – спросил Макс.

– Меня-то нет! Старого воробья на мякине не проведешь. Я никогда в кооператив табака и не сдавал… О других говорю.

Стоичко Данкин знал, что такого рода заявления при. Джонни и даже вознаграждаются стопкой ракии. *Г)* взглянул на корчмаря, но тот, поглощенный беседой незнакомцами, не заметил отравленной стрелы, пущенной в кооператив.

– А ты кому продаешь свой табак? – спросил Стефан.

– «Никотиане».

– Сразу видно – очень уж добротные у тебя шаровары.

Джонни поморщился, а Стоичко Данкин, покраснев, невольно поджал ноги, чтобы скрыть свои лохмотья.

– Не твое дело, парень, – со злобой проговорил Стоичко. – Фирмы тоже не мед, да хоть обирают не догола.

– А кооператив?

– Кооператив приберет к рукам два урожая, а дуракам по десять процентов платит… Вот какой от него барыш.

Стоичко Данкин опять взглянул на корчмаря. Но даже за эти слова скряга Джонни не нашел нужным поднести ему ракии. Стоичко замолчал и злобно подумал: «Ну и жадина, сукин сын!.. Как тот городской ростовщик, что поле моего отца продавал».

– Вы сами виноваты, – сказал Стефан. – Зачем терпите в правлении агентов фирм?

– Мы люди темные, – насмешливо возразил Стоичко Данкин. – Нам невдомек, кто агент, кто нет.

– А я вам скажу, – проговорил Стефан. – Сколько полей у председателя вашего кооператива?

– Одно возле кладбища, – стал нарочно перечислять Стоичко Данкин, кинув мстительный взгляд в сторону Джонни. – Второе у Белого пруда… Два возле мельницы… Всего – четыре.

– Вот видишь! И снял он с них около пяти тысяч килограммов табака.

– Не знаю сколько, а урожай большой, – подтвердил Стоичко Данкин.

– Ну вот… А знаешь, сколько он сдал в кооператив?

– Сколько? – мрачно спросил Джонни.

– Только восемьсот килограммов… Сплошной брак, который фирмы но восемь, по десять левов покупают… А остальной табак – на складах «Никотианы».

– Это россказни…

– Нет, не россказни, а чистая правда.

– Откуда вы знаете?

– Узнали в банке.

Джонни не успел возразить – в корчму вошел Фитилек. Он был в коротком полушубке и бриджах. Макс посмотрел на часы. Ему показалось, что кассир кооператива что-то уж очень задержался – сходить домой и переодеться. можно было быстрее.

– Идем? – спросил Фитилек, расплатившись за ракию.

Макс и Стефан встали.

– А не наткнемся мы на волков по дороге в Малиново? – громко проговорил Макс, чтобы ввести в заблуждение Джонни, так как ехать они собирались по другой дороге.

– В той стороне их нету, а в Твардицком лесу появились, – ответил корчмарь.

Он еще раз испытующе посмотрел на незнакомцев, стараясь запомнить их лица. Они казались ему все более неприятными и подозрительными. Люди в таких драных пальто не могли быть инспекторами.

За последние годы Джонни скопил изрядную сумму денег, но потерял покой.

– Ты их знаешь? – спросил он Стоичко Данкина, когда незнакомцы ушли.

– Нет, – ответил тот.

– Пойди посмотри, дома ли староста.

– Нету его. Он в город поехал.

Джонни задумался. Незнакомцы были очень похожи па тех парней, с которыми дружил Фитилек, пока не женился на дочери кулака из соседнего села. А всем известно, что Фитилек был коммунистом, хоть он теперь тайком и убеждает местных богатеев, будто он сторонник власти. Зачем эти трое встречались в его корчме? Ясно, для того чтобы разведать обстановку. Того и гляди, пустят красного петуха!.. Или бомбу кинут в окошко!.. А то получай пулю в лоб из засады!.. Джонни терзали тревожные мысли. Им овладевали болезненные приступы страха, мучившие его целыми днями. Это был страх доносчика, выдававшего коммунистов, страх лжеца, сбивавшего цены на табак, страх грабителя, занимавшегося ростовщичеством, страх вымогателя, принуждавшего крестьян продавать свой табак «Никотиане». Много причин бояться было у Джонни, и мысль о двух неизвестных, ушедших с Фитильком, угнетала его. Надо было бы тут же пойти к старосте, сообщить ему о подозрительном поведении кассира кооперации. Впрочем, Джонни знал, что староста поднял бы его на смех с его подозрениями. Сукин сын этот староста! Не работает, а знай за девками бегает… Чтоб немножко успокоиться, Джонни палил стоику ракии и тут же опрокинул ее.

– На здоровье, Джонни! – жалобно промолвил Стоичко Данкин.

Джонни вздрогнул. Щуплая фигура крестьянина, тающая в полутьме у окна, вдруг связалась в уме его с двумя неизвестными. Джонни тут же сообразил, что это бессмыслица, но все-таки не мог заглушить мелькнувшего нелепого страха перед Стоичко Данкиным.

– Это ты?… Еще здесь торчишь? Чего тебе?

– Муки жду, – ответил Стоичко.

– Нету муки.

Стоичко Данкин отпустил но его адресу сочное ругательство, служившее у жителей Средорека предисловием к дружеской беседе. Джонни пришло в голову, что неплохо сохранить хорошие отношения хотя бы со Стоичко Данкиным.

– Ты что тут насчет кооператива брехал? – вдруг спросил он. – Хотел, чтобы тебе стопкой рот заткнули?

– Э, Джонни! – вздохнул Стоичко Данкин с виноватой улыбкой.

– Ишь лисица! – промолвил Джонни, укоризненно покачав головой. – Сколько тебе муки-то?

– Одолжи хоть ок36 десять, чтоб детишки не ревели.

– Ты мне уже пять с лишком тысяч должен.

– Все заплачу, дай только табак продать. Когда я тебя обманывал?

– Выдавай вексель!

Стоичко Данкин знал, что это только угроза; он улыбнулся и махнул рукой.

– Не дам я тебе векселя.

– Тогда муки не получишь.

– Коли так, я продам свой табак братьям Фернандес, – отпарировал Стоичко Данкин.

Но Джонни знал, что это тоже только угроза: Стоичко Данкин никогда не продаст своего табака ни братьям Фернандес, ни какой-либо другой фирме, так как после этого ему никто не будет давать зимой муки в долг. Это был единственный человек, у которого Джонни, в память о фронтовой дружбе, не решался отнять имущество при помощи опротестованного векселя. Впрочем, у Стоичко Данкина только и было имущества, что лачуга да три декара37 земли. С другой стороны, Джонни вознаграждал себя за свое великодушие тем, что начислял проценты как в голову взбредет.

Он отпер дверь, ведущую из корчмы в лавку. Приятели вошли в это тесное помещение. Стоичко Данкин почувствовал опьяняющий запах недоступных ему бакалейных товаров. Тут лежали брынза, маслины, соленая пеламида, при виде которой у него слюнки потекли. Но покупать все это могли только местные богатеи да еще Баташский, когда он приезжал сюда за табаком. Стоичко Данкин вытащил из-за пояса старый, пахнущий чебрецом мешок. Джонни наполнил его мукой, взвесил на весах и аккуратно приписал в книжке стоимость муки к долгу приятеля. Изъеденное оспой лицо Стоичко Данкина озарила радостная улыбка.

– Хитрец! – снисходительно промолвил Джонни, великодушно отрезав кусок брынзы в придачу. – На вот ребятам!

Отпуская муку, Джонни неожиданно почувствовал, что страхи его рассеялись. Ясная улыбка Стоичко Данкина напомнила ему годы войны. Тогда смерть бушевала вокруг них, англичане поливали их позиции ливнем снарядов, а потом густыми рядами шли на них в атаку; но после боя Джонни засыпал спокойно и ничего не боялся. Тогда у него не было ни денег, ни земли, ни корчмы с лавкой, но на душе было легко, и, подобно тысячам других солдат, он нетерпеливо ждал того дня, когда он вернется в родное село, увидит жену и детей. Эх, славные были годы!.. Джонни не понимал, что теперь ему недостает одного: покоя. Когда они вернулись в корчму, он совершенно неожиданно налил две стопки и поставил одну перед приятелем.

– На, лакай, черт! – буркнул он.

– За твое здоровье!.. За ребяток твоих! – отозвался Стоичко Данкин с улыбкой, и рябое лицо его сморщилось, как перезрелая репа.

Приятели чокнулись и не спеша осушили стопки. Джонни налил по второй. Воспоминания вставали перед ним все более яркие и отрадные. Он вспомнил о том, как после демобилизации возвращался со Стоичко Данкиным в родное " по Они болтали возбужденно и весело, а солнце сияло над пересохшим полем, и каждый шаг приближал их к женам и детям. Ужасы и лишения войны не расстроили им нервов. Правда, Джонни схватил ревматизм, а Стоичко – малярию, но воздух родины должен был восстановить их здоровье, подобно тому как солнце и соки земли помогают выпрямиться полегшим побегам. Для приятелей война прошла, как летняя гроза.

Пока Джонни предавался воспоминаниям о своем утраченном душевном мире, крепкая ракия растекалась по жилам Стоичко Данкина, наполняя все его существо чувством отдыха и блаженства. Сейчас Стоичко начисто позабыл и о павшей лошади, и о ругани жены, и о ребятах, хныкающих в темной холодной избе. Забыл он и о своих латаных шароварах, и о низких ценах на табак, и о беспощадной браковке, и о цепях долгов за керосин и муку, в которые он был закован своим лучшим другом Джонни. Сейчас он был счастлив, потому что получил десять ок муки для ребят и пил ракию. И, наслаждаясь этим счастьем, он подумал, что, будь у него еще лошадь, чтобы возить дрова в город, больше ничего ему и не надо. Вот если Джонни не отберет у пего всей выручки от продажи табака, как он это делал обычно, а согласится отсрочить уплату половины долга, тогда Стоичко сможет купить лошадь… Эта жгучая мысль сразу завладела его сознанием.

– Джонни! – небрежно сказал он, делая вид, будто сам не замечает, как рука его тянется к портсигару приятеля. – А как ныне с табаком? Что слышно насчет закупок?

Слово «закупки» сразу заставило Джонни покинуть блаженный мир воспоминаний. Бледное лицо его вытянулось, в глазах вспыхнул жадный огонь. Тьма снова затопила его душу.

– Хорошо, что ты напомнил. Слушай, сделки начнут заключать на святках!

– Как на святках? – изумился Стоичко Данкин.

– Да так – на святках, и все! – повторил Джонни. – Что тут такого? Все торговцы решили начать десятого января, а наш их надует и опять заберет самый лучший табак. Ловко придумано, а? Теперь слушай, черт! Нынче мы с Баташским заплатим тебе как следует, но ты должен всем говорить, что продал табак на тридцать левов дешевле, – это чтобы нам с самого начала цены сбить… Понял? Тогда тебе и на лошадь хватит.

Стоичко Данкин покорно кивнул. Он получал подобные приказы всегда, каждый год. Но сейчас он вдруг смутился. Даже то, что он сможет купить лошадь, не слишком его обрадовало. До него дошло, что Джонни толкает его на что-то негожее.

– Джонни! – промолвил Стоичко. – Обманывать народ на самое рождество… Помилуй, ведь это грех, братец…

– Голодранец! – презрительно выругался корчмарь, – Дураком родился, дураком помрешь… Ну смотри, держи язык за зубами. А то не видать тебе больше муки как своих ушей.

Макс, Стефан и Фитилек вышли из корчмы и, поплотнее запахнув пальто, направились вниз по течению реки к окраине села. На ясном небе светила луна. Ветра не было, но мороз крепчал, дышать было трудно. Приземистые хибарки зарылись в снег, оцепенев от стужи. Над селом нависла печальная ледяная тишина. Только собаки упрямо лаяли в разных его концах да уныло скрежетали цепи колодца. На западе еще алела вечерняя заря, на фоне которой отчетливо выделялась церковная колоколенка и силуэты окружавших ее голых замерзших тополей. Трое шли гуськом одни за другим, ступая по глубокому сыпучему снегу. Когда они подошли к площади неред общинным управлением, Макс вдруг повернул направо и повел своих спутников к недостроенному зданию школы. Кирпичные неоштукатуренные стены, еще не покрытые крышей, угрюмо возвышались среди снегов, словно оплакивая тощий бюджет общины.

– Где вы оставили двуколку? – спросил Фитилек.

– У Динко, – ответил Макс.

– Гм!..

– А что?

– Дипко, по-моему, не очень надежен, – процедил сквозь зубы Фитилек.

– Это почему? – вспыхнул Стефан.

Он, как и Макс, заметил, что Фитилек что-то слишком долго не возвращался в корчму. Не то чтоб это зародило в нем какие-нибудь подозрения, но ему стало досадно, а нелепый намек па Динко превратил досаду в гнев.

Фитилек ничего не ответил.

– Почему ненадежен? – повторил свой вопрос Стефан.

– Да так!.. Все в общинном управлении торчит.

– Торчит, но собирает сведения и дело делает… А ты должен готовить выступление против браковки, но и пальцем не пошевельнул.

– Тише! – остановил его Макс – Разговоры потом.

Все трое вошли в тесный крестьянский дворик, огороженный плетнем. В глубине его светилось окошко низенького домика. Напротив домика стоял хлев, а рядом с хлевом – навес. Из забранного решеткой оконца этого хлева веяло теплом и влажным запахом навоза. Под навесом лежали дрова и сено и стояла распряженная двуколка.

Стефан, прямо по снегу, подошел к окну и, не снимая перчаток, постучал три раза. Дверь открылась, и на пороге показалась рослая фигура Динко. Он был в темно-коричневой фуфайке, меховой безрукавке и штанах из домотканого сукна. Лицо его обросло густой русой бородой, которую он уже несколько дней не брил. Холодно ответив на поклон Фитилька, он молча вошел в хлев и вывел оттуда красивую, холеную лошадь.

– Батюшки! – изумился Фитилек. – Где вы взяли такого коня?

Никто ему не ответил. Наступило тягостное молчание. Фитилек сделал вид, будто не замечает этого, и, не стесняясь, принялся насвистывать какую-то песенку, разглядывая лошадь при лунном свете и стараясь ее запомнить. Динко выкатил двуколку на середину двора. Стефан и Фитилек остались под навесом и закурили сигареты, а Макс пошел помочь запрягать.

– Он поедет с вами? – тихо спросил Динко.

– Да, – ответил Макс. – Отлынивал, но мы его заставили.

– Не позволяйте ему отделяться… Хотите, я тоже поеду?

– Нет надобности рисковать всем троим. Ты здесь делай свое дело. Я проведу собрание в Шишманове, а Стефан передаст директивы товарищам в Митровцах. Если нам удастся подготовить и выступление против браковки, успех стачки обеспечен.

– А что делать с Фитильком?

– Не давать ему больше никаких поручений да припугнуть как следует, чтобы молчал.

– Только и всего? – разочарованно возразил Динко.

– А ты чего хочешь? – резко спросил Макс.

– Шею ему свернуть как-нибудь вечером.

– И думать не смей!

Динко сердито взнуздал лошадь. Ему казалось, что городские товарищи зря канителятся. «Интеллигентская чепуха», – подумал он, забыв, что сам уже стал интеллигентом.

– Динко! – прошептал Макс.

– Что?

– Мы должны бороться беспощадно, но подлинный коммунист посягает на жизнь человека только в том случае, когда нет другого выхода.

– Он готов нас предать, – тихо проворчал Динко. – Может быть, уже предал.

– Этого мы не знаем наверное.

– А что толку, если узнаем после того, как произойдет провал?

– Тогда наши товарищи будут его судить.

Динко не ответил. Обойдя вокруг лошади, он подтянул потуже ремни подпруги, застегнутые Максом слишком свободно.

Макс, Стефан и Фитилек сели в двуколку.

Попетляв по кривым сельским уличкам, они выехали на шоссе, ведущее в Шишманово. Лошадь помчала двуколку ровной рысью. Вокруг простиралась пустая и безмолвная равнина, покрытая снегом. Только два ряда тополей да колеи на снегу показывали, где дорога. Далеко впереди отчетливо выделялась в прозрачном ледяном воздухе облитая лунным светом цепь холмов, которую надо было пересечь, чтобы попасть в Шишманово.

– Нигде ни души! – с неудовольствием проговорил Фитилек.

– А ты боишься? – спросил Стефан.

– Только волков.

– Не робей. У нас пистолеты.

Фитилька охватила смутная тревога. Ему почудилось, будто Стефан говорит как-то слишком многозначительно. Он повернулся сперва к Максу, потом к Стефану. Тюковщик правил, глядя прямо перед собой. Лицо его было спокойно, но казалось каким-то зловещим. Голова с густой рыжеватой шевелюрой равномерно покачивалась от тряски. В углу рта торчала погасшая сигарета. Свежее юношеское лицо Стефана было красиво, но в глазах его таилась насмешливая враждебность.

– Ты что? – спросил он, встретив взгляд Фитилька.

– Ничего! – ответил кассир бодро, словно старался набраться смелости. – Скоро приедем… Рукой подать!

– Приедем и дальше поедем, – сказал Стефан.

– Как! – воскликнул Фитилек.

– Оставим Макса у товарищей в Шишманове, а сами поедем в Митровцы.

– Но я-то тебе зачем?

– Просто так. Для компании.

– Ты с ума сошел!.. Камни от холода трескаются, а туда по ущелью ехать.

– В такое время коммунистам путешествовать всего безопасней, – заметил Макс. И тихо засмеялся.

– Но в Митровцах я никого не знаю. – В голосе Фитилька звучал панический страх. – Какая там от меня будет польза?

– Поищем Цветану. Теперь в университете каникулы, и она, наверное, приехала в деревню… Ты меня свяжешь с ней.

Кассир задумался.

– Послушайте, – начал он немного погодя, – я не могу ехать в Митровцы… Я одно время ухаживал за Цветаной. Мне неудобно…

– Это пустяки.

– И потом, я болен! – добавил Фитилек. – Честное слово! Вчера свинью резал… и простыл.

– Будет в кусты-то прятаться! – оборвал его Стефан.

Кассир понял, что сказал глупость, по притворился обиженным.

– Что это значит? – оскорбленно спросил он.

– А то значит, что не считай нас дураками. Понял?

– Куда ты ходил, когда ушел из корчмы? – вдруг спросил Макс.

У Фитилька перехватило дыхание. Он с ужасом вспомнил, что у его спутников есть оружие.

– Куда? Домой, – объяснил он упавшим голосом.

Макс и Стефан молчали, У кассира опять перехватило дыхание. Но он собрался с силами и глухо проговорил:

– Вы… сомневаетесь во мне?

Снова молчание.

– Чего дрожишь? – хмуро спросил его Макс.

Мозг Фитилька работал с предельным напряжением. Он дрожал всем телом, зубы у него стучали. Но вдруг его осенила спасительная мысль.

– Я вас боюсь, – признался он. – Вы на меня сердитесь и можете…

– Что «можете»?

– Кокнуть меня.

Снова молчание. У кассира опять застучали зубы.

– Дурак! – сказал наконец Макс. – Не будь подлецом, и мы тебя не тронем.

У Фитилька отлегло от сердца. Опасность миновала. Значит, они только подозревают, но им ничего не известно. Он почувствовал себя уверенней.

– Чем вы недовольны? – с горечью спросил он.

– Твоим поведением, – веско и строго ответил Макс – Твоим бездействием, трусостью, тем, что ты увиливаешь от своих обязанностей. Ты не коммунист.

– За мной следят… – начал было оправдываться Фитилек.

– Молчи! – перебил его Стефан. – За тобой следят!

А за кем не следят?

– В прошлом году меня чуть не арестовали.

– А Макс получил обвинительный приговор и сидел в тюрьме.

– Я исправлюсь, – виновато пробормотал кассир. – Дайте мне время… Не стращайте меня… Пожалуйста!

– Подумай хорошенько! – сухо промолвил тюковщик. – У тебя есть возможность отойти в сторону, не делая глупостей… Ну, мы тебя предупредили.

Они доехали до того места, где шоссе, извиваясь змеей, всползало на холм. Макс остановил лошадь. Стефан соскочил с двуколки, заботливо покрыл лошадь толстой попоной, очистил ее ноздри от ледяных сосулек и закурил сигарету. Луна поднялась уже высоко. Теперь она светила ярче, и вокруг в удручающей ледяной тишине простиралась бесконечная пелена снегов, на которую обнаженные ветви деревьев и кустов отбрасывали зловещие тени. Дав лошади отдохнуть несколько минут, Стефан снял попону и снова сел в двуколку. Они стали медленно подниматься по склону. Обмерзшие спицы колес слегка поскрипывали.

Но вдруг лошадь тревожно заржала и насторожила уши. Еле уловимый, откуда-то издалека, может быть из-за холмов, долетел протяжный, унылый звук. Сначала он напоминал рыдание взрослого человека; потом, постепенно замирая, перешел в детский плач.

– Волки! – упавшим голосом промолвил Фитилек. – Скорей поворачивайте назад.

Макс засмеялся. Стефан спокойно отстегнул от пояса маузер и сунул его во внешний карман пальто. У кассира опять застучали зубы.

– Ветер встречный, – сказал тюковщик, чтобы его успокоить. – Они нас не учуят.

– Назад! Назад! – закричал не своим голосом Фитилек. – Поворачивайте, пока мы еще на равнине… Я вырос в деревне. Знаете, как волки нападают в это время?

– Знаем, – сухо ответил Стефан.

Кассир с ужасом заметил, что даже бесстрашные лица его спутников стали напряженными, мрачными. Макс выплюнул погасшую сигарету, сжал губы и нервно хлестнул лошадь. Та прибавила ходу на подъеме и опять тревожно насторожила уши.

Снова до путников долетел зловещий вой, в котором звучали муки голода, тоска и жестокость. Лошадь заржала еще раз и замедлила шаг, словно колеблясь, идти ли вперед. Макс переложил вожжи в одну руку, а другой вынул пистолет и несколько обойм. Фитилек отчаянно рванулся, ухватил за вожжу и начал дергать ее изо всех сил. Лошадь круто повернула к придорожной канаве.

– Что ты делаешь, дурак? – сердито крикнул Макс – Двуколку перевернешь!

Стефан схватил вожжи, чтобы дать возможность тюковщику зарядить пистолет.

– Вы с ума сошли! – закричал кассир. – Волки на той стороне холма и увидят нас, как только мы поднимемся на вершину… В такие ночи они сбиваются в стаи и сразу нападают. Вы убьете двух, от силы трех… А остальные? Лошадь понесет по крутому спуску, и мы все разобьемся. Костей наших обглоданных не найдут… Матушки, пропал я бедный!.. Назад поворачивайте!.. Назад!

Отчаянные вопли Фитилька разносились в безмолвном ледяном просторе.

– Замолчи, идиот! – крикнул Стефан, толкнув его локтем в бок. – Ты трусишь, а нам надо дело делать!

Толчок почти привел кассира в чувство. Но лицо его по-прежнему искажала гримаса отчаяния, в выпученных глазах застыл ужас. Лошадь медленно поднималась по крутому склону. Вой прекратился. Слева от шоссе вздымались высокие отвесные скалы, справа раскинулся белый простор равнины.

Фитилек замолчал, отдавшись безнадежным размышлениям о длинной дороге среди лабиринта холмов, которую им предстоит преодолеть, прежде чем они доберутся до Шишманова. Потом он вспомнил о своем доме. У него была пухленькая жена, которую он взял из соседнего села с приданым в виде двенадцати декаров огорода. Была у него и свинья – ее зарезали к празднику, и Фитилек сам посолил филейную часть и помог жене приготовить колбасу. Было и превосходное красное вино в подвале. А нынче вечером они дома собирались есть отбивные котлеты… Представив себе все ото, кассир почувствовал отвращение и к партии, и к своим спутникам. Поскорей бы от них отделаться!.. Но тут мысль его снова вернулась к волкам. Сейчас они казались ему опасней всего остального, и в памяти его всплыли страшные рассказы, слышанные в детстве.

Лошадь с трудом тянула двуколку в гору. Стефан потел пешком, чтобы облегчить груз. Так они двигались вперед с полчаса, пока наконец не достигли гребня. Но оставалось еще несколько холмов и ложбин, которые надо было преодолеть, чтобы попасть в Шишманово.

Вдруг снова послышался вой волков, все еще отдаленный, но уже гораздо более громкий, чем прежде. Потом опять и опять… И когда он замирал, превращаясь в мучительный плач, к нему присоединялся вой других волков. В ледяном безмолвии ночи этот вой доносился до путников с поразительной отчетливостью.

Фитилек замер.

– Садись в двуколку, – сказал тюковщик Стефану.

– Они еще далеко, – отозвался юноша.

Грозный вой голодных волков зазвучал снова и длился минуты две. Стефан сел в двуколку. Лошадь фыркнула и пошла резвей, время от времени издавая короткое тревожное ржание…

– Три… четыре… – стал считать кассир осипшим голосом. – Их больше стало!

– Ничего подобного, – возразил Макс. – От силы два. Hо эхо повторяет их вой, и потому кажется, что их больше… Держи вожжи!

Кассир взял вожжи дрожащими руками.

– Сдерживай лошадь насколько хватит сил, не то она понесет, а мы будем стрелять.

Они были уже на самом гребне холма. Внизу тянулась глубокая ложбина, и за ней громоздились другие, еще более высокие холмы, пустынные, обледенелые, покрытые снегом. Проехали еще немного.

– Эй! – вдруг крикнул детский голос.

Кругом никого не было видно. Макс и Стефан, сразу забыв о волках, сжали рукоятки пистолетов.

– Эй! – откликнулся Стефан. – Где ты?

– Тут! На дереве! – послышалось в ответ.

Все трое вдруг заметили деревцо, стоявшее шагах в двадцати от придорожной канавы. Среди его ветвей темнела человеческая фигура.

– Что ты там делаешь? – крикнул Стефан.

– Впереди волки!.. Или не слышите?

– Ты там замерзнешь! – сказал Макс. – Иди сюда!

– Я ужо замерз, – слабым голосом ответил мальчик. – Сам не могу слезть… Помогите!

Стефан хотел было спрыгнуть с двуколки, но Макс удержал его.

– Ты кто такой? – сурово спросил тюковщик.

– Сын Стоичко Данкина из Средорека… Эй, Стефан!.. Неужто не узнаешь? Рот фронт!

– Молодец парнишка! – воскликнул Стефан. – Узнаю… Стойне тебя зовут, так, что ли?

– Он самый! – ответил мальчик. – Который листовки в учительской разбросал на Первое мая.

– Ну, ты много не болтай о том, что сделал.

Стойне зашевелился в ветвях, по вдруг мертвым телом упал с дерева, да так и остался лежать неподвижно. Макс и Стефан догадались, что руки у мальчугана окоченели от холода.

Зловещий вой волков прозвучал вдали еще раз, потом неожиданно умолк. Изощренное чутье зверей уловило запах добычи. Стая приближалась, нельзя было терять время. Стефан и Макс, спрыгнув с двуколки, кинулись к лежащему на снегу мальчику. Стойне силился подняться, но одеревеневшие ноги не держали его. Это был щуплый русый шестнадцатилетний подросток, самый бедный и неотесанный крестьянский мальчик в гимназии городка. Стефан с большим трудом приручил его и привлек в Реме.

– В чем дело, Стойне?

– Беги, Стефан!.. Вас предали! – проговорил мальчик. Одетый в потрепанный полушубок и дырявые царвули, он весь посипел от холода. Чтобы лучше защитить ступни от мороза, он обмотал их тряпками и обвязал бечевками. Стефан и Макс принялись тереть ему руки.

– Говори тихо, – сказал Стефан. – Что случилось? Ты как пуганый заяц… Выше голову, дружок! Рот фронт!

– Рот фронт! – слабым голосом откликнулся ремсист. Од попробовал было сжать окоченевшие пальцы в кулак, по не смог и только поднял руку кверху.

– Ну-ну! – подбодрил его Стефан. – Коммунист не должен ничего бояться… Рассказывай!

– Из города приехали полицейские на грузовике, – тяжело дыша, начал мальчик. – Арестовали Цветану и теперь ждут вас в засаде около ее дома… Фитилек предупредил старосту по телефону, что вы едете в Шишманово, а тот сейчас же дал знать в город.

– Откуда ты это знаешь?

– Иван, рассыльный общинного управления, мне сказал… Он стоял за дверью и все слышал. Это наш человек.

– Молодец! Ну а ты?

– Я ходил в Шишманово, хотел у товарищей муки попросить… А как узнал о полиции, сейчас назад и понемножку сюда добрался… Потом слышу – волки, залез на дерево, стал вас ждать… Хорошо, что мороз… А то полицейские поехали бы по шоссе вам навстречу.

Макс и Стефан молча переглянулись.

– Предоставь его мне, – сухо промолвил Стефан. Тюковщик отрицательно покачал головой.

– Ни в коем случае!.. – сказал он. – Без партийного суда мы не имеем права.

Они повели окоченевшего Стойне к двуколке. Теперь вой волков слышался совсем близко, а лошадь непрерывно ржала и перебирала ногами. Фитилек сдерживал ее с большим трудом. Только мысль о том, что у него нет оружия, а волки могут догнать двуколку, мешала ему бросить спутников и спасаться бегством одному.

– Вы с ума сошли! – закричал он, увидев Стойне. – погрузите повозку!.. Ну его к черту!

– Подлец! – прошипел Стефан.

– Не ругай его, – тихо сказал Макс.

В это время волки показались возле придорожной канавы. Их была целая стая. Длинные тени их быстро скользили по озаренному луной голубому снегу. Звери кинулись к двуколке. Фитилек дико вскрикнул – и лошадь рванулась вперед. Но, промчавшись несколько метров, двуколка за что-то зацепилась и стала. Теперь хищники только зловеще рычали. В двуколке что-то треснуло. Макс и Стефан кинулись к ней и увидели ужасную сцену: Фитилек упал и, лежа на земле у самого колеса, боролся со свирепыми зверями, а лошадь ржала и брыкалась. Макс и Стефан почти одновременно открыли огонь. Один волк подпрыгнул и, сдавленно скуля, растянулся на снегу а остальные, испуганные грохотом и вспышками выстрелов, отбежали в сторону. Два волка вернулись, но Макс пристрелил их одного за другим. Он уже овладел собой и стрелял метко, а у Стефана рука дрожала. Стойне пытался что-то сказать, но издавал лишь какие-то отрывистые, невнятные звуки. Поредевшая стая убежала в ложбину, но остановилась поблизости, в какой-нибудь сотне метров, и выжидала там, угрюмо и злобно рыча. Стефану волки теперь казались похожими на людей, готовящихся к новому нападению. Макс наклонился над Фитильком: кассир лежал совершенно неподвижно, зарывшись лицом в снег. Тюковщик приподнял его голову. За ухом зияла глубокая пулевая рана.

– Это мы его убили, – хрипло проговорил Макс. Стефан промолчал. Его еще пробирала дрожь, хоть он и знал, что опасность миновала. Немного погодя он подошел к лошади и стал ее успокаивать, похлопывая и поглаживая по шее. Макс оттащил труп Фитилька от колеса.

Вскоре они трое уже сидели в двуколке и мчались вниз по склону.

Труп Фитилька недвижно лежал на снегу. Лупа кротко сияла, и в ледяной тишине снова раздался заунывный вой голодных хищников. Потом вдруг прекратился. Стефан опомнился только после того, как двуколка спустилась на равнину и понеслась по гладкому шоссе – прямо к городу.

– Ну как? Отлегло? – спросил Макс – Ты очень разнервничался.

– Да, – ответил Стефан, – но мне кажется, что теперешнее мое спокойствие отвратительно.

Лошадь трусила медленно, устало. Только что Стефан хотел своими руками убить Фитилька, потом испугался волков, а сейчас совесть терзала его за то, что он успокоился. Макс печально задумался о суровости и противоречиях души человеческой.

– Нет, оно не отвратительно, – помолчав, сказал он, – если только ты сумеешь сохранить его и в минуту своей собственной смерти.